ISSN 0130-6545

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[6] 2011

РОМАН **АЛЕКСАНДАРА ХЕМОНА**

## «ПРОЕКТ "ЛАЗАРЬ"»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД:

**«ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. КАЗАЛОСЬ, ВОЙН НЕ БУДЕТ...»**

Основан в 1955 году

Поздравляем
нашего постоянного автора

Веру Аркадьевну Мильчину

с получением **Новой Пушкинской премии**
(*за совокупный творческой вклад в отечественную культуру*).

[6]
2011

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Александар Хемон *Проект "Лазарь"*. Роман. Перевод с английского Юлии Степаненко

"Двадцатый век. Казалось, войн не будет..."

124 Дитер Веллерсхоф *Катастрофа*. Глава из книги *Чрезвычайное положение. Война глазами очевидца* и авторское предисловие, написанное специально для читателей "ИЛ". Перевод с немецкого и вступление Наталии Васильевой

151 Миленко Ергович *Отец*. Главы из книги. Перевод с хорватского и вступление Е. Солодовниковой

165 Чарльз Бернстин *Военные истории*. Стихотворение. Перевод с английского Яна Пробштейна

171 Марион Ингрэм *Операция "Гоморра"*. Эссе. Перевод с английского Екатерины Филатовой

Документальная проза

183 Александр Стесин *"Вернись и возьми"*. Окончание

Нобелевская премия

214 Марио Варгас Льоса *Похвала чтению и литературе*. Нобелевская лекция. Перевод с испанского Максима Коробочкина

Обратная перспектива

229 Александр Мелихов *Евросталинизм*. Эссе

233 Исайя Берлин *Шостакович в Оксфорде*. Перевод с английского Е. и С. Шабуцких

239 Арлен Блюм *Псевдопереводы на русский как литературный и политический прием*

Письма из-за рубежа

252 Марина Ефимова *Путешествие в Ричистан – страну богачей*

БиблиофИЛ

258 *Новые книги Нового Света* с Мариной Ефимовой

271 *Среди книг* с Таисией Паниотовой

276 *По материалам зарубежной прессы*. Подготовили Евгения Лакеева, Ника Бажанова

Авторы номера

283

© "Иностранная литература", 2011

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
*ответственный секретарь*

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция:

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Ю. А. Ларикова
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина

# Александар Хемон

# *Проект "Лазарь"*

Роман

*Перевод с английского* Юлии Степаненко

> Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.
> И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет[1].

Когда и где это произошло? – единственное, что мне доподлинно известно: второе марта 1908 года, Чикаго. Все остальное покрыто туманом истории и боли. Итак, я начинаю...

Ранним утром худосочный молодой человек позвонил в дверь дома номер 31 на Линкольн-плейс, где проживал не кто иной, как Джордж Шиппи, грозный шеф полиции Чикаго. Служанка, в материалах дела указано ее имя – Тереза, открыла дверь (дверь, как водится, зловеще скрипит) и пристально

© 2008 by Aleksandar Hemon
© Юлия Степаненко. Перевод, 2011
1. Ин. 11:43–44. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

оглядела посетителя — от мысков грязных ботинок до обожженного солнцем лица. Ее губы искривила ухмылка, означающая лишь одно: "Какого черта тебе тут надо?!" Молодой человек просит пропустить его к главе полиции. С сильным немецким акцентом она отвечает, что еще слишком рано и что мистер Шиппи принимает посетителей только после девяти. Молодой человек с улыбкой благодарит ее и обещает вернуться в девять часов. Она не может определить по его акценту, откуда он, но решает предупредить хозяина, что посетитель-иностранец показался ей очень подозрительным.

Незнакомец спускается по ступенькам, открывает калитку (и здесь не обошлось без зловещего скрипа). Засовывает руки в карманы, а потом, не вынимая рук, подтягивает штаны, которые ему великоваты; смотрит сначала направо, затем налево, будто в нерешительности. Площадь Линкольна — совершенно иной мир: дома похожи на замки с огромными окнами, на улицах нет попрошаек, какое там, улицы в этом районе пустынны. Деревья в кружевах изморози блестят в сумрачном утреннем свете; ветка ломается под тяжестью льда, при ее ударе о тротуар раздается стеклянный звон. Кто-то выглядывает из-за занавески окна в доме напротив: бледно-серое лицо на фоне темной комнаты. Молодая женщина. Он улыбается ей, она резко задергивает занавеску. "Другая жизнь, которую мне не суждено прожить; люди, которых мне не суждено узнать; никогда я не стану одним из них. И так повсюду. Так уж устроен мир".

Затянувшаяся в тот год зима продолжает с садистским удовольствием изводить людей: пусть январские снегопады и трескучие февральские морозы отошли в прошлое, но резкие перепады температуры не перестают терроризировать город. Ох уж эти неожиданные ледяные ветра, эти истосковавшиеся по теплу тела, эта пропахшая дымом печей одежда! Руки и ноги у молодого человека закоченели, он шевелит пальцами в карманах, каждые два-три шага поднимается на цыпочки, словно пританцовывает, стараясь разогнать кровь в ногах. Он прожил в Чикаго вот уже семь месяцев, и все время его преследует холод. Удушливая жара конца лета кажется далеким воспоминанием. Лишь однажды в октябре выдался на удивление теплый денек, когда они с Ольгой смогли отправиться на берег Мичигана — посмотреть на волны цвета лишайника и помечтать о том, что хорошего ждет их в будущем. А сейчас озеро от края до края сковано льдом. Молодой человек идет в сторону Уэбстер-стрит, аккуратно обходя валяющиеся здесь и там сломанные ветки.

"Эти деревья политы нашей кровью, — сказал бы Исидор. — Эти улицы вымощены нашими костями, эти люди по-

жирают наших детей на завтрак, а то, что останется, выбрасывают в мусорные бачки". На Уэбстер-стрит бурлит жизнь: женщины в пальто по последней моде — с вышивкой и меховыми воротниками — садятся в припаркованные на обочине вдоль их домов автомобили, стараясь не повредить широкополые шляпы. Следом за ними — мужчины: блестящие полугалоши, в манжетах сверкают запонки. Исидор утверждает, что ему нравится бывать в таких местах. Там, где живет буржуазия, его привлекают спокойствие богатства и тишина тенистых улиц. И все же он возвращается в гетто: возвращается в злобу, в шум и грохот, к смраду и вони. Туда, где молоко скисает, а мед горчит, по его словам.

Огромный автомобиль, пыхтя, словно разъяренный бык, чуть не сбивает нашего незнакомца. Коляски на улицах похожи на парусники, лошади откормлены, вычищены, благодушны. Электрические фонари продолжают гореть даже утром, их свет отражается в витринах магазинов. В одной из витрин безголовый манекен одет в изысканное белое платье, рукава безжизненно свисают. Молодой человек останавливается перед этой витриной и рассматривает неподвижную фигуру, похожую на монумент. К витрине подходит кудрявый мужчина, лицо его удивительным образом напоминает мордочку белки. Жует погасшую сигару. Стоит так близко от молодого человека, что они почти соприкасаются плечами. Легко различим запах его пота и затхлой влажной одежды. Молодой человек переминается с ноги на ногу: ботинки Исидора натерли ему болезненные мозоли. Он помнит, как его сестры дома, в Кишиневе, смеясь от радости, примеряли новые платья. Помнит вечерние прогулки по городу; помнит переполнявшие его чувства гордости и ревности, оттого что красивые молодые люди заглядываются на сестер на променаде. Вот это была жизнь! Дом — место, где заметно твое отсутствие.

Заманчиво-аппетитный запах свежего хлеба приводит его в продовольственный магазин на углу Уэбстер и Кларк. "Продукты от Людвига" гласит вывеска. У молодого человека так громко бурчит в животе, что за прилавком мистер Людвиг поднимает глаза от газеты и улыбается ему, в знак приветствия касаясь шляпы кончиками пальцев. Мир всегда готов предложить тебе больше, чем ты когда-либо желал. Но желаниям нет предела. Со времен Кишинева молодому человеку не приходилось видеть такого изобилия: здесь и свисающие с крючьев под потолком гирлянды сосисок, похожих на длинные скрюченные пальцы; и бочки с картофелем, пахнущим глинистой землей; и ряды банок с маринованными яйцами на

полках, словно заспиртованные диковины в лаборатории; и печенье в коробках с изображением целого семейства на крышке – радостные дети, улыбающиеся женщины, сдержанные мужчины; и штабеля банок сардин; и рулон упаковочной бумаги, похожий на пухлую Тору; и небольшие весы, застывшие в позе самоуверенного равновесия; и прислоненная к стенке высокая стремянка, ведущая в тусклый рай изобилия. В магазине господина Мандельбаума конфеты тоже хранились на верхних полках, подальше от детей. Почему у евреев новый день начинается на закате?

Тоскливый свисток чайника откуда-то из подсобки возвещает о прибытии сурового вида женщины с пышной прической. Она несет шершавую буханку хлеба, прижав ее к груди, как младенца. Безумная дочь Розенберга, которую изнасиловали во время погрома, потом долго так же таскала подушку – все пыталась покормить ее грудью, а мальчишки не отставали от нее ни на шаг в надежде увидеть сосок молодой еврейки.

– Доброе утро, – говорит хозяйка и останавливается, обмениваясь взглядом с мужем: все понятно, с этого глаз не спускать. Незнакомец улыбается и делает вид, будто рассматривает что-то на полке.

– Чем могу помочь? – спрашивает мистер Людвиг.

Но молодой человек молчит – ему не хочется, чтобы по акценту поняли, что он иностранец.

– Доброе утро, миссис Людвиг. Мистер Людвиг, приветствую, – здоровается новый покупатель. – Как дела?

Дверной колокольчик тонко дребезжит. У вошедшего сиплый усталый голос. Он в летах, но без усов; на животе болтается монокль. Приподняв шляпу, поворачивается к хозяевам, не обращая внимания на молодого человека, который ему кивает.

– Мое почтение, мистер Нот! – говорит мистер Людвиг. – Как поживает ваша простуда?

– Простуда-то моя в порядке, а вот я не очень.

Трость у него кривая, галстук хоть и шелковый, но весь в пятнах. Изо рта воняет – явно что-то не в порядке с желудком. "Ни за что на свете не буду таким в его годы", – думает про себя молодой человек и перемещается к доске с объявлениями, пустой разговор его не интересует.

– Мне нужно камфарное масло, – говорит мистер Нот. – И не помешало бы новое тело. Помоложе.

– Тела закончились, а вот камфарным маслом мы вас обеспечим, – откликается мистер Людвиг.

– Не стоит волноваться, – хихикая, добавляет миссис Людвиг. – Это тело вам еще неплохо послужит.

— Ну что ж, спасибо на добром слове, миссис Людвиг, — отвечает мистер Нот. — И все же дайте мне знать, если поступит партия свеженьких тел.

"В следующее воскресенье, в кинотеатре 'Бижу' состоится показ фильма 'Малыш Билли' с Джо Сэнтли в главной роли", — читает молодой человек объявления на доске. — "Иллинойский конгресс матерей проводит симпозиум на тему 'Влияние чтения на общественную мораль'"; "В клубе выпускников Йейля доктор Хофмансталь выступит с лекцией 'Формы дегенеративности: плоть и нравственность'".

Держа бутылку камфарного масла и шляпу в левой руке, мистер Нот пытается правой открыть дверь магазина, но ему мешает трость, висящая на сгибе локтя. Миссис Людвиг, так и не положив буханку, бросается ему на помощь, но ее опережает молодой человек: он распахивает дверь перед мистером Нотом, колокольчик заливается радостным звоном.

— Ах, благодарю вас, — говорит мистер Нот и делает попытку приподнять шляпу, отчего трость ударяет молодого человека в промежность. — Простите.

Мистер Нот выходит на улицу.

— Чем могу служить? — спрашивает из-за прилавка мистер Людвиг. Тон у него крайне неприветливый — чересчур уж вольно молодой человек ведет себя у него в магазине. Посетитель подходит к прилавку и указывает на стойку с леденцами в банках. Мистер Людвиг говорит: — У нас много разных: и клубничные, и малиновые, ментоловые, медовые, миндальные. Какие изволите?

Молодой человек стучит пальцем по банке с небольшими белыми леденцами — самыми дешевыми — и протягивает мистеру Людвигу десять центов. Ему хочется показать им, что он может себе позволить потратить деньги на баловство! "Я такой же, как все, — любит повторять Исидор, — потому что во всем мире нет такого, как я".

Мистер Людвиг косится на посетителя: кто знает, может, у этого иностранца пистолет в кармане. И все же взвешивает на маленьких весах пригоршню леденцов, несколько штучек убирает — перевес, а оставшиеся ссыпает в пакетик из восковой бумаги:

— Вот, пожалуйста. Надеюсь, вам понравится.

Молодой человек быстро засовывает один леденец в рот, в животе у него урчит от голода. Мистер Людвиг бросает на жену красноречивый взгляд: "Голодному человеку доверять нельзя, особенно если при входе в магазин он не снимает шляпы и покупает конфеты". Конфета со вкусом яблока оказывается такой кислой, что у молодого человека рот напол-

няется слюной, и он уже не рад покупке. Так и тянет выплюнуть этот чертов леденец, но, с другой стороны, появляется хороший предлог подольше задержаться в магазине; он хоть и кривится, но продолжает сосать леденец и возвращается к доске с объявлениями. В Международном театре Ричард Кёрл играет в новом водевиле "У Мэри была овечка". Доктор Джордж Хоу и партнеры обещают вылечить варикозные вены, очистить кровь, избавить от мозолей и нервных расстройств. Кто все эти люди? На объявлении есть фотография самого доктора Хоу — мрачное бледное лицо, аккуратная черная бородка. У Ольги вены постоянно набухают; после работы она сидит, положив ноги на соседний стул. Ей нравится протыкать ему волдыри на натертых ногах. Мама парила варикозные ноги в тазу с горячей водой. Всегда забывала прихватить полотенце. Принести полотенце, помыть и вытереть ей ноги — это было его обязанностью. Мама очень боялась щекотки и всегда верещала как школьница, стоило ему только прикоснуться к ее пятке.

Леденец во рту почти растаял и сильно горчит. Молодой человек кивает хозяевам на прощание — никакой реакции — и выходит на улицу. Там лошади цокают подковами по мостовой, из ноздрей у них валит пар. Мимо молодого человека торопливо проходят три женщины. Он наклоняет голову в знак приветствия, но они ускоряют шаг, явно его игнорируя. Женщины идут под ручку, свободные руки спрятаны в муфты. Какой-то прохожий с могучей шеей и изжеванным огрызком сигары во рту покупает у мальчишки газету; тот не перестает орать во все горло: "Знаменитый стрелок застрелен в драке!" Наш молодой человек через плечо газетчика пытается взглянуть на заголовки, но мальчишка — без шапки, со шрамом через все лицо — уносится, выкрикивая на ходу: "Пэт Гаррет, шериф, застреливший Малыша Билли, убит в перестрелке!" В животе у молодого человека опять бурчит, и он торопливо засовывает в рот еще один леденец. Хорошо, что они еще не закончились, чувство обладания приятно греет душу. Билли. Хм, подходящее имя для капризной, но веселой собаки. Пэт больше подходит для важной и серьезной, знающей себе цену, псины. Среди его знакомых нет ни одного человека по имени Пэт или Билли.

Вскоре он поднимается к парадной двери дома мистера Шиппи, с леденцом за щекой; во рту у него такая горечь, что горло горит огнем. Он не звонит, а ждет, пока конфета растает до конца. За занавеской маячит чья-то тень. Он вспоминает, как однажды играл с друзьями в прятки (он водил, они прята-

лись), а ребята взяли и ушли домой, не потрудившись его предупредить. Наступил вечер, но он продолжал их искать, крича в темноту, где, казалось, мелькали их тени: "А, вот вы где! Я вас вижу!" Искал, пока не пришла Ольга и не увела его домой. Острая как кинжал сосулька откалывается от края высокой крыши, падает вниз и разлетается на мелкие кусочки. Молодой человек звонит; мистер Шиппи открывает дверь; посетитель переступает порог и входит в темную прихожую.

**Ровно в девять часов, ни минутой раньше, ни минутой позже, шеф полиции Шиппи открывает дверь и видит перед собой молодого человека, судя по внешности явно чужестранца, в черном пальто и черной, глубоко надвинутой на глаза шляпе, похожего на простого рабочего. Окинув незнакомца быстрым проницательным взглядом, шеф полиции отмечает жестокий резко очерченный толстогубый рот и серые глаза, холодные, но при этом горящие ненавистью,** — так напишет потом в газете "Чикаго трибюн" Уильям П. Миллер. — **Было в этом худом смуглом незнакомце — или сицилийце, или еврее — что-то такое, отчего у любого честного человека побежали бы мурашки по коже. Но только не у шефа полиции мистера Шиппи: он не из пугливых и приглашает молодого человека пройти в гостиную.**

Они стоят на пороге гостиной, молодой человек топчется на месте, не решаясь пройти дальше. Так, в молчании, проходят несколько минут: на лице мистера Шиппи играют желваки, всполошившийся воробей чирикает за окном, на втором этаже слышны чьи-то шаги, — наконец посетитель сует Шиппи какой-то конверт.

**На конверте были написаны мои имя и адрес,** — впоследствии расскажет шеф полиции мистеру Миллеру. — **Я не стал его рассматривать. Меня как молния поразила догадка, что этот человек замыслил что-то нехорошее. Он показался мне анархистом. Я схватил его за руки, заломил их ему за спину и стал звать жену: 'Матушка! Иди сюда!'**

Супруга Шиппи — крепко сбитая и сильная, с большой головой — вбегает в прихожую. Во всех ее движениях сквозит властная уверенность хозяйки дома — недаром ее величают Матушкой. Она так торопится, что чуть не падает на бегу. При виде мужа, схватившего за руки то ли сицилийца, то ли еврея, не разберешь, она в ужасе прижимает ладонь к груди и издает сдавленный хрип. "Обыщи его карманы", — приказывает ей муж. Матушка Шиппи трясущимися руками хлопает по карманам незнакомца; ее подташнивает от кислого запаха его пота. Молодой человек дергается, стараясь вырваться, и громко сопит, как дикий зверь. "Мне кажется, у него пистолет", — вскрикивает миссис Шиппи. Глава полиции отпускает руки пленни-

ка и выхватывает свой револьвер. Женщину от испуга качнуло, она прячется за висящий на стене гобелен, на котором изображен (что не ускользнуло от внимания Уильяма П. Миллера) святой Георгий, убивающий огнедышащего дракона.

Шофер мистера Шиппи, Фоули, только что подъехавший, чтобы отвезти шефа в городскую управу, услышав звуки борьбы, кидается вверх по ступенькам, на ходу вынимая револьвер. В это же время Генри, сын начальника полиции, приехавший из Калверовской военной академии на побывку, несется в одной пижаме вниз, сжимая в кулаке блестящую острую саблю. Незнакомцу в конце концов удается вырваться; он отскакивает в сторону (в то же самое время Фоули с револьвером в руке отворяет входную дверь, Генри кубарем скатывается по лестнице, а миссис Шиппи выглядывает из-за гобелена), а затем бросается на Шиппи. Тот, не раздумывая, стреляет в молодого человека; кровь бьет фонтаном, ослепляет на мгновение Фоули, который, будучи осведомлен о нелюбви шефа к сквозякам, поспешно захлопывает за собой входную дверь. Стук сбивает Шиппи с толку, и он в панике стреляет в Фоули. Затем, чувствуя, что кто-то надвигается на него сзади, разворачивается как заправский стрелок и стреляет в Генри.

**Подлый иностранец выстрелил в Фоули и раздробил ему запястье, потом открыл огонь по Генри и прострелил ему легкое.** Но даже после этого Шиппи и Фоули стрелять не прекращают: еще семь пуль попадают в молодого человека, его мозги и кровь размазаны по стенам и по всему полу. **За все это время,** — пишет Уильям П. Миллер, — **анархист не произнес ни слова. Он сражался со звериным остервенением, закусив губу, с решимостью в глазах, способной напугать самого дьявола. А когда умирал, ни молитва, ни проклятие, ни мольба не слетели с его губ.**

Шеф полиции застывает, затаив дыхание, а убедившись, что молодой человек скончался, вздыхает с облегчением. Дым от выстрелов плывет по комнате, как стая рыб.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ Я УМЕРЕННО ЛОЯЛЬНЫЙ гражданин двух стран. В Америке — в этом краю уныния — я бессмысленно голосую на выборах, неохотно плачу налоги, женат на американке и изо всех сил стараюсь не желать близкого конца идиоту президенту. Кроме того, у меня есть боснийский паспорт, которым я редко пользуюсь: с ним я езжу в Боснию в сентиментальный до слез отпуск или на душераздирающие похороны. Да, и еще, в первых числах марта, я и другие живущие в Чикаго боснийцы, подчиняясь чувству долга, гордо отмечаем День независимости, как и подобает в таких случаях, торжественным ужином.

По всем правилам День независимости должен праздноваться 29 февраля. Еще один пример того, что у боснийцев все не как у людей. Поскольку отмечать праздник раз в четыре года странно и непатриотично, мы весьма сумбурно проделываем это каждый год в марте в одной из гостиниц на окраине города. Боснийцы прибывают пачками, задолго до назначенного времени. В гараже может легко вспыхнуть ссора из-за места для парковки инвалидов: двое мужиков начинают угрожающе размахивать костылями, пытаясь решить, кто из них больший инвалид — тот, у кого миной оторвало ногу, или тот, кому повредили позвоночник в сербском лагере. В вестибюле гостиницы, перед по непонятной причине закрытыми дверями зала с неизменно вычурным названием ("Весчестер", "Виндзор" или "Озеро Тахо"), собирается толпа; мои американо-боснийские сограждане смолят одну сигарету за другой, тогда как многочисленные таблички на стенах предупреждают, что курить строго-настрого запрещено. Стоит только распахнуться дверям зала, как они сломя голову несутся к празднично накрытым столам, где на белоснежных скатертях их ждет изобилие столовых приборов, стаканов и рюмок; движет ими присущий беднякам страх, что еды, как бы много ее ни было, на всех не хватит. Они кладут салфетки на колени, вешают на грудь, заткнув конец за воротничок; им не всегда удается объяснить официантам, что салат нужно подавать сразу с горячим, а не по отдельности; они отпускают пренебрежительные замечания насчет еды, что неизменно заканчивается высокомерными рассуждениями о проблеме ожирения в Америке. Не проходит и получаса, как забываются американские привычки, приобретенные за последнее десятилетие. Этим вечером все, и я в том числе, превращаются в боснийцев до мозга костей. У каждого в запасе есть поучительная история о том, какие *мы* и *они* разные. Я несколько раз об этом писал.

Американцы, по всеобщему признанию, привыкли сразу после душа выходить на улицу, даже если волосы еще до конца не высохли! Даже зимой! Мы сходимся во мнении, что ни одна боснийская мать, будь она в здравом уме, не позволила бы такое своему ребенку, ведь всем известно, к чему могут привести прогулки с мокрой головой — к менингиту! Обычно в этот момент я вставляю, что моя жена-американка по профессии нейрохирург, специалист по мозгу, — обратите внимание! — именно так и делает. Сидящие за столом качают головами и выражают обеспокоенность не только здоровьем и благополучием моей жены, но и неясной судьбой нашего интернационального брака. Кто-нибудь обязательно затронет тему загадочного отсутствия сквозняков в Соединенных

Штатах: американцы держат окна нараспашку, нисколько не опасаясь, что их может продуть, хотя все знают, что от сильного сквозняка можно заболеть менингитом. В Боснии с подозрением относятся к свободному доступу свежего воздуха.

Ближе к десерту разговор неизбежно сворачивает на войну. Сначала вспоминают бои и массовые убийства, что некоторым (вроде меня) ни о чем не говорит, поскольку эти ужасы обошли нас стороной. Затем речь частенько заходит о всяких любопытных способах остаться в живых. Все покатываются со смеху, а наши гости, не говорящие по-боснийски, так никогда и не узнают, сколько разных блюд можно приготовить из крапивы (пирог с крапивой, пудинг с крапивой, жаркое с крапивой). Не поймут они и забавной истории про некого Салко: во время нападения банды четников он прикинулся мертвым и таким образом выжил. "Это тот самый Салко, который отплясывает во-о-н в том углу", – показывает пальцем рассказчик на сухощавого жилистого счастливчика в мокрой от пота рубашке, празднующего свое второе рождение.

В официальной части вечера восхваляют разнообразие культур, национальную терпимость и Аллаха. Одно выступление сменяет другое, и все без исключения речи пронизаны гордостью за свой народ. Затем начинается развлекательная часть программы, главная цель которой – продемонстрировать самобытные культурные и художественные таланты народов Боснии и Герцеговины. Хор ребятишек всевозможных форм и размеров (когда я гляжу на них, у меня всегда возникает ассоциация с очертаниями чикагских небоскребов) на ломаном боснийском затягивает какую-нибудь народную песню. Большинство из них родились или провели детство в Америке, отчего в их боснийском появился заметный акцент. Ребятня вдобавок еще и танцует под одобрительным взглядом усатого учителя танцев. Головы девочек покрыты платками, на них шелковые шаровары и короткие безрукавки, под которыми просматриваются округлившиеся бугорки грудей. Мальчишки – в фесках и бархатных штанах. Среди присутствующих вряд ли найдется хоть один человек, которого бы в детстве так одевали: эти театральные костюмы нужны для того, чтобы воскресить в памяти людей прошлое, когда они не знали ни зла, ни нищеты. Я не против такого самообмана, больше того, я даже разделяю их чувства: мне хочется, пусть раз в году, ощутить себя боснийским патриотом. Вместе с другими я горжусь своей принадлежностью именно к этому народу. Мне нравится, что я имею право решать, кого можно считать своим, кого – чужим, а кого – желанным гостем. Танцевальные номера выполняют еще одну задачу –

привлечь потенциальных американских спонсоров, которые охотнее пожертвуют деньги на нужды Ассоциации американских боснийцев, если убедятся, что наша культура не чета их и что нет лучшего шанса продемонстрировать свою терпимость по отношению к чужакам и помочь на века сохранить — как муху в янтаре — наши невразумительные традиции (как ни крути, а мы уже достигли этих берегов и возвращаться назад не собираемся).



Вот как получилось, что 3 марта 2004 года я познакомился с Биллом Шутлером. Мы сидели рядом за столом, он стучал десертной ложечкой по пустой пивной бутылке, стараясь попасть в такт с прихотливым ритмом танца. Патриотически настроенные члены организационного комитета хотели, чтобы я поразил мистера Шутлера и его жену своими писательскими успехами и околдовал неотразимым шармом; что ни говори, супруги входили в совет директоров благотворительного фонда "Слава" и, соответственно, контролировали выделение всяких замечательных стипендий. Билл не следил за моей колонкой, похоже, кроме Библии, он вообще ничего не читал, но зато видел пару моих фотографий в "Трибюн" и потому считал меня важной персоной. В прошлом он был банкиром, а теперь — на пенсии. В деньгах не нуждается; носит темно-синий костюм, в котором смахивает на адмирала. Бриллианты в его запонках блестят в унисон с бриллиантовыми кольцами на подагрических пальцах его жены. Кстати, она мне понравилась; звали ее Сюзи. Когда Билл с грехом пополам поднялся со стула и заковылял в сторону туалета, она мне поведала, что читала мои статьи и они показались ей любопытными. "Поразительно, — сказала она, — насколько по-другому начинаешь воспринимать давно известные вещи, увидев их глазами иностранца". Вот почему она любит читать — ей нравится узнавать новое, и она прочла много книг. "Пожалуй, читать мне нравится больше, чем заниматься сексом", — призналась она и заговорщически подмигнула. Ее муж вернулся за стол и с важным видом уселся между нами, но мы продолжали разговаривать у него за спиной, будто через стенку исповедальни, каковой эта спина служила.

Им было лет по семьдесят, не больше, но Билл уже вполне был готов перейти в мир иной: оба тазобедренных сустава заменены, пигментные пятна по всему лицу и стремление застолбить теплое местечко в раю посредством благотворительности. Сюзи явно не желала до скончания веков наслаждаться Флоридой; ею владело ненасытное любопытство первокурсника. Она забросала меня (приятно щекоча мое самолюбие) вопросами и не собиралась сбавлять обороты.

— Да, я пишу для газеты на английском.

— Да, я думаю на английском, а иногда — на боснийском. Часто я не думаю вообще. (Она расхохоталась, запрокинув голову.)

— Нет, моя жена не боснийка. Она американка, ее зовут Мэри.

— Да, я говорил по-английски до приезда сюда. Я закончил Сараевский университет с дипломом специалиста по английскому языку и литературе. Но до сих пор продолжаю изучать язык.

— Преподавал английский как иностранный. В "Чикаго трибюн" попросили мою начальницу порекомендовать им человека, который был бы в курсе того, как складывается жизнь недавно прибывших иммигрантов; она порекомендовала меня. С тех пор я для них пишу.

— Нет, моя колонка называется не "На родине храбрых", а "В стране свободных".

— Я больше не преподаю английский как иностранный. Только пишу в газету. Миллионов на этом не заработаешь, зато мою колонку читает много людей.

— Мне бы хотелось написать об одном еврейском иммигранте, сто лет тому назад застреленном чикагскими полицейскими. Я наткнулся на его историю, когда собирал в архиве материал для своей колонки.

— Я подаю на разные гранты, чтобы можно было начать работать над книгой.

— Нет, я не еврей. И Мэри не еврейка.

— Нет, я не мусульманин, не серб и не хорват.

— Со мной все далеко не так просто.

— Мэри работает в Северо-западном госпитале, она — нейрохирург. Сегодня вечером она дежурит.

— Позвольте пригласить вас на танец, миссис Шутлер?

— Благодарю вас.

— Нет такой национальности — босниец. Босниец — это гражданин Боснии.

— Долгая история. Мои предки осели в Боснии после того, как ее захватила Австро-Венгерская империя.

— Больше ста лет назад. Империя давным-давно перестала существовать.

— Да, трудно разобраться во всей этой истории. Вот почему мне так хочется заняться книгой.

— Нет, я не знал, что ваша организация принимает заявки на гранты от отдельных граждан. С удовольствием подам.

— И с радостью буду называть вас просто Сюзи.

— Потанцуем, Сюзи?

Мы бодро присоединились к танцующим. Танец был, прямо скажем, незамысловатый: люди в кругу поднимают руки над головой, потом делают два шага вправо, а затем — один шаг влево. Сюзи быстро сообразила что к чему, а я, размышляя о возможном гранте, отвлекся и делал все наоборот: один шаг — направо, два — налево и пару раз хорошенько отдавил ей ноги. Моя пожилая дама героически переносила эти сумбурные наскоки до тех пор, пока я чуть не сломал ей ногу. Сюзи выскочила из круга, потеряв по дороге туфлю, и с искаженным от боли лицом запрыгала по полу на одной здоровой ноге. Чулок на большом пальце собрался гармошкой; в глаза бросились узкая пятка и опухшая щиколотка. Схватить ее за трепещущие руки мне не удалось, тогда я опустился на колени, чтобы проявить внимание к поврежденной ноге. Однако из этого тоже ничего не получилось, поскольку Сюзи без передышки дрыгала отдавленной ногой. Со стороны это выглядело так, будто танцуя мы забыли обо всем на свете: она, стоя на одной ноге, исполняет танец живота, а я впал в транс от ее телодвижений. У публики наш дуэт вызвал бурную реакцию: боснийцы захлопали в ладоши, радостно закричали, и тут же сверкнула вспышка фотоаппарата.

Когда я поднял глаза, меня ослепила вторая вспышка, и я не сумел рассмотреть фотографа. Круг танцующих сжимался вокруг нас, пол стал скользким от пота. Мы с Сюзи полностью завладели вниманием публики. Один молодой человек в расстегнутой до пупа рубашке, выпятив оголенную волосатую грудь, рухнул перед Сюзи на колени и, откинувшись назад, принялся по-цыгански трясти плечами. Она, казалось, моментально забыла о боли и переключилась на веселье: сбросила вторую туфлю и всецело отдалась во власть оргиастической стихии танца. Я выбрался из круга, раздавленный страшной догадкой, что нас поразила эпидемия всеобщего идиотизма.

Впоследствии мне сообщили, что организаторы вечера были в восторге и благодарили меня за то, что я показал Сюзи, как веселились боснийцы в добрые старые времена. К тому же теперь, когда она и Билл познакомились с разудалой боснийской культурой, они, конечно, раскошелятся! Я умолчал о собственных планах; от радужных надежд на получение гранта сердце у меня в груди билось с удвоенной силой. Видите ли, я нахожусь на содержании у жены. В Боснии было принято, что главный добытчик в семье — мужчина, но у нас эту роль взяла на себя Мэри; в Америке, попрошу обратить внимание, нейрохирургам очень хорошо платят. Моя доля в бюджете семьи Филд-Брик крайне незначительна: мизерная зарплата преподавателя английского (да и той я лишился, потеряв работу) плюс гроши за публикации в га-

зете. Так что в голове у меня начал складываться план на получение чудненькой стипендии, которая бы освободила нашу семью от лишних расходов и волнений, связанных с работой над книгой. Пока один танец плавно перетекал в другой, я погрузился в раздумья о том, как мы с Сюзи, вдвоем, без Билла — пусть себе занимается своей церковью или на что он там тратит время в последние годы — сходим куда-нибудь пообедать. Я буду само очарование, засыплю ее забавными историями, обрисую в деталях мой проект, поделюсь идеями, распахну свою писательскую душу; она молча и внимательно меня выслушает. Если подвернется подходящий момент, я, пожалуй, напомню ей, как мы слились в танце; она засмеется, откинув голову, я тоже захохочу; возможно, легонько коснусь ее руки, лежащей рядом с бокалом вина; она почувствует себя опять молодой и при случае замолвит за меня словечко перед комиссией, распределяющей гранты. Тогда-то Мэри убедится, что я не прожигатель жизни, не лодырь, не ленивый иммигрант из Восточной Европы, а человек, не лишенный талантов и потенциала.

Не хочу вас обманывать, я человек слабовольный и подолгу тяну с принятием решений, Мэри подтвердит. Но в тот День независимости я, не откладывая в долгий ящик, сразу же приступил к выполнению своего плана. Первое, что нужно было сделать, это достать фотографию нас с Сюзи. И я стал решительно и бесцеремонно высматривать фотографа в толпе, скользя взглядом поверх бордовых фесок и колышущихся бюстов, поверх распущенных галстуков и размягченных мозгов, поверх скачущих детей и останков набитого холестерином торта, стараясь увидеть вспышку фотоаппарата. Я протискивался сквозь толпу, расталкивал локтями пожилых дамочек и подростков и в конце концов нашел фотографа. Он как раз снимал какую-то семью, замершую перед ним с застывшими улыбками на лицах. Блеснула вспышка, все как по команде перестали улыбаться и разбрелись в разные стороны. Фотограф повернулся ко мне.

Рора! Едрить твою мать. Рора!

Со мной это постоянно случается: я натыкаюсь на людей из моей прошлой, сараевской, жизни. Мы вскрикиваем от удивления; целуемся или хлопаем друг друга по спине; делимся новостями и обсуждаем общих знакомых; обещаем перезваниваться и вообще никогда больше не теряться. Обычно после таких встреч на меня накатывает сокрушительная волна пронзительной грусти: не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять — все, что нас связывало в прошлом, давно перестало существовать; мы способны только на пустые жесты, хотя не разучились еще узнавать давних знакомых и с готов-

ностью делаем вид, будто причиной отчуждения стала наша собственная нерадивость. Старая пленка, на которой запечатлено общее прошлое, рассыпается в прах от соприкосновения с настоящим. Об этом я тоже писал.



Итак, узнав в фотографе Рору, я вскрикнул от удивления и сделал шаг вперед, чтобы поцеловать его в щеку или хлопнуть по спине. Но он отстранился и проигнорировал мои намерения, только буркнул на нашем родном языке: "Как дела?" — будто мы мимоходом встретились на улице. Не буду отрицать, я опешил. Представился:

— Я — Брик. Мы учились в одной школе.

Он кивнул, очевидно, посчитав меня дураком, раз я решил, что он не может меня вспомнить. Рора явно не желал предаваться воспоминаниям в объятиях старого друга. Стоял и держал фотоаппарат объективом вниз, словно пистолет на предохранителе. Пленочный фотоаппарат, не цифровой — от растерянности я почему-то обратил на это внимание. И выпалил:

— А ведь это не цифровой фотоаппарат.

— Все-то ты знаешь, — ответил он. — Это совсем не цифровая камера.

Музыка прекратилась, танцующие потянулись к своим столам. Что мне оставалось делать: не мог же я все бросить и уйти; не мог плюнуть на шумный праздник по поводу Дня независимости; на прошлое, населенное незнакомцами, и настоящее с его иностранцами. А что прикажете делать с Сюзи Шутлер, с нашими задушевными разговорами, танцами и ползанием на коленках? Что будет с моим планом спасения? Забавно, не правда ли: сделав первый шаг, вы уже не можете остановиться.

— Смотри-ка, ты не бросил фотографировать! — сказал я.

— Снова начал во время войны, — буркнул он.

Из опыта я знал: стоило мне, уехавшему накануне войны и потому не видавшему всех ее ужасов, задать боснийцу хоть один вопрос на эту тему, как я тут же получал в ответ длинный монолог с описанием кошмаров, завершавшийся тем, что собеседник убеждался в моей неспособности понять, на что все это было похоже. Я себя выдрессировал и научился не попадаться в ловушку, но в этот раз не удержался и спросил:

— Ты всю осаду провел в Сараеве?

— Нет. Но все самое интересное видел.

— Я уехал в Америку весной 92-го, — сказал я, хотя он не спрашивал.

— Повезло, — заметил он, и только я собрался ему возразить, как перед нами возникла семья, желающая сфотографи-

роваться. Тучный отец семейства в очках, дородная мамаша с короткими ручками, две упитанных дочки с блестящими тщательно уложенными волосами выстроились в ряд и напряженно застыли, оскалив лошадиные зубы.

Рора.

Со многими бывшими сараевцами я не виделся годами, но в любой момент кто-то из них может появиться на моем горизонте, обремененный грузом банальных воспоминаний. С Ророй я дружил в старших классах. На перемене мы покуривали в туалете на третьем этаже; на спор кидали окурки в отдушину неработающей вентиляционной системы — кто попадет, кто промажет. Рора обычно курил красные "Мальборо", всегда у него имелась целая пачка этих сигарет, намного превосходивших то дерьмо, которым баловались мы и которое по непонятной причине носило название какой-нибудь югославской реки, разливающейся по весне. В то время как наши сигареты, по всеобщему убеждению, были набиты табачными крошками, в конце смены собранными с фабричного пола, его новенькие красные пачки "Мальборо" могли прибыть только из-за границы. От них так и веяло изобилием, благополучием страны молочных рек с кисельными берегами. Рора никогда не жадничал и готов был поделиться сигаретами. Не от щедрости, а ради возможности похвастаться своими последними заграничными путешествиями и показать нам фотографии из разных стран. В большинстве своем мы проводили каникулы с родителями в захолустных приморских городках и помыслить не могли о том, чтобы пропустить школу, не говоря уже о поездках за границу, да еще без взрослых. Рора же обитал в нереальном мире: часто исчезал, плевал на школу, и загадочным образом никто его не наказывал и не ругал за прогулы. Ходили слухи, что его родители погибли в автокатастрофе и о нем заботилась сестра, которая сама была ненамного старше. Еще ходили совсем уж невероятные слухи: будто отец Роры был шпионом, служил в военной разведке и после его смерти товарищи по работе взялись опекать Рору; будто он был незаконнорожденным сыном члена политбюро; и, наконец, сам был разведчиком. Мало кто этим слухам верил. Но у знающих Рору нет-нет да и мелькала мысль, что, возможно, слухи недалеки от истины. Рора всегда побеждал в соревнованиях по забрасыванию окурков в вентиляционную отдушину.

Он рассказывал нам, как летал в Лондон в кабине пилота, как над Альпами пилот ненадолго дал ему порулить. В Швеции он обзавелся любовницей, намного старше его. Она засыпала его подарками — в подтверждение он распахивал перед нами рубашку и демонстрировал золотую цепь в палец толщиной. Он мог ездить на ее "порше", да что там, она готова была

ему его подарить, изъяви он желание; он показывал нам фотографию машины. В Милане он выиграл столько денег в кункен, что пришлось все их немедленно потратить, иначе проигравшие убили бы его на месте. Он пригласил их в самый дорогой ресторан в мире, где они ели жареные глаза обезьяны и шашлык из мяса черной мамбы, а на десерт слизывали мед с груди умопомрачительно красивой официантки. В доказательство он показал нам фотографию Миланского собора. Мы ему верили, хотя и потешались над его рассказами. А ему было плевать на то, как мы относимся к его басням.



В нынешней жизни мне не хватает веры, свойственной жителям довоенного Сараева: веры в то, что человек может быть таким, каким он себя представляет. Любая жизнь, будь она хоть плод больного воображения, имеет право на существование, пока не перевелись люди, готовые доказать это на собственном примере. Если кто-то рассказывал, как летал в кабине пилота или был малолетним жиголо в Швеции, или ел шашлык из змеи, то ему с легкостью верили. Ты был склонен поверить потому, что тебе подобные истории нравились. Пусть Рора и врал, пусть я сам порой сомневался, что все действительно случилось так, как он это расписывал, он был единственным человеком, который мог совершить все эти подвиги. Единственным, кому подходила роль жиголо, летающего в кабине пилота, обожающего шашлыки из мамбы. Как у всех подростков, и у меня был в запасе набор неправдоподобных историй про героев, на которых я стремился походить; чаще всего в этих жалких историях я представал в образе крутого циничного писателя. Помимо прочего, для сексуально озабоченных юнцов похождения Роры обладали особой притягательностью; к примеру, в моих эротических фантазиях неизменно присутствовала шведская любовница. Рора наяву проживал то, о чем мы могли только мечтать, и всем нам хотелось быть на него похожими — других достойных подражания образцов у нас не было.

Мы мало общались после окончания школы: он все время разъезжал, а я усердно занимался в университете. Время от времени мы сталкивались на улице, обменивались рукопожатиями, отмечали, что в жизни у нас ничего не изменилось, а потом он вкратце рассказывал мне про свои очередные приключения. Я держал в голове неполную и неточную карту Европы и мысленно отмечал на ней яркими флажками места, в большинстве своем — столицы государств, куда приводили его скитания. Где-то Рора выиграл кучу денег в шахматы, играя на время, и спустил все на цыган, целые сутки наяривавших для него на гитарах. Где-то в богатом городке он свел счеты с неким зазнавшимся западноевропейцем, переспав в

одну ночь с его скучающей женой и избалованной дочкой. На каких-то дорогих приморских курортах он отвлекал туристов, зазывая их фотографироваться, пока его партнер – вор-карманник – уводил их бумажники. Рассказы о его необычайных приключениях чрезвычайно меня возбуждали: вот и не верь после этого, что наглость – второе счастье. К тому же все эти цыгане, матери с дочками, наш общий приятель Марон – величайший карманник Центральной Европы будто воочию вставали у меня перед глазами.

В последний раз я видел Рору в марте 1992 года. Он накануне приехал из Берлина, я вот-вот должен был уезжать в Америку; мир вокруг нас рушился; на город налетела непривычная для ранней весны снежная буря. Мы столкнулись на улице в разгар сильной пурги и разговаривали, перекрикивая завывания ветра, как герои старинного эпоса. На нем было элегантное длинное пальто из верблюжьей шерсти, на шее – мохеровый шарф, в кудрявые волосы набился мокрый снег. Чтобы пожать мне руку, он снял лайковую перчатку. Учитывая обстоятельства, можно сказать, что у нас обоих все было хорошо: ситуация в стране ухудшалась с каждым днем, погода – отвратительная, будущее – неясно, война – неизбежна, ну а так в остальном все по-старому. Мы торчали на улице перед внушительным зданием Энергоинвеста, холод щипал мне пальцы ног, но я не уходил, а он ни к селу ни к городу стал рассказывать как продавал куски Берлинской стены американским туристам, гоняющимся за призраками настоящей жизни. Как из пульверизатора покрасил обычный бетонный блок и разбил его на куски. Куски побольше шли подороже, к самым большим он прилагал сертификаты подлинности, которые сам же и подписывал. Один раз чуть не попал в неприятную историю: полицейские поймали его с поличным, когда он стоял на улице возле кучи обломков "стены", с карманами, набитыми долларами и немецкими марками, и торговался с четой из штата Индиана. За спиной у американцев болтались пустые рюкзаки, которые они во что бы то ни стало желали набить бетонными обломками истории. Ему удалось выкрутиться, наврав, что он продает копии. И полицейских и покупателей такое объяснение, как ни странно, вполне удовлетворило. На прощание Рора дал мне совет по поводу жизни в Соединенных Штатах. "Там все возможно", – сказал он и, повернувшись ко мне спиной, ушел в снегопад. Мысленно я себе это так представляю. На самом деле, все было по-другому: он проводил меня до границы микрорайона Пофаличи, поймал там такси, а я остался дожидаться трамвая. В обеих версиях он не заметил, как выронил перчатку. Я ее подобрал и унес домой, где она и потерялась в круговерти войны.

ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ ШУТЛЕР сразу же берет расследование на себя. Не теряя времени, он посылает команду на поиски свидетелей и улик, а сам отправляется в дом Шиппи. Из прихожей до сих пор не выветрился резкий запах одеколона, пороха и крови; ковровая дорожка на лестнице уползает по ступенькам вверх и теряется в темноте. Уильям П. Миллер, лучшее перо "Чикаго трибюн", тут как тут, посасывает сигару, одет с иголочки, настоящий денди, да и только. Шутлер приветствует его кивком, а затем обменивается несколькими словами с шефом. Тот морщится от боли, пока Фоули накладывает ему на руку повязку. Шутлер перешагивает через ярко-красную лужу крови, очертаниями напоминающую неизвестный океан, раскинувшийся на светлом кленовом полу, и ступает на ковер рядом с телом лежащего на спине молодого человека. Наклоняется и поднимает с пола конверт, который Шиппи получил от незнакомца. Открывает конверт, читает записку и кладет в карман. Миллер все замечает, но ни о чем не спрашивает. Хрустальная люстра слегка дребезжит от чьих-то тяжелых шагов наверху. Потолок выкрашен в ярко-голубой цвет — ни дать ни взять летнее небо. "Матушка ужасно расстроилась", — говорит начальник полиции.

Из кармана пальто незнакомца Шутлер извлекает проездной билет трамвайного маршрута номер 12. **Эта улика предположительно указывает на то, что молодой человек проживал в еврейском гетто на Южной стороне.** Второй билетик датирован первым марта, он с другого маршрута — с Халстед-стрит; вероятнее всего, незнакомец приезжал на Северную сторону заранее — для рекогносцировки. Еще есть листок перекидного календаря от 29 февраля с цифрами: 21—21—21—63; последняя цифра обведена и перечеркнута крест-накрест. Помощник Шутлер с ходу решает, что эти цифры убийца использовал в своего рода лотерее, популярной у анархистов — так они определяли, кому идти на дело. Его подозрения подтверждает и обнаруженный у незнакомца кулек белых леденцов — наверняка, в них яд: молодой человек, несомненно, был готов пожертвовать жизнью ради своей безумной цели. Шутлер также обнаружил за подкладкой шляпы листок из дешевого, судя по качеству бумаги, блокнота со следующими записями:

1. *Туфли мне велики.*
2. *Комната моя мала.*
3. *Книга – толстая.*
4. *Суп мой горяч.*
5. *Сам я силен.*

Шутлер не сомневается, что это зашифрованное описание этапов запланированного убийства. Как и не находит стран-

ным то обстоятельство, что анархист чисто выбрит, скорее всего, побрился этим утром, и аккуратно подстрижен. Одежда на убийце поношенная, старомодная, но от него не пахнет, очевидно, недавно мылся. **Людям его круга не свойственно заботиться о своем внешнем виде,** — объясняет помощник Уильяму П. Миллеру. — **Похоже, он не рассчитывал выбраться живым.**

— Я думаю, он еврей, — вступает в разговор глава полиции Шиппи. Фоули, завершая перевязку, зубами разрывает конец бинта на две части. Шутлер расстегивает ширинку на штанах убитого и стягивает их с него, затем то же самое проделывает с кальсонами; случайно поскользнувшись в луже из крови и мозгов убитого, он теряет равновесие и чуть не падает на труп, но быстро выпрямляется и объявляет:

— Еврей, как есть еврей, — тычет он пальцем в пах молодого человека. — Еврейское отродье.

СКОЛЬ НИ СИЛЬНО БЫЛО НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ ЛЮбопытство, у меня не появилось особого желания продолжить общение с Ророй на почве национального самосознания, независимости и полного разрыва с родиной. Единственное, чего мне хотелось, это получить от него фотографию, запечатлевшую нас с Сюзи: в моем воспаленном мозгу засела мысль, что успех с грантом напрямую зависит от этого снимка. На банкете Рора сказал, что с большим удовольствием мне его вручит. С непроницаемым лицом старого лгуна я предложил заплатить ему за работу, втайне надеясь, что он откажется от денег и отдаст фото задаром. Увы, Рора оценил свои услуги в захватывающую дух сумму, ни много ни мало — целых сто долларов; впрочем, я бы заплатил и больше. Он обещал позвонить, как только фотография будет готова. Возможно, он поиздержался; а может, из принципа не хотел работать бесплатно. Возможно, мне суждено было в одной из его будущих историй выступить в роли очередного американца-простофили, на котором он играючи сделал деньги.

Что хотите, то и думайте, но, спустя несколько недель — уже наступил май (почти наступил, я хорошо это помню, ведь я отправил заявление на стипендию первого апреля и как раз собирался пригласить Сюзи пообедать), — я, набив карман двадцатками, поджидал Рору в кабачке "У Фицджеральда" (есть такой ирландский паб в Андерсонвилле, на севере Чикаго). Разглядывая развешанные по стенам стандартные фотографии пожарников и копов, сидящих в обнимку с пивными кружками, я испытывал приятно щекочущее чувство, что совершаю нечто противозаконное. Позавтракать в этом пабе я предложил в основном из-за того, что он нравился Мэри; здесь

она за кружкой стаута припадала к своим ирландским корням. Рора запаздывал, и я, по своему дурацкому обыкновению, начал беспокоиться, что он не придет. В детстве, когда мы с ребятами играли в прятки, не раз случалось, что ближе к вечеру я прочесывал подвалы и заросли, лазил под машины, гонялся за тенями, в то время как заботливые матери вовсю купали моих сотоварищей, давным-давно бросивших игру и разбежавшихся по домам. Поэтому каждый раз, дожидаясь кого-нибудь, я не мог отделаться от мысли, что этот человек не придет. Иногда мне казалось, что Мэри не вернется домой после работы. Я воображал, что ей до чертиков надоели мои безосновательные амбиции "великого писателя" и смехотворные доходы и в один прекрасный день она просто решит меня бросить; эти размышления неизменно приводили к тому, что я убеждался: да, она больше не желает, чтобы я сидел у нее на шее. Вот и на этот раз, сидя в одиночестве за столиком у окна, я ждал очередного унижения: конечно же, Рора меня кинет. Официантка каждые пять минут справлялась, не объявился ли мой гость; я сам предупредил ее, что жду знакомого. Кто, спрашивается, тянул меня за язык?

Наконец я увидел за окном Рору: идет не торопясь, высокий, худощавый, темные красиво вьющиеся волосы, новехонькая блестящая кожаная куртка, модные зеркальные солнцезащитные очки. Он заметно выделялся в утренней толпе местных жителей, спешащих на службу, дабы доблестно исполнить свой долг. Наблюдая за ним, я вдруг ясно понял то, что давно знал, но не мог сформулировать: Рора всегда был состоявшейся личностью, он научился быть самим собой задолго до того, как мы только отважились задуматься, что такое возможно. Стыдно признаться, но я ему страстно завидовал.

Он пофлиртовал с официанткой, обратившись к ней сначала по-французски, а затем на немецком. Она была родом из глухой провинции, из Палос-Хайтс, и потому Рорины лингвистические способности не произвели на нее впечатления. Заказал хорошо прожаренный чизбургер, ни разу не сказав ни спасибо, ни пожалуйста. Я попросил вафельные блинчики, но увы, таковых не было; пришлось удовольствоваться чизбургером; я предупредил, чтобы его не пережарили. Мы поболтали о том о сем — по-боснийски. Рора много лет прожил в фешенебельном Эджуотере; моя вотчина — разношерстный Аптаун, куда мы с Мэри перебрались после свадьбы. Я заметил: "Странно, что наши пути не пересеклись раньше". Он спросил: "Знаешь, где в Чикаго можно достать самые свежие рыбопродукты? В хозяйственном рядом с 'Мираклвидео'". Один его знакомый босниец поставляет рыбу в луч-

шие рестораны города. Боснийцам, желающим отведать свежайшего осьминога из Флориды, достаточно ему позвонить и сделать заказ, который тот передаст хозяину этого самого магазина, некоему Мухамеду. У него в подсобке, прямо под циркулярными пилами, всегда стоят ведра с живой рыбой. В магазине пахнет океаном и скипидаром.

И опять, как в той школьной уборной, мной овладело знакомое чувство: на секунду померещилось, что в этом скучном, регламентированном, бездушном мире может найтись место для таких изысканных чудес, как шашлык из мамбы или хозяйственный магазин, торгующий свежими осьминогами. Движимый не так давно приобретенной американской привычкой трезво смотреть на вещи, я усомнился в правдивости Рориных слов и предположил, что это наглая выдумка, но он спокойно предложил мне сейчас же туда пойти и все увидеть своими глазами. Я, естественно, отказался и решил ему поверить. Между прочим, фотография хозяйственного не понадобилась — вот же он, виден из окна.

Прибыли чизбургеры во всей своей истекающей жиром красе. Я болтал с набитым ртом; мы бесконечно пили кофе — чашку за чашкой, от долгого сидения у меня даже задница заболела. Я поведал Роре мою историю: что живу в Америке с начала войны, что пробавлялся случайными заработками, пока наконец не подвернулось место учителя английского как иностранного. Затем наступил черед газетной колонки; я написал о судьбах своих учеников, схожих с моей собственной: как они искали работу, как получали индивидуальный номер налогоплательщика, как выбирали квартиру, как получали американское гражданство, как боролись с ностальгией, как учились общаться с американцами и т. д. Колонка имела успех, но много на ней не заработаешь. Читателям понравился мой откровенно-личный стиль и витиеватый английский. Три года назад я женился на американке. Чудесная женщина.

Это была заготовленная речь из тех, что я выдавал в компании незнакомых людей, если кто-нибудь прерывал затянувшееся молчание дурацким вопросом. Их вряд ли интересовали подробности, и потому я никогда не рассказывал, как мы с Мэри познакомились на вечеринке для одиноких в Чикагском художественном институте. Нас свело не знающее государственных границ одиночество. Мы оба прилично напились, уселись на мраморной лестнице и заплетающимися языками трепались о жизни, искусстве и поэзии. Я удивил ее тем, что смог, правда, переврав, процитировать Филипа Ларкина, а потом чуть все не испортил, когда полез обниматься. Она была сильно подшофе, так что легко простила мою фа-

мильярность. Как две заблудшие овечки, мы доплелись до озера с его белыми барашками волн, плюхнулись на песок пляжа, на который выходит Оук-стрит, и сидели там, пока полицейские нас не прогнали. Эту ночь я провел с Мэри. Год спустя, стоя перед захватывающими дух кувшинками Моне, я сделал ей предложение. Мэри была чудо как хороша; я потерял голову; мы оба были одиноки; она ответила согласием. Первого ребенка мы решили назвать Клодом или Клодеттой, либо, как иногда шутили, Клавдием или Клавдией. Готовя ирландское рагу, Мэри всегда надевает фартук с кувшинками. Иногда мне кажется, что все это мне только померещилось.

На вечеринках всегда находились охотники порассуждать о том, как гладко сложилась моя иммигрантская судьба. Кто-нибудь обязательно вспоминал предка, проделавшего в Америке точно такой же путь: чужая страна, тяжкий труд, перемены к лучшему, успех. Я не мог себя заставить признаться им, что потерял преподавательскую работу и что Мэри меня содержит. Моей жене тоже нравился этот четырехэтапный сюжет, ведь ирландцы пережили и эмиграцию, и притеснения на новом месте. Правда, мне кажется, она была разочарована тем, что переход к этапу успеха слегка затянулся. И все же регулярно посылала родителям в Питтсбург вырезки из газеты с моей писаниной; они послушно вешали их на дверцу холодильника. Мэри объяснила им, что я очень талантлив и когда-нибудь напишу великую книгу. Теща и тесть с нетерпением этого ждали. Полагаю, они решили, что я не намерен заводить детей пока не закончу книгу, а им так хотелось иметь внуков! В общем, моя чудесная жена во всем меня поддерживала. Я так счастлив, уверял я Рору, мне так повезло с женой. Повезло с Мэри Филд. Она — хирург, из тех, кто никогда не льет слезы над умершими пациентами. И родители у нее замечательные, ирландцы по происхождению.

Рора рассказал мне про одного ирландца, с которым познакомился во время войны. Звали его Кормак. Их пути пересеклись в сараевском Туннеле[1]. Где-то впереди них, в кромешной темноте треснул ящик с винными бутылками, и движение по туннелю застопорилось. Пока контрабандисты спасали вино, предназначенное для продажи на черном рынке, Роре и Кормаку ничего не оставалось, кроме как ждать. Они разговорились. Кормак впервые направлялся в Сараево.

1. Во время осады Сараева (1992–1996) важную роль сыграл 800-метровый туннель, прорытый вручную от города до аэропорта, занятого войсками ООН. Через туннель в город доставляли еду, оружие и гуманитарную помощь, а из города эвакуировали беженцев.

Он намеревался организовать посещение блокадного города Папой Римским. Рора с ирландцем устроились прямо на холодной земле в глинистом могильном сумраке, пропитанном запахом спиртного; Кормак рассказал, что он уже обо всем договорился с Папой по телефону, и Его Святейшество согласился приехать в Сараево, но только при одном условии... "Я сделал отличную фотографию Кормака, — сообщил Рора. — Когда мы вылезли из туннеля. Вся рожа в грязи, безумная улыбка, счастлив до небес, что выбрался из подземелья".

Я не мог уловить связь между своим рассказом (кстати, о чем я говорил?) и его историей про Папу Римского, но, конечно же, мне было страшно интересно узнать, о каком таком условии шла речь. В этот момент официантка принесла чек. Рора, прежде чем передать его мне, сказал: "Эх, дороговато. Как насчет скинуть чуть-чуть?" Официантка выглядела усталой и измотанной, прядь льняных волос выбилась из-под заколки, но девушка все же улыбнулась. Он ведь был очаровашка, наш Рора. Когда-то у меня на родине таких очаровашек было полным полно, не меньше, чем сейчас минных полей. Я спросил:

— Что это было за условие?

— Ты о чем?

— Условие Папы.

— А, это. Что нужно прекратить войну. Кормак специально приехал в Сараево объявить людям, что если они перестанут сражаться, то Папа приедет с визитом на пару дней.

— Как он смог дозвониться до Папы?

— Боно, певец, дал ему номер телефона. Они с Папой друзья.

После завтрака Роре захотелось выпить еще чашечку кофе. Мы пошли в кафе "Копи", где в воздухе смешались запах пачули и ароматы колониального (в прошлом) чая. За это утро я так накачался кофеином, что в глазах у меня потемнело, но отказаться не мог, поскольку еще не получил желанную фотографию. Хамоватый официант, обладатель коротеньких ручек в причудливых псориазных пятнах, записал наш заказ. Рора, не спросив меня, заказал два двойных эспрессо и принялся диктовать официанту четкие инструкции по приготовлению кофе. Официант рассеянно его слушал, постукивая карандашом по блокноту, пока Рора не приказал строго: "Записывай". В углу трясся старик в лохмотьях; яппи в деловом костюме заказывал себе гранд латте; кофеварочный аппарат шипел как гейзер. На стеллаже у стены лежали путеводители по дальним странам: Испания, Норвегия, Свазиленд, Китай, Новая Зеландия, Ирландия.

Что мне оставалось делать? Я выпил жидкий двойной эспрессо (плевал с высокой башни официант на Рорины инст-

рукции), руки дрожали, но я все же решился попросить фотографию. Не уточняя, зачем она мне понадобилась. Фотография оказалась черно-белая. На ней было прекрасно видно, в какую нелепую ситуацию я попал: стою на коленях, этакий неуклюжий рыцарь, перед пожилой дамой, держась левой рукой за ее сморщенную коленку. Хотя, должен заметить, лицо мое поражало своей красотой. Благородством, я бы даже сказал. Налет страха не скрывал внутренней чистоты и невинности. Не удивлюсь, если Сюзи понравится фотография. И хорошо, что черно-белая — выглядит старинной и значительной, словно частица другого, исчезнувшего, а потому лучшего мира. Короче, снимок мне очень понравился — на нем я был таким, каким себя мысленно представлял. Я потребовал у Роры негатив.



— Ты мне еще не заплатил, — заявил он.

— А ты мне его еще не отдал, — отпарировал я.

Он дал мне негатив, я ему — деньги. Пододвинувшись ближе, Рора стал рассматривать мое лицо, будто прикидывая, как я буду выглядеть на портрете.

— Мне хочется тебя сфотографировать, Брик. Ты хорошо получишься, — сказал он.

— Почему?

— А почему бы и нет? Каждое лицо — картина. К тому же, может, им в газете приспичит поместить твою фотографию рядом с колонкой. А может, понадобится для книги.

Теперь мне оставалось только собраться с духом и позвонить Сюзи Шутлер. Всю следующую неделю я, как дотошный турист, позировал Роре на фоне чикагских достопримечательностей: у скульптуры Пикассо, около Художественного института, перед Центром Джона Хэнкока, на Золотой Миле. Еще мы поснимали темные узкие переулки и живописные парки, а потом прошли на пляж в районе Оук-стрит. День выдался холодный, озеро приобрело цвет лишайника; такое обычно случается при северо-западном ветре. Признаюсь: на всех фотографиях, даже нахмурившийся и продрогший, я старался быть воплощением благородной задумчивости. То всматривался в раскинувшуюся до самого горизонта водную гладь, то с умным видом размышлял о вечности, с которой невольно ассоциировалось озеро. Потом уселся на краю набережной, сосредоточив внимание на мышцах лица, на углу наклона головы, на полуоткрытом рте, из которого вот-вот готовы вырваться мудрые пророческие слова. При любых других обстоятельствах это было бы невыносимо, особенно если учесть, что каждый прохожий считал своим долгом дать нам совет, да и сам я

постоянно спрашивал себя, зачем в это дело ввязался. Я бы давно послал все к черту, если бы не Рора, невозмутимо выдающий один забавный рассказ за другим. Он словно решил отплатить мне за услугу, взявшись меня просветить и заодно развлечь. Притом ни разу не спросил, как я живу, какие у меня планы, чего я достиг, но тут я вспомнил, что таков боснийский стиль общения: никто не полезет к тебе с расспросами, это твоя забота — чтобы тебя услышали. Рора говорил в свойственной сараевцам манере: запинался, глотал гласные и нечетко произносил согласные. Я обожаю эту речь, она всегда напоминает мне приглушенный стук колес первого трамвая ранним весенним утром, когда воздух еще пропитан влагой и в нем легко тонут звуки пробуждающегося города.

Рора родился и вырос в старой части Сараева, Башчаршии; происходил из старинной мусульманской семьи торговцев, издавна владевшей магазинами в городе. В семье повелось выбирать себе жен и мужей только из городских, отчего родственников в провинции у них не было. "Не выношу природу, — сказал Рора, пока я позировал ему, прислонившись к дереву с пышной кроной. — Не могу отличить корову от овцы. По мне, что одна, что другая — дикие звери". Его родители умерли, когда ему было десять лет. Рору и его сестру, Азру, взяла к себе тетка. Азра была послушным и добрым ребенком, не пропускала школу, хорошо училась, помогала тетке по дому. Рору воспитала улица: в одиннадцать лет он начал курить, в двенадцать стал играть в карты на деньги, а дома только ел и спал. Иногда ему удавалось подбить Азру на участие в его проделках. Однажды они налили воды в стоящие перед мечетью башмаки молящихся и по окончании службы с интересом наблюдали, как мужчины хлюпают и скользят в мокрой обуви по плитам двора. В ранней юности он занимался тем, что приводил заблудившихся иностранных туристов к боковому входу в мечеть Бегова-Джамия и советовал им обувь, пальто и камеры оставить у входа, как того требуют мусульманские традиции. Рора обещал постеречь их имущество, но стоило туристам войти в мечеть, как он тут же исчезал с вещичками, вынуждая несчастных ковылять босиком по булыжнику. Добычу он отдавал Рэмбо, матерому вору из Башчаршии, которому едва перевалило за двадцать; их отцы в свое время были закадычными друзьями. В самом начале войны Рора вступил в военную группировку Рэмбо — едва ли не единственное боснийское формирование, имевшее оружие. Перед войной Рора часто оказывал услуги иностранцам, желавшим приобщиться к богатой истории города Сараева, запечатлев себя на его улицах. Он водил их по городу и фото-

графировал на фоне построенных, по его словам, в четырнадцатом веке синагог, и церквей, и мечетей постройки пятнадцатого века, на самом деле возведенных столетиями позже. Рора описывал туристам выдуманные им самим кровавые побоища; выжимал у них слезы, рассказывая якобы хорошо известную всему Сараеву историю про юных влюбленных, спрыгнувших с минарета; сообщал, будто, согласно легенде, во-о-о-н в той лавочке юноша по имени Ахмед ткал волшебные ковры-самолеты, пока однажды не улетел на одном из них в дальние края, чтобы сгинуть там навсегда. Туристы обожали подобные сказки, от Рориных историй руки у них сами тянулись к кошелькам, и они щедро одаряли Рору чаевыми в твердой валюте.

Именно опыт гида-фотографа пригодился Роре после того, как он в 94-м через Туннель выбрался из осажденного Сараева. Корреспондент "Вашингтон пост" взял его с собой в поездку в Междугорье: он намеревался написать статью о тысячах паломников, валом валивших туда, где, предположительно, Дева Мария предстала перед непорочными девочками-пастушками. Увлекшись спасением души, добропорядочные христиане не заметили массового истребления мусульман в полусотне миль от этого самого места. Вот как получилось, что Рора оказался в Междугорье под видом хорвата-католика по имени Марио. Он свободно говорил на нескольких языках, никогда не расставался с камерой и поэтому легко нашел там работу: водил толпы верующих на гору, где пастушкам было видение Божьей Матери. Верующие светились счастьем, а Рора их фотографировал. Рора, конечно, слышал про Иисуса Христа — *Исуса Христа*: знаменитость как-никак, вроде Мадонны или Мела Гибсона, — хотя в церкви никогда не бывал, только понаслышке знал о христианском, да и любом другом, вероучении; по правде говоря, религия его мало интересовала. Дурацкие ритуалы и сказки про очищение души оказались легкими для усвоения; у него ушло дня полтора, не больше, на то, чтобы научиться манипулировать восторженными толпами. Туристы рыдали в тени креста, слушая Рорины речи, в которых он всего-навсего излагал содержание религиозной брошюрки, слегка ее приукрасив. Все эти добрые люди из Ирландии, из Мексики, с Филиппин были в восторге; осененные благодатью, они не жалели денег на чаевые.

Однажды Рора вел отряд престарелых американцев-паломников, прибывших прямиком из Индианаполиса. Благодаря своему неотразимому шарму жиголо и английскому с очаровательным сараевским акцентом, ему не составило труда запудрить старичью мозги. Достигнув места назначения и

пролив обязательную слезу, они обратились к Роре с просьбой прочитать молитву на его родном языке, что, несомненно, подразумевало огромного размера чаевые. Он раньше слышал молитвы и знал, что в них всегда упоминается *Исус Крист*, знал как они звучат, но не помнил ни одной наизусть. И несмотря на это, рухнул на колени, сложил руки, склонил голову — само олицетворение набожности — и начал:

Как по Саве-реке тихо утка плывет,
Тихо утка плывет,
На голове записку несет.
*Исус Крист.*
А в записочке той слова:
Не люблю я больше тебя...
*Исус Крист.*

Когда я был маленьким, родители в ходе воспитательного процесса практиковали разделение труда: отец рассказывал мне сказочные истории из своего детства, населенные мудрыми домашними животными, а мама пела колыбельные или читала стишки. В одном из стишков фигурировала утка, переплывающая реку Саву с письмом на голове: "Не люблю я больше тебя — Ne volim te više". Это письмо всегда вызывало у меня недоумение, и по ночам я много раз пытался разгадать его скрытый смысл: почему именно на голове, чем так важна река, кому это послание адресовано, кого больше не любят? Рорина молитва была тем самым детским стишком с неуместным добавлением имени Иисуса Христа. Теперь, слушая Рору, я понял, что скрытая в этом стишке жестокость в моем сознании неразрывно связалась с жестокостью культа Христа.

Я прекрасно помню, как бабушка с дедушкой заставляли меня ходить в церковь. Они придерживались украинских традиций и сохраняли старый уклад жизни в боснийской деревушке, куда каждое лето родители отправляли меня на каникулы. Охотнее всего я бы сидел и читал книжки, но мне частенько приходилось помогать по хозяйству, поить коров и отыскивать заплутавшего в полях деда. Воскресным утром я обязан был вставать ни свет ни заря, облачаться в брюки, белую рубашку с галстуком и идти в церковь — пешком, через четыре высоченных холма. В церкви сидеть разрешалось только старикам, я же всю службу простаивал на ногах, страдая от жажды, усталости и скуки. Помню, как ломило ноги, а трусы от пота прилипали к заднице. Но хуже всего была похоронная атмосфера внутри, гнетущая торжественность самого действа: хор, распевающий гимны о страстях Христовых, повсюду распятия, коптящие

свечки перед иконами, черные от гари стены, вцепившиеся в палки трясущиеся руки стариков, верующие помоложе, опускающиеся на колени, кряхтя от боли в суставах. Все в церкви напоминало о смерти — в тяжелом плаще, костлявой, слепой, глухой и смердящей. Не раз и не два мне случалось описаться (почему в церкви нет туалета?! У Христа, что, не было мочевого пузыря?!) и даже потерять сознание. И кровь текла из носа, и тошнило, все было, не было только сострадания к моим мучениям: как же, мои мучения не шли ни в какое сравнение с муками распятого гимнаста, всем было на меня наплевать. Потом всю неделю меня по ночам терзали кошмары. Я звонил своим коммунистам-атеистам-родителям и умолял их защитить меня от религиозного фанатизма бабушки и дедушки, но родители не внимали моим мольбам. Куда больше, чем мои страдания, их пугала перспектива оставить меня без присмотра (когда старики уходили в церковь) в окружении сельскохозяйственных орудий, ножей и спичек; они больше заботились о состоянии моего тела, чем моей души. Спасение пришло, когда я сообразил, что могу проносить книжки в церковь. Забившись в самый темный уголок, напрягая глаза, я читал, скажем, "В пустыне и в пуще" и воображал себя разгуливающим по бескрайнему светлому пространству свободы, в то время как все остальные каялись в грехах и размышляли о бренности земного существования. Чтение не только помогало мне забыть про физические неудобства, но и приносило огромное удовлетворение — ведь молящиеся ни сном ни духом не ведали о моих тайных занятиях. Вот почему меня так сильно, чуть ли не до исступления, восхитила картина ничего не подозревающих коленопреклоненных американских паломников, с трудом повторяющих за Ророй магические слова, вкупе с образом лишенной любви утки, тихо плывущей по реке.

К тому времени, когда Рора закончил историю про утку-молитву, мы успели перебраться в Аптаун: фотографировали захудалые винные магазинчики; изъеденную ржавчиной лестницу, ведущую к платформе наземки над Лоуренс-стрит; гопников в спущенных чуть ли не до колен штанах; заколоченный местный театр; старые полуразвалившиеся гостиницы, служащие пристанищем для завязавших алкоголиков и психов; и самих психов, с безумными глазами рыщущих по улицам.

— После 9/11 даже эти безумцы стали патриотами, — заметил я. У многих во всклокоченных волосах торчали американские флажки, а один босой субъект аж прилепил себе на лоб наклейку со словами "В единстве — сила". Похоже, все

его множественные личности объединились на борьбу с терроризмом. Вера и заблуждение неразделимы.

– В Сараеве тоже был один такой, – подхватил Рора. – Бегал трусцой по всему городу, стоило только утихнуть боям. Бежит себе в майке и красных спортивных трусах. Его пытались поймать и спасти, ведь четники не переставали палить, да разве его поймаешь, летел стрелой. Запихивал себе в рот пластмассовый ярко-желтый лимон, а если лимона не было, то орал как оглашенный. Говорил, что тренируется к Олимпиаде. Однажды на аэродроме он вместе с кучей каких-то людей перебегал площадку перед ангаром под перекрестным огнем четников и миротворцев. И те, и другие стреляли по бегущим, а он со своим лимоном во рту всех обогнал, так и спасся. Теперь живет в Сент-Луисе.

Мы шли по Лоуренс-стрит, как вдруг впереди остановился школьный автобус и из него вывалилась толпа школьников. Я не мог разобрать, что они говорят, слышал только отдельные слова: "А я, в натуре..." Они гурьбой направились к платформе наземки. Двое парней, один в свитере с эмблемой мексиканской национальной сборной по футболу, и не подумав приобрести билет, перепрыгнули через турникет и понеслись вверх по лестнице. Остальные орали во всю глотку; крики стали еще громче, когда над головами у них завизжала, тормозя у платформы, электричка.

– Встань-ка здесь, – вдруг сказал Рора, подтолкнул меня к выстроившимся в очередь к билетной кассе школьникам и, развернув к ним лицом, приказал: – Смотри в камеру. Чуть-чуть левее. Отлично. На них не гляди, смотри в камеру. Так, хорошо.

В своей будущей книге я собирался рассказать историю иммигранта, который сбежал от погромов в Кишиневе и мечтал начать новую жизнь в Чикаго, но был застрелен главой чикагской полиции. Мне хотелось погрузиться в атмосферу той эпохи, увидеть, как все там выглядело в 1908 году, как жили иммигранты в то время. Я обожал рыться в архивах, изучать старые газеты, книги, фотографии, мне нравилось выуживать, а затем излагать интересные факты. Признаюсь, я легко мог себе представить иммигрантские мучения: ненавистную работу, мерзкие съемные квартиры, старания выучить язык, освоить стратегию выживания; знакомо мне было и благородное стремление к самосовершенствованию. Мне казалось, я знал тот мир изнутри, знал и понимал, что́ в нем ценится превыше всего. Однако, когда я брался за перо, получалось описание костюмированного парада бумажных марионеток, злоупотребляющих символическими жестами: лились слезы перед

статуей Свободы, летела на жертвенный алтарь Нового Света завшивленная одежда старого мира и жгучие сгустки крови, выхаркиваемые чахоточными. Я сохранял эти опусы, но содрогался от мысли, что придется их перечитывать.



Естественно, я рассказал Мэри про свой замысел еще до того, как принялся за работу. В Боснии считается плохой приметой делиться с женщиной планами на будущее, но уж мне, как всегда, нестерпимо хотелось удивить жену. Мэри, как всегда, отнеслась к моим литературным устремлениям с умеренным энтузиазмом. И все же, будучи трезвой реалисткой, не могла удержаться, чтобы не указать на бросающиеся в глаза изъяны в нарисованном мной портрете Лазаря. Так, мою идею показать, как Лазарь силится "воскреснуть" на новом месте, в Америке, Мэри посчитала избитой. "В особенности если учесть, что тебе самому грех жаловаться, — сказала она мне. — Надо хорошо знать ту эпоху, чтобы суметь передать ее атмосферу. И потом, как ты можешь писать про евреев, если сам не еврей?" Я с легкостью представил себе, как провалится моя книга, а Мэри бросит меня ради коллеги — перспективного анестезиолога, на чьи длинные ресницы она давно заглядывается у операционного стола. Я старался как можно реже думать о проекте "Лазарь", подсознательно опасаясь, что это разрушит наш брак. В результате, чем сильнее я старался забыть о книге, тем чаще о ней думал, тем больше мне хотелось ею заняться. А тут еще на горизонте замаячил грант от Сюзи со всякими интересными потенциальными возможностями.

Вот почему мне позарез нужно было с кем-нибудь обсудить мой проект. Я провел большую часть дня, позируя и выслушивая Рорины истории, и к вечеру молчать у меня уже не было сил. Мы пили кофе в только что открывшемся Старбаксе; от стен пахло свежей ядовитой краской и на редкость отвратительным (так и тянуло сказать "говенным") капучино. Содержание кофеина у меня в крови превышало все допустимые нормы. И я рассказал Роре историю Лазаря Авербаха, историю его короткой жизни и нашумевшей смерти. После того, как Шиппи застрелил Авербаха, волна истерии захлестнула Чикаго. Еще слишком свежа была в памяти жителей бойня на Сенном рынке[1], суд и казнь якобы анархистов, обви-

1. Хеймаркетская бойня — произошедшие в начале мая 1886 г. в Чикаго события, когда в результате столкновений бастующих рабочих с полицией погибли десятки людей. Кто-то из митингующих на площади Хеймаркет (Сенной рынок) бросил в полицейских бомбу, и те открыли огонь по толпе; впоследствии подозреваемые в этом четверо анархистов были повешены. В память о тех событиях 1-е Мая отмечается как День международной солидарности трудящихся.

ненных в организации этой кровавой бойни. Не забыто и убийство президента Маккинли венгерским иммигрантом, объявившим себя анархистом. Американцы помешались на анархизме. Политики на каждом углу склоняли имя Эммы Голдман[1], лидера анархистов, называя ее Красной Эммой, самой опасной женщиной Америки, и обвиняя в убийствах европейских монархов. Патриотически настроенные проповедники вещали о греховных опасностях, приносимых бесконтрольной иммиграцией, клеймили позором посягательства на американскую свободу и христианскую веру. Передовицы критиковали неэффективные законы, позволяющие чуме иностранного анархизма паразитировать на теле американской политики. Война против анархии в начале XX века сильно смахивала на современную войну с терроризмом — поразительно, до чего тяжело расставаться со старыми привычками! Иммиграционное законодательство было изменено, подозреваемые в анархизме — осуждены и высланы из страны. Широкое распространение получили научные труды о свойственных определенным национальным группам дегенеративности и преступных наклонностях. Как-то раз мне попалась карикатура на первой странице одной газеты с изображением разгневанной статуи Свободы, пинающей клетку, полную дебильного вида темнолицых анархистов, кровожадно сжимающих в руках кинжалы и бомбы.

Я не мог определить, слушает ли Рора мои излияния, ведь он не вымолвил ни слова, не задал ни одного вопроса. Однако я не остановился и рассказал ему про некий городок в Индиане под названием Вавака, жители которого стали получать письма одинакового содержания с требованием заплатить 750 долларов, иначе они будут уничтожены. Письма были отправлены из Бруклина и подписаны "Анархисты". Горожане немедленно поднялись с оружием на поиски иностранцев. Но поскольку в самой Ваваке не нашлось ни одного чужеземца, эти самые горожане начали останавливать проезжавшие через Ваваку поезда; как-то раз они поймали парочку несчастных мексиканских сельскохозяйственных мигрантов и успешно их линчевали.

В конце концов Рора вклинился в мой монолог и рассказал про одного нашего соотечественника, которого недавно

1. Эмма Голдман (1869–1940) — анархистка и феминистка по прозвищу Красная Эмма; родилась в Литве, в возрасте 17 лет эмигрировала в США; прославилась выступлениями в защиту приговоренных к смертной казни лидеров Хеймаркетской бойни; впоследствии возглавила анархистское движение. "Самой опасной женщиной Америки" назвал ее президент Эдгар Гувер.

застрелили полицейские в Сан-Франциско. Босниец курил в неположенном месте — на открытой веранде перед Старбаксом — и отказался уйти, пока не выкурит сигарету до конца. Прибыла полиция: под оглушительный вой сирен, в бронезащитных жилетах, со спецщитами. Босниец спокойно и учтиво объяснил им на своем родном языке, что с удовольствием уберется, но только сначала докурит сигарету. Они ничего не поняли, а вызывать переводчика не захотели. Торопясь восстановить закон и порядок — ведь ни тот ни другой, как всегда, не желали ждать, — полицейские прикончили бедолагу на глазах равнодушной толпы пышущих здоровьем любителей гранд латте. Его звали Ишмет; он побывал в сербском концлагере; после войны немного свихнулся; Рора был знаком с его сестрой.

Лазарь прибыл в Чикаго, бежав от кишиневских погромов. Не исключено, что, насмотревшись всяких ужасов, он слегка повредился умом. Может быть, он отправился к Шиппи в приступе злобы? Или хотел что-то ему сообщить? Во время погромов 1903 года Лазарю было четырнадцать. Вспоминал ли он о тех событиях, уже находясь в Чикаго? Может, он чудом уцелел и в Чикаго воскрес? Мучили ли его по ночам кошмары? Не начитался ли он книг, обещавших другую, лучшую жизнь? Я строил гипотезы, перескакивал с предмета на предмет. Рора допивал пятую чашку эспрессо. И вдруг, с бухты-барахты, я предложил отправиться на Максвелл-стрит, чтобы осмотреть места, где жил Лазарь; может, Роре захочется пофотографировать? "А почему бы и нет", — откликнулся Рора. Он быстро принимал решения, особенно не раздумывая.

По пути на Максвелл-стрит мы пересекали высокие мосты, проезжали мимо невразумительных дорожных знаков, миновали мрачные склады, ждущие реконструкции, чтобы превратиться в не менее мрачные лофты[1], висели на хвосте у грузовика газовой компании, пока наконец не добрались до района, где когда-то находилось гетто. Ничто здесь не напоминало о прошлом. Это был район новостроек, утыканный стеклянными высотками, колокольнями приговоренных к сносу церквей и скелетами громадных строительных кранов. Вблизи Максвелл-стрит, где сейчас возвышаются замки денежных мешков, раньше располагался рынок: там при жизни Лазаря попрошайничали нищие, в сточных канавах гнили полуразложившиеся отходы, на улицах яблоку негде было

1. Лофт — переоборудованное под жилье помещение заброшенной фабрики или другого здания промышленного назначения.

упасть от огромного количества людей, а слухи распространялись быстрее, чем эпидемия инфлюэнцы. Здесь рождались и вырастали дети; в одном доме жили по соседству несколько поколений одной семьи. Здесь же они и умирали, часто вопреки законам природы: дети — первыми, старики — последними. Здесь богомольные американские леди, движимые стремлением помочь ближнему, учили иммигрантов английскому, и этот английский в устах переселенцев из Старого Света превращался в нечленораздельную кашу. Здесь на перекрестках умалишенные стояли бок о бок с анархистами и социалистами в ожидании прихода мессии и в один голос предвещали, что счастливое будущее не за горами. И вот оно наступило, это будущее со всеми его недостатками. Мы проехали по Рузвельт-стрит, бывшей 12-й. Как раз тут находился кишащий иммигрантами доходный дом, в одной из квартир которого проживали Лазарь и его сестра. Теперь на этом месте пустые парковки, заваленные мусором, переносные туалетные кабинки и унылые заросли бурьяна. За Ашлендом, вплоть до новехонького здания окружной тюрьмы, тянутся опустевшие, обреченные на снос дома. Только в двух домах еще кто-то живет; во дворе стоят изъеденные ржавчиной колымаги. На востоке утыкается в небо темный силуэт шпиля Сирс-тауэра. Мы, не останавливаясь, проехали по развалинам настоящего, не притрагиваясь к ним, не сняв ни одного кадра, не потрудившись вытащить из чехла камеру.

— Знаешь анекдот про то, как Муйо переехал в Америку, обжился и стал звать Сулейо в гости? — спросил Рора. — Сулейо сомневается, не хочет бросать могилы предков, друзей, привычную жизнь. Муйо не отстает, забрасывает его письмами. "Приезжай, здесь рай земной", — пишет Муйо. Сулейо ему отвечает: "Все это замечательно, но мне больше нравится в Боснии: не нужно все время работать, можно, когда заблагорассудится, выпить кофе, почитать газеты, пойти прогуляться. А в Америке я должен буду работать как проклятый. Нет, мне и здесь хорошо". — "Тебе не придется много работать. Улицы в Америке выстланы деньгами, знай только нагибайся да поднимай", — возражает Муйо. "Ну раз так, то я приеду", — отвечает Сулейо. И вот он приезжает в Америку, Муйо показывает ему свой дом, они едят, пьют кофе, вспоминают прошлое, а затем Сулейо говорит: "Схожу-ка я погуляю, посмотрю на эту твою Америку". Уходит гулять, возвращается. Муйо спрашивает: "Ну как?" Сулейо отвечает: "Да, ты не наврал. Иду я себе по улице, гляжу, валяется сумка с деньгами, по виду — не меньше миллиона долларов..." — "Миллион? — не верит Муйо своим ушам. — Ну и что? Ты ее подоб-

рал?" А Сулейо отвечает: "Да нет, конечно. Уж не думаешь ли ты, что я в первый же день стану работать?!"

Следующая наша остановка — Линкольн-парк, где когда-то жил начальник полиции Шиппи. Это по-прежнему район богачей, только вот дома шефа полиции по старому адресу уже не существует. Как и нет магазина мистера Людвига, и трамвайной линии на Халстед-стрит, по которой Лазарь добирался до Линкольн-парка. Теперь улицы носят имена мало кем здесь читаемых немецких поэтов; пожилые дамы со взбитыми остатками волос выгуливают четвероногих любимцев; поджарые блондинки бегают трусцой в погоне за физиологическим счастьем. Не осталось ничего, что хоть как-то было бы связано с историей Лазаря, ровным счетом ничего, так что фотографировать Роре не пришлось. Исчезло столько всего, что трудно сообразить, чего именно не хватает. Девчонки в небесно-голубых и ярко-желтых майках играли в футбол на школьном поле. Мы запарковали машину и стали наблюдать за игрой.

— Тебе надо поехать на родину Лазаря, — сказал Рора. — Посмотреть, где все это начиналось. А как закончилось, ты знаешь.

Самая высокая футболистка в голубой майке подпрыгнула и головой забила гол. Подруги по команде окружили ее плотным кольцом, а затем рассыпались по всему полю, вернувшись на свои первоначальные позиции. "Скорее всего, она надолго запомнит гол, забитый ею в этот холодный день, — подумал я. — И сохранит в памяти звонкие имена подружек по команде: всех этих Дженифер, Джен, Глорий и Зоий. Но обязательно имя какой-нибудь одной она не сможет вспомнить и двадцать лет спустя начнет названивать Дженифер, Джен, Глории и Зои и спрашивать, как звали ту милую тщедушную девчонку с костлявыми коленками и кошмарными скобками на зубах, что играла крайним защитником. Никто не помнит: Джен кажется, что ее звали Кенди, Зои тоже так думает, но Дженифер и Глория категорически не согласны. Время от времени ей будут попадаться на улице женщины, чем-то схожие с гипотетической Кенди. Она никогда не решится заговорить с тощей незнакомкой и больше ее не увидит, не вспомнит ее настоящее имя, но и забыть Кенди тоже не сможет".

Рора прав: мне необходимо проследить путь Лазаря в Америку, начиная с погромов в Кишиневе. Включив воображение, воскресить то, что я не могу увидеть воочию и вместе с тем посмотреть на то, чего не могу представить. Вырваться из замкнутого круга чикагской жизни и провести некоторое вре-

мя на диких просторах, в неведомых краях. Но, боюсь, такой метод работы над книгой идет вразрез с планами Мэри, да и моими собственными, независимо от того, получу я грант от Сюзи или нет. Начнем с того, что Мэри будет крайне недовольна, если я уеду. В последние месяцы она несколько раз заводила разговор о том, что неплохо было бы нам, а ей — в особенности, съездить в отпуск. За ужином мы неоднократно обговаривали наиболее подходящие сроки, но пока дальше обсуждений дело не шло. Кроме того, мне категорически не хотелось в который уже раз просить у жены денег, унижаться, объясняя, что нет, я не стал заложником своих планов, надежд и мечтаний. Я наконец-то понял, что загнал себя в угол, рассчитывая на грант. С чего я вдруг решил, что все упирается в получение этих денег?! С чего вдруг решил, что их получу? Да проведи я хоть тысячу бессонных ночей, переписывая заявку, все равно успех не гарантирован! Много раз я звонил в приемную фонда (а не Сюзи напрямую, как сначала планировал) уточнить, когда будут распределяться гранты, и лишний раз убеждался, что мои шансы на успех тают на глазах.

Откровенничать с Ророй я не стал, сказал только, что сейчас неподходящий момент. Путешествие слишком дорого обойдется; хотелось бы взять с собой Мэри, но она не может отпроситься с работы и т. д. "Я считаю, что пока рано, — сказал я. — У меня еще навалом работы в архивах, надо прочесть кучу книг про Лазаря и анархистов, изучить широкую палитру американских предрассудков и страхов. Если ехать, то года через два, через три; меня же никто не подгоняет. Мир вряд ли изменится оттого, выйдет моя книга или нет". Рора со мной не спорил. Я вез его домой. Многоэтажные дома на Лейк-драйв отбрасывали длинные мрачные тени на прибрежные волны; Рора не проронил ни слова.

Его молчание было особого рода: оно не давило на тебя, не призывало к ответу. Я представил себе, что он точно так же безмолвно ждет, когда на опущенной в фиксаж фотобумаге появится изображение. И понял, что мне нравится это молчание, как нравились и его истории, и его манера говорить. А сейчас оно невероятным образом обострило память, и я вдруг вспомнил: мы с Ророй в детском саду; оседлали подушки, наших резвых коней; мы — индейцы, за нами гонятся ковбои, мы скачем что есть мочи на запад. Другие дети спят, изогнувшись в немыслимых позах, с полуоткрытыми ротиками, сущие ангелочки. А мы пришпориваем своих диких мустангов и летим к нарисованному на двери спальни закату, пока за этой дверью наши беспечные воспитатели присели покурить, выпить кофе и поболтать.

В жизни случаются моменты, когда все переворачивается с ног на голову: реальные вещи становятся нереальными, а те, в свою очередь, — осязаемыми, отчего все наши трезвые попытки управлять своей судьбой оказываются не более чем пустой тратой времени. Вообразите, что Кенди стоит у вашей двери и совершенно не похожа на ту девушку, которую вы помните. Ее злит, что вы ее не узнаете, хотя, по слухам, наводили о ней справки. Вы гадаете, откуда она взялась?! Жуть какая-то! Вы понятия не имеете, кто эта девушка, хотя она вам до боли знакома. Ее появление у вас на пороге необъяснимо, поскольку оно результат цепочки случайных событий и логики тут нет. У меня не было никаких оснований думать, что в далеком детстве наши с Ророй пути пересекались; скорее всего, мне вспомнился какой-то сон. Но как бы то ни было, в моем сознании этот якобы имевший место эпизод неразрывно нас связал. Я понял, что не только должен придумать, как побыстрее отправиться в Кишинев, но еще непременно должен захватить с собой Рору. Я подумал, что, если поеду один, никогда больше Рору не увижу, а мне необходимо его общество, его молчание, его рассказы, его острый глаз фотографа.

Всю ночь я ворочался и крутился в кровати от мучивших меня раздумий и снов; много раз проигрывал в голове сценарий продуманного до последней мелочи обеда с Сюзи, время от времени просыпаясь и прислушиваясь к дыханию Мэри. В один из таких моментов она положила мне руку на грудь и спросила, все ли в порядке. Я сказал, что да. Ее рука так и осталась лежать у меня на груди, отчего мне было тяжело дышать, но столкнуть ее я не рискнул. Ишмет, Лазарь, Рора, утки, мечети, Иисус, Сюзи, бегун с лимоном во рту, Шиппи, Буш, сумасшедший с наклейкой "В единстве — сила" на лбу — все смешалось в моем разгоряченном воображении. На рассвете я приступил к репетиции окончательного варианта обращенной к Сюзи речи. В конце концов я решил не проверять на ней силу своего обаяния, а просто рассказать все без утайки: что мне позарез нужны деньги (я судорожно подсчитывал расходы на остро необходимую поездку в Кишинев и последующую работу над книгой) и что я буду по гроб жизни благодарен ей за поддержку. Жене про Сюзин грант я пока не говорил, не хотел, чтобы она узнала про мое фиаско раньше времени. Но перед тем как снова заснуть, постановил, что все ей расскажу и таким образом повышу шансы на получение гранта.

За завтраком я завел разговор о том, что хочу поехать в Восточную Европу, чтобы определиться с книгой о Лазаре, разобраться, как лучше ее написать, но тут Мэри вызвали в

больницу на срочную операцию — удалить кому-то пулю из мозга. Она уехала, а я остался сидеть в гостиной в полной прострации, с клочком бумаги, на котором был записан номер телефона Шутлеров, в руке, пока наконец не сделал глубокий вдох, набрал этот номер и затем с закрытыми глазами слушал длинные гудки. На звонок ответил Билл; пришлось несколько раз (право, до чего же унизительно!) повторить свое имя, прежде чем он смог его разобрать. После этого я представился и попросил к телефону Сюзи, но ее не оказалось дома, она пошла в клуб книголюбов и вернется во второй половине дня. Я сказал, что позвоню позже, и уже собирался повесить трубку, как вдруг он вскрикнул: "Брик! Точно! Ведь вы Владимир Брик! Мы только вчера про вас говорили на собрании директоров фонда..." Из дальнейших его слов я узнал, что комиссия единогласно проголосовала за выделение мне гранта и что на днях мне позвонят и сообщат все детали. От избытка чувств я признался ему в любви, но, к счастью, он пропустил мои слова мимо ушей.

Закончив разговор, я опустился на пол и долго вытирал потные ладони о пижамные штаны. Меня вдруг пронзила мысль, что обратного пути нет и теперь мне уже не отвертеться от написания книги. Я никак не мог сосредоточиться и решить, что делать дальше. Рядом никого не было, и от этого становилось только страшнее. Я сидел и ждал, пока развеется окутавшая меня черная пелена страха, чтобы можно было позвонить Мэри и поделиться хорошей новостью. Но вместо этого, не раздумывая, набрал номер Роры и сообщил ему, что, скорее всего, поеду на Украину и в Молдавию, чтобы раздобыть материал для книги о Лазаре. Что я получил грант для своего проекта и могу эти деньги использовать для поездки. Что был бы неимоверно счастлив, если бы Рора ко мне присоединился. Что готов оплатить ему дорожные расходы. Он сможет фотографировать. И если он не против, то, закончив книгу, я помещу в нее его снимки. А потом добавил, к собственному удивлению, что заодно мы могли бы заехать в Сараево, поглядеть, что делается на родине.

— А почему бы и нет, — ответил Рора. — Я сейчас совершенно свободен.

МЕЖДУ ТЕМ ЛУЧШИЕ ДЕТЕКТИВЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД началом Шутлера, Фицджеральд и Фицпатрик — известные всему городу как Фицы, — прочесывают прилегающий к дому начальника полиции район. Довольно быстро они выясняют, что *чужеземного вида* молодой человек вбежал в офис риэлтерской компании "Братья Николас", расположенный не-

подалеку от Линкольн-плейс, и стал расспрашивать клерка о том, что произошло в доме Шиппи и был ли опознан нападающий. По словам клерка, этот *чужеземного вида субъект* был пяти футов и восьми дюймов росту и примерно 145 фунтов весу, приблизительно двадцати трех лет от роду. Лоб — плоский, волосы — какие-то необычные; одет в черный плащ из разряда тех, что носят анархисты. *Вне всякого сомнения*, иностранец.



Во второй половине дня *убийца* был опознан Грегором Хеллером; они вместе работали укладчиками яиц в компании "Саус уотер коммишн хауз", принадлежащей мистеру Эйхгрину, перекупщику. Хеллер заметил отсутствие сослуживца, а когда услышал про ужасное преступление, то сразу же побежал в полицию. На опознании он без малейших колебаний заявляет, что перед ним Лазарь Авербах. Хеллер также может указать адрес, по которому проживал покойный: Уошборн-авеню, 218, квартира на втором этаже. Хотя никакого вознаграждения за эту информацию не предусмотрено, первый помощник главы полиции заверяет Хеллера, что тот может рассчитывать на пару-тройку долларов от самого шефа за помощь при "обезглавливании этой гадюки". Хеллер отправляется домой и по дороге строит планы, как потратить деньги: пожалуй, надо купить шарфик Мэри, а себе — носки.

Фицы в сопровождении Уильяма П. Миллера (тот получил эксклюзивное право на освещение расследования) врываются в квартиру на втором этаже дома номер 218 по Уошборн-авеню и хватают курчавого иностранца; он тотчас называет свое имя: Исаак Любель. Но Фицам этого мало, и Фицджеральд принимается за *допрос с пристрастием*: швыряет схваченного на пол, бьет его кулаком в лицо, бьет с размаху коленом по почкам и при этом зверски на него орет, пугая до смерти жену и детей Любеля. В результате женщина **бьется в истерике, а дети захлебываются в крике** (как написал впоследствии Уильям П. Морган). В промежутках между ударами и пинками, брызгая кровью из разбитого рта, Любель успевает сообщить, что Авербахи живут напротив.

Фицпатрик рывком открывает дверь соседней квартиры и видит окаменевшую от испуга женщину: она накрывала на стол и так и замерла — в каждой руке по тарелке, будто собиралась ими жонглировать. Представляется: Ольга Авербах.

— Кем вам приходится Лазарь Авербах? — спрашивает Фицпатрик.

— Он мой брат, — отвечает она дрожащим голосом. Из левой руки выскальзывает тарелка и разбивается. — А что он делать?

Фицпатрик молчит, цыкая зубом. Через открытую дверь Ольге виден скорчившийся на полу Любель; по шее у него течет тоненькая струйка крови. Фицджеральд трясет головой, словно давая понять, что объяснять слишком долго. Она повторяет:

— Что он делать?

— Не стоит волноваться, — говорит Фицджеральд. — Мы во всем разберемся.

В квартире есть только **самое необходимое:** на кухне **плита, в которой еле теплится огонь, и маленький кухонный шкафчик, а в нем одна-единственная чашка, кастрюля и крохотная изящная вазочка.** На столе — холодные остатки какого-то мясного блюда, черствый ржаной хлеб и кофейник, из которого Фицджеральд отпивает глоток и тут же выплевывает. Фицпатрик швыряет вазочку на пол. В спальне небольшой столик, покрытый **дешевой** сиреневой скатеркой, два **простых** стула, кровать и узкая раскладушка, швейная машинка, **явно на ходу,** зеркало и умывальник, а также платяной шкаф; от одежды, что в нем висит, пахнет нафталином и дымом. **Вероятно, единственная нарядная вещь, какая была у Ольги Авербах,** — напишет впоследствии Уильям П. Миллер, — это старая безвкусная фиолетовая бархатная юбка.

Сыщики обыскивают квартиру **с усердием солдат, воюющих за правое дело.** Не выпуская тарелки из рук, Ольга отрешенно наблюдает за их действиями. Они вытаскивают вещи из-под кровати: книги, свертки лоскутков и фибровый чемодан. Из чемодана вываливается рукопись и связка писем на русском языке, они их конфискуют. Листают страницы **бунтарских книг**; Фицпатрик читает вслух названия: **"История плохого короля", "В стране свободы", "Как спасти свою душу и тело", "Чему учит нас конституция"** и т. д.

— Ни разу не встречал жида, умеющего читать по-английски, — говорит Фицджеральд.

Все конфискованные книги Фицы грузят в машину, туда же заталкивают Ольгу, и Фицджеральд везет ее в полицейское управление, а Фицпатрик и Миллер не спеша идут на остановку и садятся в трамвай. По дороге они обсуждают бейсбольный матч и рассматривают пассажиров. Миллер осыпает Фицпатрика комплиментами, надеясь, что знакомство может оказаться полезным. К тому времени, когда они прибывают в управление, допрос Ольги идет полным ходом: допрашивает помощник начальника полиции Шутлер, а Фицджеральд, засучив рукава и не выпуская изо рта сигареты, ему помогает. Ольга часто кашляет, деликатно прикрывая рот ладонью.

— Нам все известно, — говорит ей Шутлер, — так что советую ничего не скрывать.

Ольга просит разрешить ей поговорить с братом, и Шутлер обещает, что она увидится с ним, но попозже:

– Надо во всем разобраться. Это в наших общих интересах.

Ольга уверена, что произошла какая-то ужасная ошибка, и, если она будет отвечать на вопросы правдиво, все прояснится. У Фицджеральда ужасно волосатые руки, даже на пальцах растут волосы; впечатление такое, будто он их расчесывает щеткой.

Шутлер дает Ольге выговориться – ему нравятся разговорчивые подозреваемые, – лишь иногда осторожно прерывает ее каким-нибудь наводящим вопросом. Миллер записывает каждое слово, сгорбившись в углу, не выпуская изо рта утреннюю еще сигару: "Отличный материал!"

**Она заявляет, что Лазарь хороший мальчик, никогда никому не делал ничего худого.**

**Она знает четыре языка, а Лазарь еще два в придачу, французский и польский. Он изучает английский на вечерних занятиях в школе на пересечении 12-й и Джефферсон-стрит.**

**Английский, идиш, немецкий, русский.**

**Он никогда не упоминал имя начальника полиции Шиппи в ее присутствии. Она ни разу не слышала, чтобы он говорил об анархизме.**

**У многих их друзей курчавые волосы.**

**Их отец был лавочником в Кишиневе. Она настаивает, что он не был революционером и не состоял ни в каких тайных обществах. Он был очень религиозен.**

**Они выжили в погроме на Пасху 1903 года.**

**Другой случился в 1905-м.**

**Она убеждена, что будет еще много погромов. *Там* вошло в привычку убивать евреев.**

**Они были единственной еврейской семьей в своем районе. Соседи окружили их дом с криками: "Бей жидов!" Потом стали ломиться в ворота и бросать камни в окна. Среди них были полицейские. Они их избили, сломали папе ребра. Он тогда чуть не умер. Умер некоторое время спустя.**

Шутлер смотрит на Миллера, тот в свою очередь смотрит на Фицджеральда, а тот – на Фицпатрика.

– Полицейские, – бормочет Шутлер. Ольга не сводит глаз со своих трясущихся рук.

**Горькие слезы текут по щекам еврейки**, – записывает Уильям П. Миллер и дважды подчеркивает слова **"горькие слезы"**.

– Отведите ее к брату, – приказывает Шутлер.

Фицы уводят Ольгу в морг Бентли. Миллер с фотографом "Трибюн" Хаммондом, которого он срочно вызвал, спешат за ними следом. Все вместе они идут по улице, Ольга бредет между Фицами, поминутно спрашивая:

— Где он? Куда мы идти?

— Он в хорошем месте, лучше не бывает, — говорит Фицпатрик, а Фицджеральд фыркает от смеха.

Стены в мрачных комнатах морга увешаны соответствующими обстановке картинами: молящаяся над трупом сына мать; семья из четырех человек за обеденным столом, пятый стул пустует; темный лес в час заката. Новость уже облетела город, и сотни зевак успели прийти посмотреть на тело Лазаря. Многие не уходят: простые граждане, не снимающие шапок, безработные оборванцы и напомаженные дамочки, рыдающие богомолки, пожарники, закончившие работу, и почтальоны с сумками, набитыми не доставленными адресатам письмами, полицейские всех рангов (кое-кто со злостью пинал и плевал на труп). Несколько человек подкупили Джорджи, хромого смотрителя морга, чтобы поглядеть на член еврея; одну сумасшедшую силой увели, после того как она заявила, что труп открыл глаза и на нее посмотрел. Теперь зеваки, сгорая от любопытства, выстроились вдоль стен длинного вестибюля в надежде увидеть, как себя поведет сестра убийцы. Ничего этого не замечая, Ольга медленно и бесшумно идет между двумя детективами; мокрое от пота платье не шуршит при ходьбе. Только когда перед ней открывается дверь в комнату, Ольга вздрагивает и пятится назад. Какие-то мужчины окружили сидящего на стуле брата. Какое счастье — он жив! Она вздыхает и хватает Фицпатрика за локоть. Почему один из мужчин поддерживает Лазарю голову? Глаза у брата закрыты, лицо пепельно-серое; у Ольги сердце обрывается от леденящего ужаса. Фицджеральд подталкивает ее вперед; Фицпатрик, явно работая на публику, говорит:

— Рада видеть братишку? Ну, давай, давай, поцелуй его...

Толпа зевак хихикает, уставившись на Ольгу. Она идет к Лазарю; движения ее скованы, будто на ней неудобные туфли на высоченных каблуках: несмелый шажок назад, затем два неуверенных шага вперед; дотронувшись до безжизненной щеки брата, Ольга замертво падает на пол. Собравшиеся шумно вздыхают.

Фицы относят Ольгу к двери, выходящей в переулок, расстегивают верхние пуговицы на платье, чтобы холодный воздух привел ее в чувство. Детективы курят, пока Миллер наблюдает за реакцией Ольги, а заодно и за ее оголенной грудью.

— Да уж, голубушка, такой вот сюрприз, — говорит Фицпатрик. С порога до них доносится шипение фотовспышки.

Главная сенсация в "Трибюн" от 3 марта — статья Уильяма П. Миллера. **Вчерашнее ужасное преступление,** — пишет он, —

**было задумано и осуществлено мечтательным еврейским мальчиком под влиянием бунтарских идей, призывающих к борьбе с так называемой социальной несправедливостью и за улучшение социальных условий, активно пропагандируемых Эммой Голдман и другими идеологами "либерализма" в Америке. Тот факт, что неделю назад Лазарь Авербах заодно с другим еврейским юношей замышляли совершить самоубийство, подтверждает, что он едва ли отдавал отчет в своих поступках. Про второго известно только, что у него курчавые волосы; его подозревают в соучастии в попытке покушения на жизнь главы полиции Шиппи. Полиция отказывается назвать его имя, но из близких к расследованию источников нашей газете стало известно, что это некий Исидор Марон.**

И в самом деле, полиция перевернула весь город в поисках "курчавого" молодого человека.

Бруно Шульц, бармен в салуне Шнелла, Линкольн-авеню, 222, сообщает, что за последние три недели убийца довольно часто заходил в их заведение, неоднократно — в обществе человека с копной курчавых волос.

В прошлую субботу ближе к вечеру несколько мужчин — по виду русские евреи, один из них курчавый — посетили магазин спортивных товаров "Фон Ленгерке и Антуан" по адресу Уобаш-авеню, 277. Как заявил полиции Фон Ленгерке, они хотели купить револьверы, но поскольку сильно смахивали на анархистов, их отказались обслуживать, и они ушли в крайнем раздражении, не солоно хлебавши.

Еще один курчавый был арестован в доме номер 573 по 12-й улице, в двух кварталах от дома Авербахов. Подозреваемый назвался Эдвардом Капланом. Его соседи рассказали полиции, что он весь день провел у себя в квартире и был весь на нервах, явно чего-то ожидая. Арестовали его после того, как сыщики подслушали телефонный разговор. Звонивший сказал Каплану: "Все накрылось. Уматывай из города".

Джозефа Фридмана (кстати, лысоватого) по требованию нескольких патриотически настроенных граждан арестовали прямо в трамвае за анархические речи. Волею судьбы, в этом же трамвае ехал полицейский, которому удалось спасти Фридмана от линчевания разъяренной толпой.

Гарри Голдстайн был арестован в гетто по наводке общества "Белая рука", объединившего в своих рядах американских патриотов для борьбы с анархизмом. Дж. Дж. Ревизано, адвокат вышеуказанного общества, передал помощнику Шутлеру составленный членами организации полный список чикагских анархистов.

Антона Стэдлуелсера (жидкие светлые волосы) арестовали дома. У него изъяли заряженный револьвер, 136 долла-

ров, серебряные часы, сорок двухцентовых и двадцать одноцентовых почтовых марок, чучело попугая, небольшую банку с заспиртованной ящерицей, стодолларовую купюру Конфедерации[1] и четыре колумбийских полудоллара 1902 года. Объяснить происхождение этих вещей Стэдлуелсер не смог, а потому был задержан на неопределенный срок по разного рода подозрениям.

К розыску обладателя пышной курчавой шевелюры Исидора Марона подключились и Фицы. По слухам, Марон рыскал вокруг дома Авербахов, **по всей видимости, не подозревая о трагическом конце своего товарища-анархиста**. Детективы выбивают из Исаака Любеля еще одно признание. "Да, — выплевывает тот слова вперемешку со сгустками крови, — я видел, как Марон стучал в дверь Ольги Авербах, но это было довольно давно". Фицы беседуют с нищими на Максвелл-стрит, с проститутками и ворами, с нарушителями порядка и болтунами. Своим осведомителям в гетто они сообщают, что Марон не только опасный анархист, но еще и гомосексуалист, и что за информацию о нем они готовы заплатить 30 долларов. Они наведываются к Ольге на работу (она — швея в мастерской Голдблата и не может позволить себе пропустить ни одного дня) и громко, чтобы всем было слышно, говорят, что, если Марон придет к ней домой, она должна немедленно им об этом сообщить. "До того, как вы начнете обжиматься или трахаться", — уточняет Фицпатрик. После их ухода мистер Голдблат вызывает Ольгу к себе в кабинет, дает ей денег и советует пересидеть какое-то время дома, пока не утихнут страсти. "Рано или поздно все наладится", — говорит он.

Ольга плетется домой под ледяным дождем; она ослабела от голода, еле передвигает ноги; ее не покидает ощущение, что мир вывернулся наизнанку. Почему Лазарь отправился к Шиппи? Это Исидор таскал его по митингам анархистов, но она всегда думала, что дальше пылких речей дело там не шло: молодежь любит вести крамольные разговоры. Не мог ее брат участвовать в каком-то безумном заговоре. Он всегда любил пофантазировать, всегда был не от мира сего, но не больше того — он был просто мечтатель. Делился с ней своими идеями, мыслями, страхами, сюжетами рассказов, которые хотел бы написать, но она слушала его вполуха — слишком уставала. В нем не было ни злобы, ни жестокости. Он никогда бы и мухи не обидел. В детстве по вечерам ее часто посылали

1. Конфедеративные Штаты Америки в период с 9 марта 1861 г. по 17 февраля 1864 г. выпустили в общей сложности семь видов валюты.

его искать; она кричала ему, пока он не отзывался из кустов или из переулка, где сидел и ее дожидался — Лазарь плохо видел в сумерках. Он был совсем еще ребенком, когда она уехала; его детство прошло в лагере беженцев в Черновицах; в Чикаго он приехал уже юношей. Как она могла это все пропустить? Когда она его потеряла? Почему он стал тем, кем стал? Кто он был на самом деле?



**Несмотря на обнадеживающие результаты расследования, нужно признаться, что мы еще не научились до конца распознавать зло, с которым необходимо бороться,** — доверительно сообщает помощник начальника полиции Шутлер Уильяму П. Миллеру. — **Практически невозможно отличить анархистов от обычных граждан. Впрочем, известно, что в большинстве своем это иностранцы с неустойчивой психикой и явными признаками дегенеративности. Чтобы предотвратить будущие преступления, мы обязаны за ними следить и изучать их повадки с момента пересечения ими границы.**

Пока что полиции похвастаться особенно нечем: записка с загадочными цифрами 21—21—21—63 оказалась чеком от покупки трех дюжин яиц, по двадцать одному центу за дюжину, из магазина компании "Саус уотер коммишн хауз". Пять фраз, которые Шутлер принял за шифрованные инструкции, были всего-навсего упражнением из учебника английского языка, по которому занимались в бесплатной школе обитатели доходных домов на Максвелл-стрит. Да и преподаватель этой школы, мистер Брик, характеризует Лазаря Авербаха как **добросовестного прилежного ученика, обладающего приятным нравом.** Осведомители, вращающиеся в широких кругах анархистов, социалистов и членов иных антипатриотических обществ, не располагают компрометирующими материалами на Авербаха и Марона: хоть те и посещали разные сборища и публичные лекции и увлекались вредными и упаднническими идеями, но взносов никаких не платили, с подстрекательскими речами не выступали, в связях с фанатиками, возглавляющими своры конспираторов, замечены не были. Очевидно, что их неудавшийся заговор имел отлично замаскированные, на редкость разветвленные, возможно даже международные корни.

Помощник начальника полиции Шутлер трудится без устали, ведь на карту поставлена судьба самой идеи свободы. При помощи переводчика он погружается в изучение рукописей, принадлежащих Авербаху. Он обнаруживает, что в бумагах — а это десятки, если не сотни страниц, исписанных торопливым, неразборчивым почерком — излагаются кровавые

события одной семейной трагедии, случившейся в Кишиневе. Повествование ведется от первого лица; история начинается с рассказа о бедных, но счастливых молодоженах: на подоконниках благоухают горшки с цветами, на столе — тарелки с горячей кашей; молодые люди веселятся на ярмарке, по вечерам прогуливаются по берегу реки, наблюдая, как голодные карпы то тут, то там высовывают из воды голову. Но однажды все рушится: герой рассказа, вернувшись домой, застает красавицу-жену в постели с молодым богатым доктором. Они умоляют его о пощаде, но он достает пистолет и безжалостно убивает обоих. Скрываясь от правосудия, преступник пересекает государственные границы, под вымышленными именами перебирается из одной страны в другую, пока, наконец, не садится на пароход, отправляющийся в Северную Америку. На этом записи обрываются, дальнейшая судьба героя неизвестна... По мнению Шутлера, этот рассказ напрямую указывает на факт двойного преступления, совершенного в России, а также свидетельствует о наличии у Авербаха жестоких и преступных наклонностей, что и предопределило его криминальную анархическую деятельность в Чикаго.

Большинство обнаруженных у Авербаха писем написаны его матерью. У нее ровный невыразительный почерк; строки расположены далеко одна от другой, пестрящие пробелами письма обладают странной притягательной силой. "Я смотрю на твои фотографии, сынок, и вспоминаю, какой ты был веселый в детстве. Не отчаивайся, — пишет она. — Будь сильным, не бойся тяжелой работы. Помни, мы все время думаем о вас с Ольгой". Из материнских писем нетрудно понять, что Лазарь не раз неодобрительно высказывался об Америке. Похоже, он находил условия жизни в Чикаго ничуть не лучшими, чем в России, и считал, что его надежды не оправдались. По мнению Шутлера, его разочарование и злобная ненависть столь ощутимы, что, кажется, их можно потрогать руками.

И снова Шутлер посылает Фицев за Ольгой Авербах. Уильям П. Миллер присутствует на процедуре опознания, наблюдает, как Ольге показывают арестованных. Ольга не перестает рыдать, опустив голову; Шутлер требует, чтобы она смотрела на подозреваемых; вытереть слезы носовым платком он ей не позволяет, как и не разрешает привести в порядок растрепавшиеся волосы. Она никого не узнает, но под нажимом Фицджеральда — Фицпатрик тем временем, крепко сжав ее заломленные за спину руки, толкает Ольгу вперед — говорит, что лицо Стэдлуелсера ей кажется знакомым. Его уводят; он протестует, кричит, что невиновен, но — тщетно.

Ольге разрешают сесть. Шутлер, положив руку ей на плечо и слегка сдавив его пальцами, вполголоса сообщает, что, как было установлено, письма матери к Лазарю содержат тайные послания и что между строк найдены следы невидимых чернил.

— Лазарь — хороший мальчик, — слабо возражает Ольга.

— Нам все известно, — шепчет ей на ухо помощник Шутлер; его дыхание щекочет ей шею, она съеживается от страха. — От нас ничего не скроешь.

Тут он надолго замолкает, словно давая возможность Ольге осознать серьезность ситуации, а затем жестко и решительно требует признаться, что брат убил в Кишиневе свою жену и молодого доктора, после чего бежал от правосудия в Америку.

— Но ведь Лазарю только девятнадцать лет, — всхлипывает Ольга. — Он никогда не был женат. И женщины у него никогда не было.

Шутлер кружит вокруг нее как ястреб, безжалостно требуя признания, а Ольга продолжает твердить: "Лазарь — хороший мальчик" — до тех пор пока не сползает со стула и лежит на полу как мертвая. Уильям П. Миллер склоняется над ней и щупает ей пульс, а затем отбрасывает прядь волос с ее лица, словно желая получше рассмотреть. **Она по-своему красива. Семитской красотой.**

Перед тем как отпустить, помощник начальника полиции информирует Ольгу, что по решению властей, во избежание возможных анархистских бесчинств и дабы не привлекать внимания, Лазарь будет зарыт на кладбище для бедняков и бродяг. Ольга слушает его с горестным недоумением; умоляет разрешить ей похоронить брата как того требуют еврейские традиции; Шутлер, положив тяжелую руку Ольге на колено, отвечает, что целых сорок владельцев еврейских похоронных домов отказались иметь с ней дело и не нашлось ни одного раввина, готового проводить убийцу в последний путь.

— Вы лжете, — плачет она. — Это неправда.

— Сейчас не время, — великодушно-отеческим голосом продолжает он, — сомневаться в доброжелательности властей и уж тем более — заботиться только о своих интересах.

Она должна искупить преступление брата во имя блага своих единоверцев. Кому нужен лишний шум?! Да и жители Чикаго, вне всякого сомнения, оценят проявленное ею уважение к закону и порядку.

— Подумайте о других, об их искалеченных судьбах, — заключает Шутлер. — Представьте, что́ они чувствуют. Пришла пора принести себя в жертву.

НЕ В МОЕЙ НАТУРЕ ВЫБИРАТЬ САМУЮ КОРОТКУЮ дорогу: первой нашей остановкой на Украине должен был стать Львов. Лазарь, почти наверняка, здесь никогда не бывал; зато мой дед по отцовской линии родился в деревушке Кроткая, где-то неподалеку; я запомнил его рассказы про поездки в детстве во Львов, и мне захотелось провести там несколько дней. Затем мы планировали взять такси и отправиться на юг, в Черновцы, где Лазарь жил в лагере беженцев после погромов, а по пути заглянуть в Кроткую. Сюзиным грантом я мог распоряжаться по своему усмотрению, выбирая любые маршруты; от меня требовалось только представить документы о расходах. Что касается Роры, то ему было абсолютно все равно, куда ехать и что делать. Будь его воля, мы вообще могли бы путешествовать бесконечно. Я, уже в который раз, ему позавидовал.

В самолете мы сидели рядом с компанией молодых непорочных (как мы сразу же определили) дев: из их разговоров стало понятно, что они были членами какого-то христианского общества. Где-то на Востоке их ждали миссионерская работа и потеря девственности, сопровождающаяся угрызениями совести. Полдороги из Чикаго во Франкфурт они распевали гимны про Иисуса и загробную жизнь, хлопали в ладоши и регулярно заключали друг дружку в объятия. Рора пожирал их глазами, а я, по привычке, возненавидел. В самолете также летели американские солдаты, скорее всего, на одну из военных баз в Германии, а оттуда дальше, в Ирак: короткая стрижка, аккуратные усы, грозно насупленные брови, могучие шеи. Они поглядывали на девственниц, наслаждаясь последними часами мирной жизни, перед тем как вновь погрузиться в трясину суровых будней с вынужденной мастурбацией, приятной возможностью в любую минуту нажать на курок и немалой вероятностью перебраться в мир иной не целиком, а по кускам. Рора сфотографировал, как они, все до одного, спят, накрывшись с головой пледами. На мой взгляд, они смахивали на привидения; Роре же напоминали заложников.

После того как девственницы, наконец, угомонились, а кое-кто из солдат, высунув нос из-под пледов, принялся хлестать пиво, Рора монотонным шепотом стал мне рассказывать, как попал под начало Рэмбо. В те времена он еще верил в возможность мирного сосуществования населяющих Боснию народов, обожал Сараево и хотел защитить его от четников. Он запросто мог уехать в Милан или Стокгольм, да куда угодно, но вместо этого пошел добровольцем в отряд Рэмбо: в начале войны не существовало еще боснийской национальной армии, так что на защиту родины поднялись те, у кого бы-

ло оружие. Рора давно знал Рэмбо и Бено. Прежде чем вступить в борьбу с сербскими захватчиками и проливать кровь на полях сражений, они решили поживиться чужим добром в городе, из которого испарились за одну ночь закон и порядок. Рэмбо называл это реквизицией, но это были чистой воды грабеж и разбой. "Я могу иногда что-то свистнуть, но как порядочный человек соседей не обворовываю", – заметил Рора. Он рассказывал мне про первые недели войны, про убийства и загадочные исчезновения людей; в его горьком рассказе проскальзывали имена наших общих знакомых: Аид погиб от пули четника, Лазо схватили по приказу Цацо[1] и перерезали ему горло, Мирсаду вышибло мозги шрапнелью... Но, к моему глубочайшему стыду, я уснул. Как ни старался держаться, даже больно щипал себя под пледом, ничего не помогало – глаза сами закрылись. Мне привиделось, что я сплю и одновременно бодрствую: в моем сне голые солдаты и девственницы покупали продукты в супермаркете, хором распевая детские песенки про Христа; их сменили Аид, Лазо, Мирсад и еще какие-то, неизвестные мне люди, скандирующие по-английски: "Хойди-хоть, хайди-хать, не хотим умирать..."

Весь полет из Германии на Украину я тоже проспал и по-настоящему очухался только во Львове, выйдя из аэропорта, когда боковое зеркало проезжающего мимо грузовика шарахнуло меня по голове – я, получается, стоял слишком близко к обочине. "Доброе утро, господин писатель!" – приветствовала меня родина предков. Рора потрогал мою щеку, осмотрел место ушиба и покачал головой. Я так и не понял: то ли мне посочувствовал, то ли посмеялся в душе, что я такой растяпа.

Мы взяли такси и отправились в третьеразрядную гостиницу с громким названием "Гранд-Отель". На своем допотопном украинском я смог кое-как, заглядывая в словарик, договориться с водителем о цене. Автомобиль оказался старой "волгой", от него за версту несло дизельным топливом и прежними, еще советскими, временами. Мы долго кружили по городу; казалось, некоторые улицы проезжали по нескольку раз – никогда не поверю, что во Львове есть три казино с одинаковыми вывесками! У водителя была квадратная голова и небритая шея, а остатки полуседых волос были зачесаны по кругу на лысину, отчего затылок напоминал изображение тропического урагана, сфотографированного из космоса. Жаль, что Рора его не снял – в машине было слишком темно. Рора, оказывается, решил, не посоветовавшись со мной, ос-

1. Сараевский криминальный авторитет Мушан "Цацо" Топалович, совершивший немало военных и общеуголовных преступлений.

тавить вспышку дома. "Вспышка нужна только на похоронах и на свадьбах, — заявил он. — Что надо, я и так сниму".



Летом 1991 года, незадолго до отъезда в Америку, я жил на улице Ковачи, в верхней части Башчаршии. Все ожидали прихода войны в Сараево; почти каждую ночь я просыпался от грохота и рева моторов. Садился на кровати, уверенный, что сербские танки уже рядом; сердце бешено колотилось; первое, что мне приходило в голову: "Ну вот, началось!" Пару раз я со страху залезал под кровать. Чаще всего нарушителем тишины был грузовик, несущийся вниз по склону, — тогда казалось, что вообще все несется в тартарары. Потом я долго не мог заснуть, крутился в кровати, как уж на сковородке, вслушиваясь в ночные звуки, в деталях рисуя в воображении все возможные и невозможные ужасы.

Всю жизнь наши ночные кошмары преследуют нас как собственная тень. Однажды Мэри посреди ночи включила посудомоечную машину — иногда она любит заняться домашними делами, вернувшись поздним вечером из больницы. В машине что-то задребезжало и засвистело, и, если бы Мэри не спохватилась и не остановила меня, я бы выскочил на улицу. Она отвела меня в спальню, легла рядом и прижала мою голову к своей груди. Я слушал, как спокойно и равномерно бьется ее сердце, заглушая какофонию звуков, издаваемых работающей на кухне машиной; Мэри ласково гладила меня по голове, пока, наконец, я не забылся сном.

В номере львовской гостиницы меня до смерти напугали слившиеся воедино грохот трамвайных колес и рев проезжающего по улице автобуса. Наши страхи обычно не что иное, как воспоминания о прошлых кошмарах; не случайно первой моей реакцией на концерт за окном стало, уже в который раз: "Ну вот, началось!" Но трамвай проехал, в комнате повисла липкая тишина. Я начал успокаиваться, наблюдая за трассирующими искрами Рориной сигареты, но он докурил и растворился в темноте. Тогда я включил телевизор и стал переключать каналы: на экране грудастых девиц сменяли мрачного вида лысые дядечки, рекламные ролики оповещали о счастливой возможности избавиться от пятен крови при помощи чудодейственного стирального порошка; в памяти всплывали персонажи из рассказов Бабеля, выкрикивающие что-то непонятное, но знакомое. Случайно я наткнулся на канал, где какая-то матрона в балахоне из блестящей ткани пела "Прагматичную девушку" Мадонны. На нашей свадьбе мы с Мэри танцевали под эту песню, которую с диким энтузиазмом и немилосердно фальшивя исполняли приглашенные

музыканты. Певица в телевизоре, покачивая толстыми бедрами, неуклюже перемещалась между столиками и стульями, а ее партнер с усиками тореадора, твердый и мускулистый, как напрягшийся член, терся рядом, страстно прижимаясь то к одному ее боку, то к другому. И дураку было ясней ясного, что они украинцы. Мне вдруг показалось, что я нахожусь в пугающей параллельной реальности, где присутствуют украинская поп-дива с голосом настоящей Мадонны и я сам, слушающий ее и вспоминающий день своей свадьбы, притом что все вокруг — чужое и страшное. С огромным трудом я избавился от этого наваждения и заставил себя возобновить прогулку по каналам. И только когда увидел мадам Мадонскую и месье Пенисчука, беседующих по-украински с каким-то пышноволосым болваном, до меня дошло, что я смотрю караоке-шоу; ведущий обращался к гостям почтительно, явно как к знаменитостям. А что, быть звездой караоке очень почетно. Я был бы не прочь стать такой звездой.

Рора вернулся из туалета, равнодушно глянул на экран и включил свет: на мгновение комнату с двумя узкими кроватями и прочей мебелью эпохи развитого социализма залило мертвенным сиянием, что придало ей облик тюремной камеры, а затем пара лампочек, помигав, погасла. В номере висел запах едкой масляной краски и самоубийства. Что надо сделать, чтобы стать звездой караоке?

Караоке-шоу закончилось. Спать не хотелось, и мы с Ророй пошли прогуляться. Темнота непроглядная; карты у нас не было. Мы избегали совсем уж темных улиц, выбирая те, где горели редкие фонари. Но даже освещенные улицы были пустынны; казалось, город вымер, едва наступили сумерки.

Мой дедушка страдал куриной слепотой; ближе к ночи почти ничего не видел, романтические закаты были ему недоступны. Часто темнота настигала его в поле, пока он разыскивал коров и потом гнал их домой. На поиски деда отправляли команду внуков и внучек: мы натыкались на него, замершего, заглядевшегося на невидимый другим мир. Кто-нибудь из нас брал его за руку и вел домой; остальные собирали коров: коровы брели, оставляя за собой лепешки свежего навоза, словно столбили дорогу, чтобы на следующее утро безошибочно вернуться на сочные пастбища.

С годами дед полностью ослеп. Он всегда был медлителен, а погрузившись в непроницаемую темноту, стал еще более заторможенным; казалось, для него даже время замедлило свой бег. Иногда мы водили его к пчелиным ульям; он садился и слушал успокаивающее душу гудение пчел. От дома до ульев было ярдов пятьдесят, не больше, но у него на пре-

одоление этой короткой дистанции уходила вечность. Он еле-еле передвигал ноги, не отрывая их от земли, скользя подошвами по траве, по пыли, по куриному помету. Незадолго до смерти он вообще перестал выходить из дома. Мы подводили его к двери; от слабости он едва держался на ногах и не мог переступить порог. Так и стоял в дверном проеме, обратившись лицом к необъятному неведомому.

Потеряв зрение, дед совсем выпал из настоящего: забыл наши имена, не признавал нас за своих внуков. Мы превратились в тех Бриков, которые остались на Украине, после того как он сам в 1908 году уехал в Боснию: мы стали для него Романами, Иванами, Миколами и Зосями. Так он к нам и обращался: "Ну что, Иван, согнал пчелиный рой с яблони?" или "Зося, ты покормила уток?", а мы должны были придумывать ответы. Время от времени он выходил из своей смертеподобной спячки и кричал: "Почему вы бросили меня одного в лесу?" Нас это страшно веселило — что может быть забавнее для детей, чем растерянность взрослых?! В таких случаях нам приходилось помогать деду обойти кухню, шаг за шагом, и отводить обратно на диванчик, служивший ему пристанищем в последние годы жизни. Не ходить было нельзя — иначе дед бы решил, что так и остался в лесу. Однажды мне выпало прогуляться с ним по кухне — до буфета и обратно, никак не больше десятка шагов; у нас на это ушла уйма времени. Ему вдруг почудилось, что мы во Львове, ему девять лет, а я — его отец, что мы возвращаемся из церкви и я пообещал купить ему леденец. Когда я сказал, что леденца у меня нет, он разрыдался как ребенок. Я довел его до диванчика, он лег лицом к стене, молился и всхлипывал, пока не уснул.

И вот теперь я во Львове.

— Не мешало бы купить каких-нибудь леденцов, — сказал я Роре.

— Во время осады в Сараеве не было электричества, — отозвался он. — Долго, несколько месяцев.

Когда снова дали электричество, разом зажглись все лампочки, заработали телевизоры и радиоприемники, засверкали, словно пробудившись от сна, дома. Город предстал совершенно иным; стало видно, как война все обезобразила — на улицах, будто раздавленные тараканы, остовы сгоревших машин; запуганные собаки, прячущиеся по темным углам; любовники, пришедшие в ужас от своих исхудалых тел. Все это, правда, длилось недолго: ветхая система электроснабжения поработала несколько минут и отрубилась, в город вернулась темнота.

— Это было даже к лучшему, — сказал Рора, — при электрическом свете наши "друзья" с окрестных холмов могли бы

расстреливать нас еще и по ночам, целясь по освещенным окнам. Мы мечтали о свете, но предпочитали темноту. — И помолчав, спросил: — Ты когда-нибудь видел россыпи трассирующих пуль в ночном небе?



— Нет, — ответил я.

— Удивительно красивое зрелище.

В первые месяцы войны по ночам отряд Рэмбо совершал набеги на брошенные магазины. Выезжали на грузовике с погашенными фарами, даже курить строго-настрого запрещалось.

— Как-то мы очистили обувной магазин в центре, — сказал Рора. — В жизни не забуду! Чего там только не было: и шпильки, и детские кроссовки, и сандалии, и ковбойские сапоги; тащили все подряд.

Рора прихватил пару сапожек на высоченном каблуке для сестры, но она даже ни разу их не надела. Рэмбо не выпускал из огромной ручищи серебряный пистолет, его адъютанты нацелили дула автоматов на окна соседних домов на случай, если из-за занавески выглянет нежеланный свидетель. Свет за окнами не горел, к тому же они были плотно занавешены, так что, когда какой-нибудь любопытный раздвигал портьеры, даже с такого расстояния видны были (Рора сам видел) сверкнувшие белки, Рэмбо стрелял по этой цели, и глаз исчезал. Тайное должно оставаться тайным.

На следующий день, бесцельно послонявшись по Львову, я позвонил Мэри. В Чикаго было раннее утро, но Мэри дома не оказалось; пока я пытался дозвониться ей на мобильный, мне не давал покоя образ фотогеничного доктора, развлекающего мою жену сальными шуточками на медицинскую тему. После, наверное, десятой попытки, Мэри наконец ответила. Операция только-только закончилась; в Чикаго сущее пекло; на ближайшие выходные она собирается в Питтсбург. Она также сообщила, что Джордж и Рейчел через пару недель летят в Рим; это их первая поездка за границу; мама давно мечтала побывать в Риме. Отец согласился на это путешествие, чтобы порадовать жену: она всегда хотела посмотреть римские церкви и помолиться с Папой. Отец переживает, что не умеет говорить по-итальянски. И его пугают европейцы. (В устах Мэри это прозвучало как завуалированный намек: на основании опыта общения с одним европейцем — со мной — ее родители решили, что все жители Старого Света такие же, как я, и, соответственно, их страхи обоснованны.) Еще Мэри сказала, что скучает, что от жары стала раздражительной, что работе нет конца и она подумывает взять про-

должительный отпуск, как только я вернусь домой. А как продвигаются дела с Лазарем? Она грустила, что меня нет рядом, я почувствовал это по ее тону. "Движутся потихоньку, – сказал я. – Появились кое-какие новые идеи". – "Отлично! – воскликнула Мэри. – Очень за тебя рада". Я, в свою очередь, сообщил жене, что Львов произвел на меня тягостное впечатление; что горожане не пользуются дезодорантом, а женщины не бреют ноги. Последнее наблюдение, я надеялся, сослужит мне хорошую службу – не даст разгуляться ее женской ревности. Я рассказал Мэри, что по ночам город погружается в темноту, что на улицах несусветная грязь, описал архитектуру советского периода и доморощенные обменные пункты со смахивающими на уголовников кассирами в тренировочных костюмах, вручную отмывающими деньги. Рассказал про ветхого старичка в казацкой форме, от которого шел тяжелый дух мертвечины; он продавал еще липкие от типографской краски экземпляры "Протоколов Сионских мудрецов". Пожаловался на слабый напор воды в душе – нельзя нормально помыться. Короче, обрушил на жену уйму жалоб, чтобы она почувствовала, как тяжело мне приходится и что поездка оказалась далеко не сахар. Закончили разговор мы обоюдными признаниями в любви.

Похоже, нам легче друг друга любить, когда нас разделяют необъятные пространства двух континентов и океан в придачу. А вот ежедневный кропотливый труд на любовном фронте как-то не задался. Пока Мэри пропадала в больнице, я не мог дождаться ее возвращения, но она приходила такая уставшая, что ей было не до меня, не до моих желаний и потребностей. Тогда я начинал обвинять ее в холодности и отстраненности, говорил, что для успешного брака мало одного совместного чтения воскресной газеты на кухне. Она отвечала, что сильно устает на работе, что должен же кто-то содержать семью. Я уверял ее, что очень хочу писать и почти готов взяться за дело; затем перечислял встретившиеся на моем жизненном пути трудности и те жертвы, на которые я пошел ради благополучия семьи. Часто стычки заканчивались ором и разрушениями: я принимался швырять на пол все, что попадалось под руку, особой популярностью пользовались вазочки – они замечательно летают и красиво разбиваются.

Однажды утром в Чикаго я на цыпочках пробрался на кухню, чтобы приготовить кофе. Рассыпав по своему обыкновению зерна по всему столу, я вдруг заметил в углу консервную банку, на красной этикетке которой было написано "Тоска". Неужели набралось столько тоски, что ее смогли расфасо-

вать по банкам и пустить в продажу? Резкая боль пронизала все мое нутро, прежде чем я сообразил, что там написано "Треска". Но было уже поздно что-либо изменить; тоска черным облаком обволокла все безжизненно-неподвижные предметы вокруг: солонку и перечницу, банку с медом и пакет сушеных помидоров, тупой нож и черствую булку, две застывшие в ожидании кофе кружки. Моя родина экспортирует главным образом два товара: угнанные машины и тоску.



Поговорив с Мэри, я вышел из здания почты на улицу. Во Львове от всего веяло тоской: от пацанов, моющих белую "ладу" посреди улицы; от мужчины в армейской фуражке устаревшего образца, который, расстелив на тротуаре одеяло, продавал полное собрание сочинений Чарльза Диккенса; от проплывающего мимо, похожего на Дарта Вейдера[1] священника в длинной, до пят, черной рясе. Дома с высокими окнами и лепниной в имперском стиле и те были обезображены налетом тоски.

Мне стало понятно, почему Лазарь жаловался сестре на бессмысленность работы упаковщика яиц; Ольга же умоляла его набраться терпения и ни в коем случае не писать о своих неудачах маме, не надо ее расстраивать. Но ему надоело жить в гетто, его измучили чикагские холода. "Люди здесь неприветливые и хмурые, — писал Лазарь. — За последние месяцы я не видел ни одного улыбающегося человека и ни одного солнечного дня. Что это за жизнь без красоты, без любви и без справедливости?" Мама отвечала ему: "Потерпи, ты ведь только приехал, думай о том хорошем, что ждет тебя в будущем. Многие хотели бы уехать в Америку; тебе повезло: ты не один, с тобой сестра, у тебя есть работа". А он писал маме о переполненных трамваях, о городской жизни за границами гетто, где улицы выстланы золотом; о своем друге Исидоре, весельчаке и умнице. Беспокоился о мамином здоровье, о ее больном сердце и варикозных ногах. Писал, что копит деньги, чтобы купить ей удобные туфли. "Мама, пожалей ноги, не стой слишком долго. И не грусти, побереги сердце. Нам с Ольгой оно еще понадобится. Как бы мне хотелось прижаться к твоей груди и услышать биение твоего сердца!"

В сквере у церкви мальчишки играли в футбол: рваные кеды, полусдувшийся мяч, у самого маленького игрока сзади на футболке печатная надпись "Шевченко". Старики сгрудились у скамейки, наблюдая за шахматной партией. Я стал размышлять о том, что произошло с матерью Лазаря после его

1. Герой саги "Звездные войны".

смерти. Скорее всего, Ольга ей обо всем написала, но письмо с печальным известием еще долго добиралось до Кишинева. Пока оно было в пути, мать продолжала думать о Лазаре как о живом: горевала, что ему приходится много работать, беспокоилась, что он в мороз выскакивает на улицу с мокрыми волосами, расстраивалась, что его одолевают приступы меланхолии. Надеялась, что он женится на хорошей еврейской девушке; а вот Исидор ей почему-то очень не нравится. А потом она получила Ольгино письмо, читала и перечитывала страшные слова, не желая верить написанному, выдумывая какие-то причины, из-за которых, наверное, произошла ошибка. Может, это ужасное недоразумение, и Лазарь вовсе не умер? Она просила прислать его фотографию, требовала, чтобы Ольга опровергла информацию о его смерти, и упорно продолжала говорить о сыне так, будто он жив. "Да-да, представляете, он получил место репортера в газете 'Еврейское слово', – рассказывала она мадам Бронштейн. – Его начальник считает, что у него великое будущее". Скорее всего, она не намного пережила сына, сердце не выдержало.

Интересно, а у библейского Лазаря была мать? Что она делала после его воскрешения? Попрощался ли он с ней прежде, чем возродиться для новой жизни? Изменился ли или остался таким, каким был? Я где-то вычитал, что он вместе с сестрами отправился по морю в Массалию, современный Марсель, и там умер. А может, и не умер.

Большая часть пассажиров трамвая вышла на рынке; я последовал за тремя молодыми женщинами, которые, взявшись под руки, дружно зашагали к кафе "Вена", где меня поджидал Рора, накачиваясь эспрессо и куря одну сигарету за другой. Три грации ушли далеко вперед, я же остановился послушать пенсионеров, посреди рынка распевающих старинную украинскую песню: пожилые толстые тетки крепко сжимали авоськи, а старики в коротковатых штанах (отчего видны были трогательные коричневые носки и сандалии), сложив руки на круглых животах, возводили глаза к небу на особо высоких нотах. Насколько я мог разобрать, речь в песне шла о раненом казаке, которого выходила молодая девушка, а он, бессердечный, как только встал на ноги, ускакал в широкую степь; казак быстро про нее забыл, но она помнила его всю жизнь. "Полюбила казака молода дивчина..." – тянули старики.

У меня не было настроения рассказывать Роре про наш с Мэри разговор, и поэтому я, подойдя к столику, просто молча сел рядом. Мои три грации курили, держа сигареты на один манер: ладони вывернуты, кончики сигарет опущены,

пальцы слегка согнуты, дым завивается вокруг длинных наманикюренных ногтей. Рора их сфотографировал; услышав щелчок камеры, одна из них, яркая блондинка, повернулась к нам: бледное лицо, нарумяненные скулы. Улыбнулась; Рора улыбнулся в ответ. Появилась официантка в белом, отделанном синтетическими кружевами фартучке и черной юбке; я спросил, есть ли у них леденцы. Она не поняла, что мне надо, а я не мог ей толком объяснить на своем убогом украинском, да к тому же без словаря, который остался в гостинице. Я сдался: "Кофе по-венски, пожалуйста. И еще один для моего приятеля".

Рора поставил свой черный "Canon" на колени, а затем и вовсе засунул его под стол и уже оттуда сфотографировал ножки трех граций, громко кашлянув, чтобы заглушить щелчок.

— Ты зачем их сфотографировал?

— Дурацкий вопрос! Это моя работа.

— Почему ты занимаешься фотографией?

— Потому что мне нравится рассматривать свои снимки.

— Мне кажется, когда люди что-то снимают, то сразу же забывают об этом.

— И что?

— Ничего, — пожал я плечами.

— Человек смотрит на фотографию и вспоминает, каким он был.

— А ты-то что видишь, когда смотришь на фотографии?

— Картинку, — ответил Рора. — Чего ты ко мне пристал?

— Когда я рассматриваю свои старые фотографии, то вижу, что никогда уже не буду таким, каким был. И думаю: это не я.

— Слушай, Брик, выпей-ка еще кофейку, — проворчал Рора, — тебе это поднимет настроение.

Официантка принесла кофе, я выпил обе чашки. Три грации то и дело посматривали в нашу сторону, и каждый раз Рора им улыбался.

— Тебе знакома библейская история про Лазаря? — спросил я.

— Нет, она как-то обошла меня стороной.

— Короче, Лазарь мертв, а его сестра знакома с одним чуваком по имени Иисус Христос, местным пророком и чудотворцем, и просит его сделать что-нибудь. Он идет в пещеру, где заховали покойника, и проделывает следующий трюк: приказывает ему восстать из мертвых. Лазарь, воскреснув, выбирается из пещеры и сматывается. А мистер Христос становится еще более знаменитым.

— Так себе история.

— Согласен, слабовата. Но слушай, что было дальше. Лазарь перебирается в Марсель, сестры за ним. Вот это уже интереснее. Хотел бы я знать, как у него там сложилась жизнь. Может, он больше никогда не умер. Вдруг до сих пор жив и ходит среди нас, всеми забытый, разве что кто-нибудь помнит его в роли белого кролика из шоу иллюзиониста Христа?

— Что за бред ты несешь? — сказал Рора. — На что намекаешь?

— Я просто размышлял о своем Лазаре.

— Кончай размышлять, — приказал Рора. — Выпей еще кофе.

Мы пили кофе в молчании. "Полюбила казака молода дивчина..." — тихонько напевал я себе под нос. Мне надо было выговориться. И я начал:

— Я звонил Мэри...

— Вот и отлично.

— Ее родители собираются в Рим, хотят повидать Папу...

— Прекрасная идея.

Рора явно хотел, чтобы я заткнулся, но меня понесло. Может, кофе подействовал.

— Мои тесть и теща очень религиозные, — сказал я. — Потребовали, чтобы мы обвенчались в католической церкви. Я сопротивлялся, но Мэри и слышать ничего не хотела. Меня поставили на колени перед крестом, и священник обрызгал меня святой водой.

Я не только преклонил колена перед распятым гимнастом — Филды, самые благочестивые католики во всем проклятом Питтсбурге, не раз вынуждали меня идти на компромисс со своей совестью: приходилось изображать из себя человека, погруженного в глубокие раздумья о бренности земного существования. Хорошо помню первое проведенное с ними Рождество; мы с Мэри только-только поженились, и меня официально признали членом семьи — спасибо, любовь дочери к подозрительному иностранцу оказалась надежным гарантом. Все расселись за круглым столом, была прочитана обязательная молитва, после чего по кругу, против часовой стрелки, пошли блюда с ветчиной, картофельным пюре и подливкой. Я положил себе всего понемногу и передал дальше. У меня даже слезы навернулись на глаза, так это было умилительно, по-семейному. С тех пор каждый год на Рождество я ломал себя через колено: в то время мне казалось, что игра еще стоила свеч. Иногда к нам с Мэри, Джорджем и миссис Филд присоединялись Паттерсоны; все по очереди читали вслух Библию, а я, оставшись не у дел, пересчитывал ломтики ветчины на блюде и

дивился, до чего они тонко нарезаны. Позже, за десертом, я включался в общую непринужденную беседу ни о чем, нахваливал яблочный пирог ("Рейчел, да ради одного яблочного пирога стоило эмигрировать в Америку!" — восклицал я под искренний смех окружающих). Мы с Мэри не расцепляли рук даже за столом; говоря о себе, я сознательно употреблял множественное число ("Мы любим держать книгу на груди, когда перед сном читаем в кровати") и терпеливо выслушивал шуточки о будущих наследниках. После ужина все вместе отправлялись на долгую неторопливую прогулку, болтая о том о сем; от мороза стыли щеки. Иногда Джордж пропускал дам вперед и начинал с пристрастием допрашивать меня, как я собираюсь решать свои финансовые проблемы. Жена неизменно приходила мне на помощь и спасала от въедливого папаши. И все же порой я чувствовал себя у них как дома; семейные традиции действовали на меня благотворно.

— Так ты у нас, получается, католик? Не знал.

— Я никто, — ответил я. — Господу Богу известно, что мы с ним далеко не друзья. Но я завидую тем, кто искренне верит в эту чепуху. Они не задумываются о смысле жизни, а я только этим и занимаюсь.

— Дай-ка расскажу тебе анекдот, — сказал Рора. — Однажды Муйо просыпается после ночной попойки и спрашивает у самого себя, в чем смысл жизни. Идет на работу, но понимает, что смысл жизни не в работе. Тогда Муйо решает заняться философией и многие годы изучает философские труды, начиная с древних греков и дальше. Безрезультатно. Может быть, смысл жизни в семье? Муйо посвящает все свое время жене, Фате, и детям, но смысла жизни не находит и бросает семью. "Может, смысл жизни — в помощи другим людям?" — думает он и поступает учиться на врача, заканчивает институт с отличием и уезжает работать в Африку — лечить аборигенов от малярии и пересаживать сердца. Однако и это не то. Может, смысл жизни в богатстве? Он становится бизнесменом, зарабатывает миллионы долларов, тратит их направо и налево, но и в этом смысла не находит. Тогда он решает пожить в бедности и унижении: раздает свое богатство, попрошайничает на улице, но и это бессмысленно. "А вдруг мне поможет литература?" — думает он, пишет один роман за другим, но чем больше пишет, тем меньше ясности со смыслом жизни. Тогда он все бросает и обращается к Богу: живет как дервиш, читает и размышляет над Кораном. И... ровным счетом ничего. Он принимается изучать христианскую веру, иудаизм, буддизм, все, что есть. Никакого просвета. В конце концов до него доходят слухи про одного гуру, живущего высоко в горах где-то на Востоке. Говорят,

только он знает, в чем смысл жизни. И Муйо отправляется в дальний путь, много лет путешествует, бродит по дорогам, влезает на гору и находит лестницу, которая приведет его к гуру. Поднимается по ней, преодолевает десятки тысяч ступенек, чуть не умирает по пути. На самом верху миллионы паломников, он вынужден прождать несколько месяцев в очереди. Наконец приходит его черед. Гуру сидит, скрестив ноги, под большим деревом, совершенно голый, с закрытыми глазами, медитирует, на лице полное умиротворение. Сразу видно — он знает, в чем смысл жизни. Муйо обращается к нему: "Я посвятил свою жизнь поискам смысла жизни, но не справился с этой задачей. Вот почему я пришел к тебе с нижайшей просьбой: о, Учитель, поделись со мной секретом, скажи, в чем смысл жизни?" Гуру открывает глаза, смотрит на Муйо и спокойно говорит: "Друг мой, жизнь — это река". Муйо смотрит на него и не может поверить услышанному. "Повтори, пожалуйста, что такое жизнь?" — просит Муйо. А гуру ему отвечает: "Жизнь — это река". Муйо, покачав головой, говорит: "Ах ты, вонючее дерьмо, дебил чертов, придурок херов! Я всю жизнь потратил на поиски смысла, с таким трудом сюда добирался — и ради чего? Чтобы услышать, что жизнь — какая-то говнистая река?! Река?! Ты что, издеваешься? Никогда не слышал подобной ахинеи. И этому ты посвятил всю свою жизнь?" Тут гуру встрепенулся и говорит: "Что-что? Не река? Ты считаешь, что не река?"

Я посмеялся и сказал:

— Понятно, к чему клонишь.

— Ничего тебе непонятно, — возразил Рора и показал рукой на неоновую вывеску казино, парящую над рынком. — Пошли сыграем.

"А что, неплохая идея", — подумал я, хоть и не был картежником. А потом, неожиданно для себя, предложил выдать Роре сто евро из Сюзиных денег с условием: если он выиграет, деньги мы поделим поровну. Он согласился, и мы отправились в казино.

При входе в казино у металлоискателя стоял монстр с бычьей шеей и шарообразными бицепсами, туго обтянутыми пиджаком от лже-Армани; не человек — бизон. Тыча пальцем в знак, запрещающий проносить оружие, он приказал Роре сдать "Canon" в камеру хранения. Я уже был готов развернуться и отчалить, — мало, что ли, мест, где можно развлечься, — но Рора отошел в сторону и пропустил меня вперед, давая понять, что я должен уладить это недоразумение. Что поделаешь — я заговорил с бизоном на украинском с амери-

канским, а вовсе не боснийским акцентом. По этому акценту ему следовало определить, что перед ним клиенты, готовые спустить у них в казино приличную сумму в твердой валюте. Я сказал, что, пока мой друг будет играть, я подержу его камеру, и пообещал до нее не дотрагиваться. Бизон вытащил "Canon" из чехла, выкрутил объективы, внимательно все осмотрел, а потом положил на пол. Краем глаза я заметил, что Рора напрягся и еле сдерживается, чтобы не схватить его за руку, но тут охранник выпрямился и кивнул Роре: собирай, мол, свое барахло, отдавай приятелю и вперед.

Помещение казино переливалось всеми цветами радуги: ярко-зеленая обивка кресел, сине-красно-белые фишки, розовые блузки и иссиня-черные жилеты двух унылых девушек-крупье. Ни капли серого. Вечер только начинался, и посетителей еще не было. У девушки за столом с рулеткой волосы были стянуты в тугой пучок на затылке, чтобы лицо казалось шире, а глаза — больше. Ухищрения, однако, не помогли: выглядела она анемичной и несчастной. Крупье за столом для игры в блек-джек приветствовала нас: "Хелло!" У нее были очень узкие плечи и тонюсенькие ручки, вылезающие из пышных рукавов как плети вьющегося растения. Рора прямиком направился к ее столу, уселся напротив и осклабился. Девушка улыбнулась в ответ и принялась подравнивать столбики фишек, Рора продемонстрировал купюру в сто евро и положил в банк. В дальнем углу на высоком стуле восседал наблюдатель — пит-босс; стоило нам появиться, как он устремил пронизывающий взгляд на Рору.

Я никогда не видел Рору в игре; первые полчаса мне казалось, что мой приятель в этом деле не силен: он почти не смотрел на карты, раз за разом проигрывал и довольно быстро потерял половину фишек. Я занервничал, но потом, видя, что Рора и глазом не моргнул, немного успокоился. Игра проходила в молчании, только крупье иногда неожиданно хихикала, глядя в карты, которые старательно скрывала от взгляда пит-босса. Казалось, Роре было решительно все равно, чем закончится игра.

А потом у него пошла полоса везения. Столбик фишек перед ним начал расти: Рора делал большие ставки и неизменно выигрывал. С лица крупье исчезла улыбка, не отрывая левой руки от края стола, она приподняла указательный палец — это был условный знак для пит-босса. Меня охватило радостное волнение: как-никак, я расшифровал секретный код, проникнув таким образом в мир подпольного игрового бизнеса; мне представилось, какая отличная получилась бы фотография, если снять эту руку крупным пла-

ном. Пит-босс подошел к нашему столу и, попав в полосу света, замер, сложив руки под животом; лицо его оставалось в тени. На каждом пальце у него были стальные кольца, выглядевшие как кастеты; вероятно, чтоб сподручнее было разбивать челюсти и скулы. Рора пару раз продул, а потом — о чудо! — снова стал выигрывать одну партию за другой; кучка фишек перед ним превратилась во внушительную горку. Пит-босс прошептал что-то на ухо нашей крупье, подозвал вторую, и девушки поменялись местами. У новенькой были чуть заметные усики и остренький подбородок; вряд ли Рора мог рассчитывать на ее благосклонность. Он тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула, словно устал выигрывать. Потом покрутил головой, по-борцовски разминая мышцы на шее, пододвинулся вперед, поудобнее устроил локти на краю стола, сложив ладони, словно для молитвы, и сделал большую ставку.

В самолете Рора рассказывал мне, полусонному, как однажды он сопровождал Миллера на интервью с Караджичем. Почему-то в отвратительном украинском казино я вспомнил эту историю — или свой сон, если все это мне только приснилось. Четники остановили их на последнем пропускном пункте перед штаб-квартирой Караджича; один засунул дуло пистолета Роре в рот, так глубоко, что тот стал давиться. Рора рассудил, что убивать его не станут: Рэмбо предупредил своих бизнес-партнеров из числа четников, что Рора и Миллер находятся под его защитой и, случись с ними что-нибудь, пострадает коммерция. Скорее всего, тип с пистолетом просто блефовал, желая припугнуть Миллера. "И тем не менее на секунду я заметил в глазах у него особый блеск, — сказал Рора. — Мне это было знакомо: ты взглядом успокаиваешь противника, мол, не волнуйся, поступай как считаешь нужным, все будет о'кей. В этот момент и нужно поднимать ставку и его валить. Я бы и сам так сделал, но попробуй сделай, когда во рту у тебя пистолет: вкус смазки, порохового дыма и смерти сильно мешают. А рожа у него была омерзительная: морщинистый лоб, одна бровь выше другой, крохотные круглые налитые кровью зенки и прыщ на левой ноздре".

Бизон покинул свой пост и подошел к крупье, с другого бока ее прикрывал пит-босс; оба угрожающе уставились на Рору, только Рору так легко не испугаешь. Не испытывал страха и я, хотя смерть или боль маячили на горизонте; перспектива быть ограбленным до последней нитки тоже не пугала. Наоборот, все это меня возбуждало. Охранник обошел стол и встал рядом со мной, возможно, хотел проследить, не посылаю ли я сообщнику сигналы.

И вдруг в зале погас свет; у меня душа ушла в пятки — мало ли что может случиться в кромешной темноте. Бизон ущипнул меня сквозь рубашку, по-садистски вывернув кожу; я не ожидал, что будет так больно; внезапное нападение было пугающим и одновременно абсурдным, и я захихикал. И ринулся к выходу, но, зацепившись за стул, упал. Тут же зажегся свет, словно его специально выключали, чтобы я плюхнулся на пол. Все остальные, включая Рору, оставались на своих местах.

— Я закругляюсь, — сказал Рора на боснийском. Мужики поняли и кивнули, мол, мудрое решение, молодец. Вели они себя так, будто свет и не отключался. Рора пододвинул к крупье маленький столбик фишек — чаевые; я встал и поднял стул.

Я помог Роре отнести фишки в кассу, по дороге уронив несколько штук на пол — мне сильно мешала камера, — но и не подумал нагнуться и их поднять. Рора выиграл полторы тысячи евро. На Украине за такие деньги можно купить трудолюбивого крестьянина. Мысль, что Сюзины деньги поработали и принесли прибыль, приятно грела душу. Бизон проводил нас до дверей, пожелал доброй ночи. Я ответил ему тем же на своем родном языке. И только на улице, под львовским дождем, чуть не отрубился от переполнявшего меня страха, смешанного с радостным возбуждением.

В кафе "Вена" я опорожнял одну за другой рюмки самого дорогого армянского коньяка из их запасов, а Рора доверительно поучал меня, что главное, когда играешь в блек-джек, — уметь считать карты. Но ни в коем случае нельзя показывать это противникам — пусть им кажется, что ты вообще не думаешь. Пусть решат, что ты полный валенок.

Миллер обожал играть в покер, считая это неотъемлемой частью американского образа жизни. Он играл с другими иностранными корреспондентами, но вскоре партнеров у него не осталось. Рора, желая втереться к Миллеру в доверие, пообещал найти ему более-менее постоянных партнеров. Он знал, что Рэмбо — заядлый картежник и что возможность сыграть в покер с Миллером потешит его самолюбие: защитник Сараева против американского военного корреспондента. Короче, Рора организовал их встречу. За карточным столом собрались: сам Рора; туповатый, но отчаянный Бено — на всякий случай; офицер особого отдела боснийской полиции, приставленный к Миллеру в качестве охранника, хотя и усердно лизал задницу Рэмбо; и какой-то человек из правительства, обеспечивающий крышу для Рэмбо. Все, кро-

ме Миллера, знали, что Рэмбо выиграет. Рора благоразумно вышел из игры, быстро проиграв небольшую сумму. Проигрыш он рассматривал как инвестицию: основной целью этой игры было свести Рэмбо и Миллера и потом извлечь из этого выгоду для себя. Рора описал мне в деталях все комбинации, все обманные ходы, все ставки; в самом конце за столом остались только Рэмбо и Миллер. Перед Рэмбо лежала толстая пачка долларов, перед Миллером — пачка поменьше и фул-хаус на руках — три короля и две дамы. Но это была западня, Рэмбо-то сидел с четырьмя тузами. Они повышали ставки до тех пор, пока Миллер не выложил на стол часы и золотую цепочку и стал играть на свою будущую зарплату. Он был в стельку пьян после пары бутылок джина, которые сам же и принес, но поклялся заплатить Рэмбо, если проиграет. При любых других обстоятельствах, и уж тем более не в осажденном городе, никто бы не согласился на такие условия, но все присутствующие, и Рэмбо, и даже пьяный Миллер знали, что в Сараеве смерть ходит за тобой по пятам (будь ты хоть американским репортером): одно неверное движение, дурацкая ссора, выстрел снайпера — и все. Миллер, естественно, продул; Рэмбо обыграл его как мальчика. Впоследствии Миллер оказывал Рэмбо мелкие услуги: то отвезет приятелю небольшую посылку, то опубликует статью в американской прессе про то, как геройски Рэмбо сражается с четниками, то передаст наркотики другим западным корреспондентам, то сведет Рэмбо с телевизионщиками и т. п. Рору такой расклад очень устраивал: на передовую идти не надо, никаких тебе больше ночных вылазок и траншей — ведь Рэмбо приставил его к Миллеру, чтобы он с того глаз не спускал.

— Ты все придумал, — сказал я.

— Если бы.

— Тебе надо было вести дневник.

— Я фотографировал.

— Ты должен все это записать.

— А это уж твоя обязанность. Почему, думаешь, я тебя с собой взял?

ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ, ПРОИЗВЕДЕННОГО ПОЧТЕННЫМ доктором Хантером, Шутлер показывает медицинское заключение Уильяму П. Миллеру, которому явно льстят доверительные отношения, возникшие между ним и первым помощником начальника полиции.

**Труп мужчины, приблизительно 20 лет, рост — 5 футов 7 дюймов, вес — около 125 фунтов, с признаками недоедания.**

**В левой верхней части лобной кости пулевое отверстие диаметром четверть дюйма.**

**Пулевое отверстие слева от подбородка.**

**Пулевое ранение правого глаза.**

**Пулевое отверстие на 2 дюйма выше правой ключицы.**

**Пулевое отверстие на 2 дюйма правее левого соска.**

**Пулевое отверстие в нижней части левой лопатки.**

**Пулевое отверстие в затылке. Пуля обнаружена при вскрытии.**

**Необычное строение черепа. Волосы темные. Кожа смуглая. Форма носа не ярко выраженного еврейского типа, однако указывает на семитское происхождение.**

**Целый ряд прочих признаков однозначно свидетельствуют, что покойник был евреем.**

**Зубы без пломб. Кисти рук хорошо развиты; судя по этому, покойник занимался тяжелым физическим трудом.**

**Кости свода черепа исключительно тонкие. Обнаружены три пулевых ранения мозга.**

**Пуля, вошедшая в тело в области левого соска, попала в сердце.**

**Другие органы — без повреждений.**

**Тонкие стенки черепа, широкий рот, скошенный подбородок, низкий лоб, выдающиеся скулы и большие обезьяноподобные уши — первостепенные признаки личности дегенеративного типа.**

**По нашему мнению, причина смерти — шок и кровотечение, вызванное пулевыми ранениями.**

— Эти люди слеплены из другого теста, — задумчиво произносит Шутлер; кажется, что, пока Миллер читал протокол вскрытия, он предавался глубоким размышлениям. В кабинете темно, горит лишь настольная лампа; оконные стекла дребезжат от порывов ветра.

— Да, это точно, — откликается Уильям П. Миллер.

Безлюдные улицы вьются между темными зданиями; в непроницаемой пелене дождя ползут по глубоким лужам громоздкие экипажи; иногда свет молнии на короткий миг вырывает из тьмы какого-нибудь бесприютного продрогшего пьяницу или рабочего, возвращающегося с вечерней смены. Гроза карает Чикаго, стегая его жителей плеткой ненависти.

Что же делать, думает Ольга. На секунду осколки стекла на полу вспыхивают как далекие звезды на небе. Засохшая буханка ржаного хлеба появляется на столе и тут же исчезает. Огонь в плите еще не потух, тошнотворный дым просачивается в комнату, хлопья пепла, легкие, как пух, вылетая из трещин в плите, поднимаются в воздух и садятся Ольге на лицо и волосы. Руки лежат на коленях, она ощущает их тяжесть;

когда вспышка молнии ножом рассекает темноту, руки кажутся ей изможденными малютками. Но вот и они куда-то деваются; единственное, что остается, это влажный кокон платья. Гроза уходит, злобно прорычав на прощанье. При таком сквозняке зажигать лампу бессмысленно.

*Дорогая мамочка, Лазарь уснул, и нам его уже никогда не разбудить.*

Нет, она не может написать домой до похорон, до того, как прочитают кадиш[1]. Они сбросят его в яму как собаку. Раскошелятся ли они на гроб? Обмоют его или предоставят это сделать дождю? А может, *полицьянт* ногой столкнет его тело в могилу? Помочится на него, стоя на краю ямы? Ольга вскакивает со стула, делает два шага вперед, шаг назад, наступает на осколки. Вилки, ножи и чашки хрустят и звенят. Эти звуки приводят ее в исступление, она хватает вилку и замахивается на невидимого врага. Потом замирает и стоит с поднятой рукой, направив зубцы вилки в темноту. Дождь барабанит по стеклам. В дальнем углу, в кромешной темноте, кто-то все слушает и за всем наблюдает.

*Дорогая мамочка, не знаю, как и сказать: Лазаря больше нет.*

Нет его, нет. Одна пустота.

*Дорогая мамочка, кажется, нас преследует злой рок. Мы потеряли Лазаря. За что нам посланы такие страдания?*

Ее платье пропитано запахом скорбного пота и дыма от сигар полицейских, чулки порваны, на левой туфле сломался каблук. Лазарь горько рыдал, потеряв одну лайковую перчатку — перчатки ему подарили на бар-мицву[2]. Лазарь в смешном матросском костюмчике. В детстве он боялся воробьев. Лазарь на своей бар-мицве, читающий из Торы, запинающийся. Почему у евреев новый день начинается на закате? Вот Лазарь в лагере беженцев в Черновцах, дрессирует бездомного пса, учит его приносить палку, пес недоуменно за ним наблюдает. А как брат умел, оттянув уши и выпятив челюсть, изображать обезьянку?! Как заливисто хохотал над фокусами господина Мандельбаума, когда яйцо сначала исчезало, а потом появля-

1. Поминальная молитва.
2. Обряд совершеннолетия для мальчиков, достигших тринадцатилетнего возраста.

лось у Лазаря за ухом?! Он ни в какую не хотел замечать первую щетину на лице. Вкус кудрявых волос брата, когда она его целовала: солоновато-сладкий, иногда с горчинкой. Его холодное лицо в морге; сердце не бьется в груди; пустота.



*Дорогая мамочка, твое последнее письмо нас очень обрадовало. У нас все прекрасно: я получила новую работу – секретаря в адвокатской конторе, а Лазарь работает репортером в газете "Еврейское слово". Он подумывает о женитьбе.*

Зачем же выбрасывать сухой хлеб? Его можно разогреть на пару. Но есть она не будет. Еле уловимый запах тления пропитал всю комнату. Как же здесь пусто без Лазаря! Вещи как стояли, так и стоят, живут своей, не зависимой от Ольги и ее горя, жизнью: порожний таз, шаль на спинке стула, бесстрастный кувшин с водой, швейная машинка, приводной ремень которой иногда потрескивает. Ольга не может себя заставить к ним прикоснуться; всматривается в их очертания, словно ждет, что они расколются и тогда откроется бездна горя внутри каждой проклятой вещи. В этой самой комнате, где когда-то сидел Лазарь Авербах, девятнадцатилетний мальчик. Здесь он уплетал кашу, большим пальцем выковыривая из левого глаза засохший гной, время от времени по-кошачьи широко зевал, показывая десны и резцы. Здесь он со стуком ставил алюминиевую миску в раковину. Здесь пришпилил на стенку фотографию из "Дейли ньюс": толпа еврейских девушек занимается гимнастикой на крыше какого-то здания, их руки тянутся к небу.

Интересно, обыскивала ли полиция туалет во дворе?

Ольга несется вниз по лестнице, пробегает мимо лениво развалившегося на стуле в подъезде полицейского. Тот даже бровью не повел. Она идет навстречу ветру по жидкой грязи заднего двора, заливающейся в открытые туфли; поскальзывается, но не падает; по волосам стекают струи дождя. Наклонившись, отодвигает булыжник, припирающий дверь сортира, и рывком распахивает ее настежь. В ноздри ударяет невыносимая вонь: из-за дождя уровень дерьма в выгребной яме поднялся, а вместе с ним — и миазмы. Где-то здесь должен быть англо-русский словарь, который Лазарь любил брать с собой в туалет. Ольга ищет словарь, натыкается на его твердый корешок, выступающий, словно миниатюрный горный хребет. Сколько раз она ругала брата за то, что сидит и читает на холоде, да разве же он слушал. Придет, бывало домой, расчихается и раскашляется... На прошлой неделе она высморкала ему нос, так он морщился и хныкал как маленький. Книга на ощупь теплая, будто Лазарь только что

выпустил ее из рук, будто из нее течет его жизненная энергия. Ноги у Ольги подкашиваются и, чтобы не упасть, она, всхлипывая, плюхается на край сиденья, левая ягодица зависает над дыркой. "Лазарь, – плачет Ольга, прижимая словарь к груди, – братик мой родненький". Столько было надежд... Ни одной уже не сбыться. Она помогала ему учить язык: диктовала английские слова, а он должен был перевести их на русский. В прошлый вторник они как раз проходили букву Л:

ложь
локомотив
ломать
ломоть
лопата
лотерея
лохмотья
лошадь
луг
лужа
лук
луна
луч
лучший

Зачем ей теперь эти чужие слова? Что они могут ей сказать? Она стонет, раскачивается взад-вперед, будто молится, будто бесследно растворяется в пустоте.

любезный
любимый
любить
любоваться
любовник
любовь
любопытный
люди
люк
лягушка

Господи, что я делаю?!

– Ольга, это ты? Ольга?

Ольга вскрикивает от ужаса, съеживается, защищая важную книгу и свое сердце от неведомой напасти. Непонятно откуда взявшийся хриплый голос накатывает на нее из тем-

ноты. Опять полыхают молнии; ноги у нее совсем заледенели. От мысли, что она, возможно, тронулась, ей становится невыносимо легко на душе.



*Дорогая мамочка, Лазарь умер, а я сошла с ума. В остальном все хорошо, мы про тебя постоянно думаем.*

— Ольга, это я, Исидор, — доносится до нее голос. — Я тут, в яме.

И правда, снизу доносится плеск.

— Исидор?

— Да, это я, Ольга. Внизу, в дерьме. Я погибаю.

— Ради всего святого, что ты там делаешь?

— Я обожаю плавать в говне. А ты что подумала?! За мной охотятся по всему городу.

Ольга заглядывает в черную вонючую дырку, к горлу подкатывает тошнота, ее выворачивает.

— Откуда ты знаешь, что тебя ищут? Как ты сюда попал?

— Я шел к тебе, но тут приехала полиция, и я спрятался. Добрые люди посоветовали держаться от полицейских подальше.

— Если ты ничего плохого не сделал, тебе и бояться нечего, — говорит Ольга без особой уверенности.

— Мне все объяснили: я — курчавый соучастник преступления, — говорит Исидор. — Да вот только не курчавый я и никакого преступления не совершал.

— Ты хотел убить Шиппи?

— Не говори глупостей. С чего вдруг мне бы это понадобилось?

— А ему что понадобилось в доме Шиппи?

— Я не знаю. Слушай, мне надо отсюда выбраться. Я замерз и умираю от голода. И дерьмо вдобавок поднимается.

— Это все ты со своими анархистскими бреднями и подстрекательскими речами. Чем уж так была плоха его жизнь?

— Мы всего лишь мечтали, чтобы мир изменился к лучшему. Читали и обсуждали, вот и все. Ольга, я здесь сдохну.

— Врешь, Исидор. Это ты его подговорил.

— Ольга, ты ведь меня знаешь. Я ел и пил у тебя в доме. Он был мне как брат. А ты как сестра.

— Я тебе не сестра. У меня был брат, но ты его угробил.

— Он был взрослым самостоятельным человеком. Его никто не заставлял.

— Ты таскал его слушать эту Голдманиху, всех этих красных смутьянов; ты отравил его душу ненавистью. Пусть твои сестры-анархистки вытаскивают тебя из дерьма.

Разглядеть Исидора в темноте она не может, не видно, насколько глубоко он сидит. Она никогда не смотрела внутрь и при дневном-то свете. Все перевернулось с ног на голову. Исидор всего-навсего любил трепать языком, а теперь за ним, как за главным анархистом, гоняется полиция.

— Вокруг полно полицейских, один сидит у нас внизу, — говорит она. — Поджидает тебя. Если я здесь задержусь, они заподозрят неладное.

— Я не ел уже два дня. По мне шныряют крысы. Мне скоро конец. А я не хочу умирать.

— Я могу сказать полицейским, и они тебя вытащат.

Исидор молчит; гроза уходит. В двери туалета окошечко в форме сердца; сквозняк шевелит стопку газетных листов. У Ольги под мокрыми волосами чешется голова.

— Назови хоть одну причину, почему нельзя вызвать полицию.

— Лазарь был невиновен, но полицейские его застрелили. Я тоже невиновен, и меня тоже убьют. Вот тебе уже две причины. Если надо больше, то я покопаюсь в дерьме и, будь уверена, найду еще парочку.

Пальцы на ногах и руках у Ольги совсем закоченели, сердце превращается в ледышку. А почему бы ей здесь не остаться? Заснуть и покончить со всем раз и навсегда? Тогда мученьям сразу придет конец. Господи, почему ты бросил меня одну в темной чащобе?

— Ольга, умоляю. Помоги мне выбраться из ямы и принеси одеяло и чего-нибудь поесть.

— Тебе все равно нельзя здесь оставаться.

— Мне только ночь пересидеть. Потом мы что-нибудь придумаем.

— Я тебя ненавижу, Исидор. Тебя и твои идеи. Он, видите ли, собрался изменить мир. Высокие мечты. Ты витаешь в облаках. Почему ты не оставил нас в покое?

— Я хотел только одного: иметь достойную жизнь. Помоги мне, Ольга. Пожалуйста.

Она кладет словарь и протягивает руку в темноту. Исидор скользкими пальцами с такой силой в нее вцепляется, что чуть не стаскивает Ольгу вниз.

— Будь ты проклят, Исидор. Ты и тебе подобные, — говорит Ольга. Словарь падает в дырку, ударяет Исидора по лицу и с всплеском утопает в дерьме.

— Что это было? — вскрикивает Исидор.

Лежа в кровати, Ольга укрывается с головой, стараясь отгородиться от холода и запаха фекалий, хотя понимает: ей ни-

когда не избавиться от вони и холода; чудом будет, если она не заболеет воспалением мозга. Она отнесла Исидору одеяло и кусок черствого хлеба, спрятав их под платьем. "Что, понос разобрал?" — фыркает полицейский с брезгливой гримасой. Он, похоже, не блещет умом, но Ольгу тревожит, как бы он не собрался пойти в туалет. "Не волнуйся, они не срут там, где евреи", — успокоил ее Исидор.

Теперь Исидор восседает на толчке, как повелитель дерьма на троне, закутавшись в тонкое одеяло, и размышляет о свободном мире, где во всех домах есть канализация. "Надеюсь, в туалет мне в ближайшее время не приспичит", — пытается он шутить, но Ольге не до смеха. Она больше не будет смеяться, никогда. Она помылась в тазу, чуть ли не час терла руки, но без толку, запах фекалий, похоже, впитался во все поры.

В памяти всплывает картина: Лазарь возвращается домой с Исидором, несет три дюжины яиц в кульке из газеты, все целехоньки, ни одно не разбилось. Они осторожно выкладывают яйца в миску, продолжая спорить об услышанном на лекции Голдманихи: Исидор с нарочитым пафосом воздевает руки, Лазарь рядом с ним — вылитый только что оперившийся неуклюжий птенец.

Исидор в туалете; везде вокруг полицейские; Лазарь мертв; от меня несет говном и скорбью; гроза никак не закончится; я потерялась в чужой стране. В общем, жизнь как жизнь.

*Дорогая мамочка, не знаю, с чего начать...*

Она поворачивается на бок, просовывает правую руку под подушку; слышно, как под наволочкой шуршит солома. Исидор постарается улизнуть перед рассветом, пока все спят мертвым сном; гроза когда-нибудь закончится. Если я усну, а проснусь уже мертвой, то эта убийственная тоска навсегда оставит меня в покое.

ложь
локомотив
ломать

В морге у него было такое злое лицо, такое напряженное... Сжатые губы, тонкие как ниточка. Что его разозлило? Он рассуждал об анархии и свободе, полиции и справедливости. И об Америке. "Из-за того, что единицы владеют всем, большинство не имеет ничего. Мы — часть этого большинства, живем такой же жизнью. Знаешь, Ольга, у меня от работы немеют пальцы. Поэтому, когда я пишу, мне трудно

держать ручку. К чему бы я ни притрагивался, все на ощупь похоже на яйцо". Лазарь мечтал стать репортером в газете "Еврейское слово". Он бы разъезжал по всему миру и писал про свои путешествия. Хлеб он резал плавными замедленными движениями, словно распиливал. У него были жутко костлявые руки, а локти торчали как ощипанные кончики крыльев.

Исидор разбивает яйцо о край стола и, не пролив ни капли, опрокидывает желток с белком в рот. Проглатывает залпом, по тонкой длинной шее ходит вверх-вниз кадык. Если бы не ужасающая худоба, он был бы даже красив. Лазарь тоже пробует разбить яйцо, но только неловко размазывает его по столу.

ломать
ломоть
лопата
лотерея

В дверь стучат; Ольга вскакивает с кровати, услышав два коротких и два длинных удара — так любит стучать великий конспиратор Лазарь. Распахивает дверь; на пороге стоит, кто бы мог подумать, брат, долговязый, потрепанный, без ботинок, носки дырявые, костюм болтается на нем как на вешалке. Худющее суровое лицо расплывается в широкой, от уха до уха, улыбке. Она вскрикивает от радости и заливается слезами; крепко обнимает брата, еле доставая ему до плеча. Прижимается щекой к его груди, слышно, как стучит его сердце; одна из пуговиц отпечатывается у нее на ухе. "Где ты пропадал? — спрашивает она, почти крича. — Ты зачем играешь со мной в прятки?" Но он молчит, целует Ольгу в макушку и, отстранив, проходит в комнату. Опускается на стул, отламывает кусочек от ржаной буханки и, жуя, мрачно качает головой, словно хочет сказать: "Ты не представляешь, что мне пришлось пережить". Ольга присаживается перед ним на корточки и кладет руки ему на колени, чтобы он успокоился. "Лохмотья, лошадь, — бормочет он, глаза у него бегают, как капельки ртути. — Любовь, любопытный, люди".

ВРЯД ЛИ КТО-НИБУДЬ ВО ЛЬВОВЕ — НИ "БРАТКИ" В казино, ни официантка в кафе "Вена", навострившая уши, услышав мой допотопный украинский, ни три грации, призывно нам улыбавшиеся, — нас запомнил. Единственный, кто мог бы вспомнить, — это таксист, которого мы наняли для поездки в Черновцы. Я отправился на стоянку такси около авто-

бусной станции и завел разговор с самым молодым и здоровым на вид водителем с самой приличной машиной. Звали его Андрий, он ездил на пятнистом от ржавчины синем "форде-фокусе". На его лунообразном лице сияли по-детски распахнутые глаза — признак порочности или, наоборот, невинности, а может, и того и другого; в целом, он производил впечатление непьющего семейного человека: я заметил у него на пальце обручальное кольцо. За работу он запросил сто долларов, плюс еда и бензин; вся поездка, по его расчетам, должна занять часов пять или шесть. Я сказал, что по дороге мне хотелось бы остановиться в одной деревушке, Кроткая называется, откуда родом мой дед. "Тогда придется накинуть еще двадцатку", — сказал он. Другие таксисты, небритые и хамоватые, толпились вокруг, прислушиваясь к нашему торгу, одобрительно хмыкая; один из них попытался перебить клиента, предложив взять за работу поменьше. Андрий гневно на него посмотрел, и тот сразу ретировался.

На следующее утро, еще до рассвета, Андрий покидал наши вещички в багажник и закрепил совершение сделки крепким рукопожатием. Рора глядел на него, не снимая солнцезащитных очков: очевидно, предрассветный Львов слишком слепил глаза. Я сел спереди и стал пристегиваться, как вдруг Андрий схватил меня за руку и буркнул: "Не надо". Я попробовал объяснить ему, что всегда пристегиваюсь, не важно, кто за рулем, но он продолжал настаивать. Мне ничего не оставалось, как вверить ему свою судьбу. Рора хихикал на заднем сиденье: "Чему быть, того не миновать". — "Мне еще рано умирать", — возразил я, но пристегиваться все же не стал. В машине пахло какашками.

Мы покидали Львов по скудно освещенному шоссе. Путь лежал на восток. На выезде из города нам встретилась телега, набитая клетками с кроликами; управлял ею крестьянин с уныло обвисшими плечами, мне он показался похожим на беженца. Мимо протарахтел приземистый грузовик, оставляя за собой облако серой пыли; за нами, по всей видимости, тоже клубилась пыль; осев, она скроет наши следы.

Если бы Лазарь не умер, изменил бы он свое имя на Билли Авербаха? А его дети, стали бы они со временем Эйвери или Аверманами или, кто знает, может, даже Филдами? Нарожал бы Лазарь Филиппов и Солов, Бернардов и Элеонор, которые, в свою очередь, произвели бы на свет Джеймсов, Дженнифер, Джен и Джонов? Стыдились бы потомки Лазаря его анархистских наклонностей, его скошенного подбородка и обезьяноподобных ушей? Прятали бы они подальше от чужих глаз семейный секрет, не желая бросать тень на идею

знаменитой "американской мечты"? Много можно рассказать разных историй, да только не всем можно верить.



Рэмбо нравилось возить Миллера по улицам Сараева. Он запрыгивал в шестицилиндровый "ауди", экспроприированный из гаража почившего в бозе парламента Боснии, и садился за руль, Миллера сажал рядом, и, не пристегнувшись, на бешеной скорости они носились по городу. Им нравилось щекотать себе нервы: машину заносило и крутило посреди мусора, трупов, разбегающихся в страхе случайных прохожих; не раз и не два она попадала под снайперский обстрел, и каждый раз Миллер засекал время. Так они перебирались из Радичевы, где находился штаб, в Ступ, к ребятам Рэмбо. "Ауди" был весь изрешечен пулями, но, как по волшебству, оба оставались целы; они дразнили смерть, получая от этого огромное удовольствие. Особенно тащился Миллер; время от времени Рэмбо давал ему порулить, и тогда Миллер чуть не терял сознания от подскакивающего уровня адреналина в крови. Ездили они и по ночам с выключенными фарами; Рэмбо уверял: он настолько мастерски водит, что может делать это с закрытыми глазами. Впрочем, езда на машине по ночному Сараеву мало чем отличалась от езды вслепую.

Однажды Рора оказался в Сконе, на юге Швеции, и там ему привелось сыграть в джин-рамми с одним человеком, который, узнав, что Рора приехал из Сараева, ужасно воодушевился. Настолько, что позволил Роре ободрать себя как липку. Потом он повез Рору к себе домой на громадном "бентли" с сиденьями из нежнейшей кожи — казалось, в машине слышны вздохи призраков телят, пущенных на заклание. Этот богач сказал, что хочет показать Роре одну вещь. Он коллекционировал старинные автомобили: были у него и "форды-Т", и несколько нацистских "фольксвагенов", и "бугатти" в отличном состоянии. Роре же он хотел похвастаться другим: на стене гаража, подсвеченные, как иконы на алтаре, висели рулевое колесо и медная труба — когда-то с помощью таких труб сидящие сзади пассажиры общались с водителями. Эти руль и труба являлись частями автомобиля, в котором в Сараеве в 1914 году погибли эрцгерцог и его супруга: с этого началась Первая мировая война, а ее самой первой жертвой стала беременная эрцгерцогиня. Владелец коллекции был сильно пьян и вдобавок под сильным впечатлением от внушительного проигрыша; он возбужденно рассказывал Роре, как на этот самый руль градом лился пот с лица шофера, как эрцгерцог испустил последний вздох, как гортанные немецкие согласные навсегда застряли в переговорной трубе. Ничтожные ме-

лочи — вот все, что осталось от человека, который должен был стать императором. "Последним к рулю империи прикоснулся до смерти перепуганный безымянный шофер, решивший, что во всем обвинят его", — сквозь слезы сказал коллекционер. (Я невольно бросил взгляд на руки Андрия, крепко вцепившиеся в руль "форда"; костяшки двух пальцев на левой руке у него были разбиты — скорее всего, в результате разборок с конкурентами.) По мнению Роры, шведа облапошили, ведь подобных подделок — пруд пруди; сам Рора знавал в Берлине одного портного, который специализировался на пошиве старой военной формы, а в Милане был один умелец, подделывавший любовные письма шестнадцатого века. В Амстердаме, по слухам, жил кузнец, занимавшийся изготовлением древних самурайских мечей. Но Рора не захотел разочаровывать своего случайного знакомого — каждый верит в то, во что ему необходимо верить.

А вот взять, например, Рориного дядю, Мурата: как-то раз он беспробудно пил с приятелями накануне путешествия в Мекку, на хадж. Он проспал и пропустил самолет, а когда проснулся, мучаясь от похмелья, вышел на улицу и взял такси. На вопрос водителя, куда ехать, дядя ответил: "В Саудовскую Аравию". Шофер доставил его в Мекку; дорога заняла несколько дней. Когда приехали, дядя Мурат решил, что негоже отправлять шофера домой одного, оплатил его гостиницу и еду, и они вместе молились в мечети Каабба. На обратном пути они купили по дешевке ковры в Сирии и фарфоровые кофейные сервизы в Турции, потом все это перепродали в Сараеве и даже не остались в накладе.

Рориным историям не было конца. Раньше я никогда не слышал, чтобы он так трещал без умолку; скорее всего, на него подействовало раскинувшееся вокруг безлюдное, покрытое свежей зеленью пространство. Время от времени он, словно бы нехотя, щелкал фотоаппаратом, не прерывая, однако, своего рассказа. Даже Андрия, казалось, заворожил Рорин голос, лившиеся плавным потоком мягкие славянские звуки. Мне очень хотелось записать некоторые истории, но "форд-фекалис" прыгал по колдобинам, а когда Андрий, не обращая внимания на встречные машины, лихо обгонял грузовики, я и вовсе бился головой о боковое стекло.

Я тоже когда-то рассказывал Мэри разные истории: про свое детство и про случаи из иммигрантской жизни, услышанные от других. А потом мне это надоело: я устал рассказывать и устал слушать. В Чикаго я не раз ловил себя на мысли, что скучаю по сараевскому стилю повествования: зная, что внимание слушателей удержать непросто, сараевцы старают-

ся все приукрасить, преувеличить, а порой и изрядно приврать. Вот тогда ты попадаешь к ним на крючок и слушаешь, разинув рот, готовый в любой момент разразиться смехом, ни на секунду не усомнившись в правдивости их историй. К тому же рассказчики соблюдают некий код солидарности: не перебивай человека, если другим слушателям его рассказы нравятся, иначе в будущем тебе это аукнется. Такого понятия, как "что-то я сомневаюсь", не существует, ведь никто и не надеется услышать правду или получить достоверную информацию, самое большее, на что можно рассчитывать, — это почувствовать себя участником истории и потом при случае рассказать ее от своего имени. В Америке же все по-другому: в обществе непрерывного поголовного затуманивания мозгов люди жаждут правды и только правды; неслучайно, самая большая ценность здесь — реальность.

Однажды мы с Мэри были в Милуоки на свадьбе ее двоюродного брата. Он работал в администрации губернатора Висконсина; за нашим столом сидели еще три пары, так или иначе участвующие в политической жизни штата. Как это часто случается на свадьбах, все принялись вспоминать судьбоносные встречи со своими будущими супругами: Джош и Дженнифер познакомились в спортивном клубе; Джен и Джонни сошлись еще в университете, потом расстались и встретились несколько лет спустя: как оказалось, они трудились в одной и той же адвокатской фирме; Сол и Филипп "нашли" друг друга на вечеринке в древнеримском стиле (форма одежды — тога) около бочонка с "миллер лайт". Все пары так и светились счастьем, сразу было видно, что им предстоит всю жизнь вкушать только сладостные деликатесы и никакой тебе "трески в соусе из тоски".

Я решил тоже внести свою лепту в общую копилку и описал им эпизод из жизни кроликов в годы "холодной войны". Мне эту историю рассказал Рора по возвращении из Берлина. "По обеим сторонам Берлинской стены, — начал я, узурпировав его авторское право, — тянулись заросшие по колено травой минные поля. Немудрено, что там развелось огромное количество кроликов: на минах подорваться они не могли — слишком легкие, и ни одного хищника вокруг". Во время брачного периода ошалевшие от вожделения кролики, учуяв самок по ту сторону стены, как безумные, издавая жалобные стоны, отчаянно пытались найти хоть какую-нибудь щель в стене. Кролики доводили пограничников до белого каления, но стрелять по животным строго воспрещалось — надо было беречь пули для перебежчиков из числа хомо сапиенс. Всем в Берлине было известно, что весна — са-

мое плохое время для побега: озверевшие из-за кроликов пограничники стреляли без предупреждения.

Сколь ни ужасна была эта история, я всегда находил ее очень смешной и пикантной: тут тебе и дикая "холодная война", и любовь, не ведающая границ, и падение Берлинской стены под напором сексуально озабоченных грызунов. Мне не пришлось прилагать особых усилий, чтобы поверить в правдивость этой истории; я высоко оценил красочность Рорино рассказа. Но слушатели в Висконсине застыли с недоуменными улыбками на лицах: история закончилась, а шутки под занавес они так и не дождались. Тут Мэри сказала: "Верится с трудом". Я сразу почувствовал, что она расстроилась и обиделась. Понятно почему: я не захотел рассказывать, как мы с ней познакомились и полюбили друг друга (шуршащий под ногами песок на пляже, дрожащие отражения чикагских небоскребов на поверхности озера, волны, лениво накатывающие на волноломы). И все же это крайне унизительно, когда собственная жена прилюдно выражает тебе недоверие. Потом Джош спросил: "А почему кролики не могли найти себе партнеров на своей территории? Почему их интересовали только те, за стеной?" Что я мог сказать ему в ответ? Мне даже в голову не пришло задать Роре подобный вопрос; а сейчас история развалилась, не выдержав столкновения с американской практичностью. Но хуже всего было то, что Мэри осталась за выросшей между мной и всеми прочими стеной, разделившей нас на два лагеря: в моем лагере царил вымысел, в ее — подтверждаемая фактами реальность. После того случая я не мог себя заставить рассказывать истории в ее присутствии.

Рора умел зажечь слушателей, доказательством тому — мой безоговорочный многолетний интерес к его легендарным приключениям, не ослабевший и в этой нашей поездке. Рора умело управлял моим вниманием: держал в напряжении, то чего-то недоговаривая, то пускаясь в пространные отступления, изучая по лицу мою реакцию, проверяя, смешно мне или нет. Что и говорить, приятно, когда тебя высоко ценят как слушателя. Я тоже был неплохим рассказчиком, но мне мешал страх перед аудиторией, боязнь недоуменных взглядов.

Впрочем, вернемся к нашему путешествию. По дороге, петляющей среди неглубоких лощин, беззубый старик вел на веревке пузатую злобную козу. Андрий притормозил и спросил у него, как доехать до Кроткой. Старик молча махнул рукой в сторону невысокого холма, и мы стали подниматься наверх. На вершине холма стояло похожее на школу здание; на полях вокруг цвел клевер; утиное семейство вперевалку ковыляло к луже. Школа стояла заколоченная; у крылатой ста-

туи в честь победы в давно всеми забытой войне было отбито одно крыло. Напротив виднелось сельское кладбище; ворота отсутствовали. Именно там мы и высадились. Рорины блестящие, возможно итальянской работы, черные туфли выглядели весьма нелепо на пыльной дороге; он наклонился, выковырял камешек из кожаной подошвы и, отдавая дань суеверию, бросил его за левое плечо. Похоже, наше появление не на шутку всполошило птиц — они хором оглушительно защебетали, возвещая о прибытии трех незнакомцев.

Я не знал никаких Бриков родом из Кроткой; семейные предания сохранили только образы идиллических украинских пейзажей: ни людей, ни имен в них не было. Так описывал эти края дед, уехавший отсюда в девятилетнем возрасте. В поисках могил своих родственников я пробирался по запущенному кладбищу. Некоторые надгробия выглядывали из высокой травы, другие целиком заросли колючим кустарником; повсюду витал дух смерти. Попадались и свежие надгробные плиты, мрамор еще не успел потемнеть. На некоторых были желтоватые портреты покойников, а под ними — имена и даты: Олександр Пронек, 1967—2002, Оксана Мыколчук, 1928—1995. Вся жизнь — черточка между двумя случайными числами. "Хойди-хоть, хайди-хать, не хочу умирать".

— Это не твои? — спросил вдруг Рора, указывая на могилу под деревом, усыпанным спелыми красными вишнями. На памятнике было два портрета; женская голова в траурном обрамлении платка, с черными провалами глазниц. Халина Брик; судя по датам — 1922—1999 — она давно уже пребывала на том свете. Мужчину звали Мыкола Брик; он родился в 1922 году, а умер, постойте-ка, совсем недавно — после черточки значилось: 2004. С его стороны могила была засыпана пожухлыми цветами, а портрет еще не пострадал от дождей и птичьего помета. — Он точно твой родственник. Вылитый ты, — сказал Рора. Что правда, то правда, сходство было, с поправкой на разницу лет годков этак на пятьдесят: такой же большой нос и низкий лоб, широкие скулы, оттопыренные уши, кустистые брови.

Человеческое лицо — набор многих лиц; некоторые достались нам по наследству, какие-то мы приобрели в течение жизни или сами для себя придумали; беспорядочно наложенные одно на другое, они сливаются в единое целое. Когда я преподавал английский как иностранный, у меня были студенты, каждый день приходившие с новыми лицами. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы запомнить их имена. Со временем, найдя правильный ракурс, я научился распо-

знавать истинное лицо под маской мимолетных гримас, видеть человека, каков он есть, а не каким хочет казаться. Иногда мои студенты напяливали маску "настоящего американца": брови домиком и искривленный от постоянной озабоченности и восхищенного удивления рот. Мэри, кстати, никогда не видела моего настоящего лица, поскольку представления не имела о том, как я жил в Боснии, что́ помогло мне стать тем, кем я стал, с чего все началось. Ей было знакомо лишь мое "американское" лицо, приобретенное в результате неудачной попытки стать совсем другим человеком. Уж не знаю, какие потусторонние силы помогли Роре углядеть сходство между мной и портретом на надгробном памятнике, но считать приятеля психом тоже не было резона. В моих жилах, вполне вероятно, текла кровь Мыколы Брика, а его дух поселился в узком пространстве между мозгом и надбровными дугами задолго до того, как я появился на свет. Выбирать, на кого быть похожим, нам не дано, как не дано, например, контролировать эхо.

У меня в голове все время крутился вопрос, на который я не мог найти ответа: что думает Рора про мир украинских крестьян с его рутиной и непонятными тяготами. Сам Рора был потомком братьев Халилбашичей: еще в XVI веке они боролись с братьями Моричами за контроль над Чаршией: про те кровавые уличные бои сложены песни. Его прадедушка и прабабушка чуть ли не первыми в Сараеве обзавелись автомобилем; его двоюродная бабушка стала первой мусульманской женщиной в городе, надевшей брюки, и на свои деньги опубликовала сборник любовной поэзии. Рорин дедушка выписывал себе костюмы из Вены, несколько раз совершал хадж, неизменно останавливаясь на отдых то в Ливане, то в Египте, то в Греции. Мир всегда был открыт для семьи Халилбашичей. А мой дед вырос в боснийской провинции, в глинобитном доме, где семья жила бок о бок с курами и коровами, но даже это казалось роскошью по сравнению с тем, как жили родители деда в Кроткой; сам он выходил из дома только в церковь. Никто из Рориных родственников не испытал на себе тяжести крестьянской работы на бесплодной земле; никому из них не забивалась под ногти грязь; в Сараеве одна из улиц названа в их честь. Что видел Рора, глядя на эти могилы и на жалкие посевы запоздалой кукурузы вокруг? Рора курил, около нас, казалось, все замерло, если не считать заполошных птиц в кронах деревьев. Андрий, не проникшись значительностью момента, спал в машине сном младенца.

Насколько же проще иметь дело с мертвыми, чем с живыми. Покойники не стоят у тебя на пути, они всего-навсего ге-

рои из рассказов о прошлом, с ними не бывает недомолвок и недопонимания, если они и причиняют тебе боль, то с ней легко справиться. И оправдываться перед ними и что-либо объяснять не надо. Они тебя не могут видеть, а ты их можешь: у Мыколы был острый подбородок, Халина шаркала варикозными ногами, идя к печке, чтобы разогреть недельной давности хлеб. Великолепные храмы были воздвигнуты в святой вере, что смерть не стирает оставленных умершими следов, что там, наверху, в небесной канцелярии, кто-то ведет счет и собирается послать вниз мистера Христа или другого лжемессию, чтобы воскресить всех, ушедших в небытие. Обещано, что, даже если последний твой след навсегда исчезнет с лица земли, Господь тебя не забудет и в перерыве между сотворением вселенных уделит тебе чуточку внимания. И вот они лежат бок о бок, Халина и Мыкола, у меня под ногами, медленно, но верно превращаясь в прах. Я было подумал, не зажечь ли мне свечки за упокой моих дальних родственников, упрятанных в деревянные ящики, обреченных пребывать там до скончания века, а тем временем корни вишни будут прорастать сквозь их пустые глазницы.

Рора втоптал сигарету в землю и сказал:

— У меня был знакомый в Сараеве по прозвищу Вампир, этот умник придумал трахаться со своими девками на Кошевском кладбище. Он решил: там чисто, никто не побеспокоит, девчонка от страха к нему покрепче прижмется, да еще свечки всегда горят — то, что надо для особо романтичных. Както раз, когда они уже управились и приводили себя в порядок, перед ними вдруг выросли двое полицейских и спросили: "Вы что тут делаете?" Не моргнув глазом, Вампир соврал, что они пришли навестить могилу дедушки. "Это какая же из них?" — поинтересовались полицейские. Вампир показал на одну из могил; полицейские к ней подошли, а на надгробье написано, что там захоронена двадцатипятилетняя женщина. "Ты не ошибся?" — спросили полицейские. А тот посмотрел на них и говорит: "Я в шоке, господин офицер. Кто б мог поверить, что дед был такой врун".

Горячие лучи солнца чуть не прожгли мне грудь, и я проснулся. Все окна в "форде-фекалисе" были намертво закупорены, ни малейшего намека на свежий воздух. Теперь к запаху дерьма прибавился еще и сигаретный дым — Андрий дымил как паровоз; впрочем, моя вина — я не спросил про кондиционер, когда брал машину. Я демонстративно кашлял, но Андрий никак на это не реагировал: то ли ему было по фигу, то ли он просто не понял что к чему; его беличье лицо ничего не выра-

жало. В конце концов я робко, чтоб его не обидеть, спросил: "Нельзя ли приоткрыть окно?" Он ничего не сказал, нажал кнопку, и стекло с моей стороны опустилось до середины.

Не знаю, что на меня вдруг нашло, но я принялся ему объяснять, что в моих жилах течет еще и украинская кровь, как будто это гарантировало мне прибавку воздуха. Андрий, однако, снова нажал на кнопку, и стекло поднялось почти доверху, осталась только узкая щель. Тем не менее я продолжал рассказывать: про своих двоюродных братьев и сестер в Боснии, Англии, Франции, Австралии и Канаде; про свою жизнь в Америке, где тоже видимо-невидимо боснийцев и украинцев. Рассказал про церкви, продуктовые магазины и кредитные союзы, которые хохлы понаоткрывали в Чикаго в районе под названием "Украинская деревня". Андрий навострил уши. Спросил: "А как там насчет работы?" Я сказал, что работа найдется, было бы желание. Перечислил по очереди, где работал сам: сначала был официантом в Украинском культурном центре, затем вводил информацию в компьютер для брокера по недвижимости, потом преподавал английский. Уверял, что в Америке деньги зарабатывать легко. Мне хотелось, чтобы он думал, будто моя жизнь в Америке — не столько череда удач и невезения, сколько нескончаемый тяжелый труд.

Андрий, судя по его виду, всерьез задумался о том, как может сложиться его жизнь в Америке: вероятно, представлял, как устроится на работу, начнет зарабатывать и откладывать деньги, как купит дом; его губы искривила довольная ухмылка.

— А незамужние женщины там есть? — спросил он.

— Сколько угодно, — ответил я. — Я, например, женат на американке.

Американке до мозга костей. Она таскала меня на бейсбол и при исполнении гимна прикладывала руку к сердцу; я стоял рядом, потихоньку мурлыча себе под нос. Говоря про Соединенные Штаты Америки, использовала собирательное *мы*: "*Мы* не должны были вторгаться в Ирак" или "*Мы* — нация иммигрантов". Обожала чизбургеры. Джордж и Рейчел на шестнадцатилетие, как водится, подарили ей машину. У Мэри было ясное открытое лицо, у меня почему-то ассоциирующееся с бескрайним небосводом Среднего Запада. Она была расположена к людям, уверена, что всеми движут добрые намерения; она улыбалась незнакомцам; ей было небезразлично, что они думают и чувствуют. Легко смущалась; мечтала выучить иностранный язык; ей хотелось лучше понимать чужих. В Бога верила, но в церковь ходила редко.

— Там много замечательных женщин, — добавил я.

Продолжая ухмыляться, Андрий уже рисовал в своем воображении пышущую здоровьем плодовитую американку. Но потом, помрачнев, спросил:

— А как насчет проблем?

— Проблем? Каких проблем?

— Если у тебя есть семья и дом, их надо защищать. Мир сошел с ума. Гомики, озверевшие мусульманские террористы, проблемы, в общем.

Распространяться на эту тему мне не хотелось, и, повернувшись к Роре, я спросил:

— Ты что, спишь?

— Нет, я тебя слушаю, — отозвался Рора. — Думаю, через неделю смогу болтать на украинском. Может, тебе стоит сообщить ему, что я и есть та самая мусульманская проблема?

Но я не послушался его совета. Прямая дорога пролегала между холмами, казалось, они специально для нее раздвинулись. Андрий гнал, не обращая внимания на замысловатые скопления рытвин и колдобин; мотор ревел, должно быть, Андрий забыл переключить передачу. Я изо всех сил старался не думать о возможности сгореть заживо при взрыве машины. И помалкивал, чтобы не возвращаться к повернувшему в опасное русло разговору. Тучки и облака сгущались на горизонте, будто готовились к нападению. Андрий время от времени, когда какая-нибудь машина, пытаясь обогнать другую, выскакивала на нашу полосу, оглушительно сигналил, но скорости не сбавлял. Я закрыл глаза и стал сочинять письмо, которое собирался послать из Черновцов:

*Дорогая Мэри,*

*Украина – громадная, бескрайняя. Степь выглядит усталой от собственной необъятности. Человек здесь чувствует себя букашкой. Так, наверное, чувствовали себя переселенцы, достигнув прерий.*

Наконец Андрий перестал гнать, перешел на нужную передачу, "форд-фекалис" урчал и покачивался, и я, так и не досочинив письма, погрузился в сон.

Проснулся я, оттого что машина стояла на месте. Рора и Андрий курили снаружи, в кудрявом облаке дыма; Андрий надрывно смеялся, будто прочищал горло после приступа рвоты. Я услышал, как Рора сказал ему на боснийском:

— Я — мусульманин. У меня семь жен в паранджe и сорок три ребенка.

Я выбрался из машины. Мы остановились у подножия холма, на вершине которого виднелась печальная, без креста, церковь, а может, это был заброшенный монастырь. Ни одной живой души, только деревья, раскачивающиеся на ветру; местность как нельзя более подходила для возведения монастырских строений. У меня на родине монастыри были превращены в санатории для военных преступников.

— Он говорит, что он мусульманин, — обратился ко мне Андрий, давясь от смеха; похоже, решил, что Рора шутит. И покрутил рукой у себя над головой, изображая тюрбан, который Рора, будь он мусульманином, должен был бы носить.

— Чего ты ржешь? — раздраженно спросил его Рора.

— Он и вправду мусульманин, — кивнул я.

Андрий переводил взгляд с Роры на меня и обратно на Рору, продолжая хихикать и явно приглашая нас к нему присоединиться. Ветер хлестал кроны деревьев, точно учитель нерадивых учеников. Рора вытянул вверх прямую левую руку и с размаху, взревев как реактивный самолет, врезался в нее правой. После удара левая рука обвалилась, хлопнув его по бедру.

— Это я сделал, — сказал Рора; Андрий закатился безудержно-громким смехом. Не думаю, что он понял, о чем идет речь, но, ясное дело, предвкушал, как станет рассказывать друзьям про двух психов, которых возил из Львова в Черновцы.

— Моджахед, — добавил Рора, показывая на себя. — Гомик, — показал на меня. И заржал, вторя зашедшемуся в хохоте Андрию, хлопая его по спине.

— Кончай, — буркнул я.

— Мы с тобой — проблемы, — не унимался Рора. — Большие проблемы.

Андрий никак не мог успокоиться. Сев в машину, я стал пристегиваться, но наш водитель, все еще хихикая, остановил меня: "Не надо". Я демонстративно пристегнулся; улыбка сползла с его лица; потом он долго ехал молча и смотрел только на дорогу.

В изрешеченном пулями "ренджровере" Рора с Миллером исколесили всю Боснию. С некоторых пор Миллер вынужден был чаще покидать Сараево — его нью-йоркским хозяевам надоели бесконечные статьи про Рэмбо и его бравых солдат; приходилось ездить за новым материалом в Мостар, Горажде или Добой. Миллеру со всеми его мандатами, бронежилетом и рекомендациями от Рэмбо было море по колено, да и знакомые четники не раз пропускали его без проверки. Тот же Рэмбо помог Роре выправить поддельный журналист-

ский пропуск — имя там значилось немусульманское, иначе любой мало-мальски нетрезвый четник пришил бы его на месте. Однажды их с Миллером остановили на пропускном пункте рядом с Соколацем; в одном из четников Рора узнал своего довоенного партнера по покеру. Тот отрастил длинную воинственную бороду, напялил красный берет и говорил с нарочитым сербским акцентом, но Рора узнал его по глазам — он не раз пристально смотрел в эти глаза за карточным столом, заваленным валютой разных стран. Звали бывшего картежника Злоютро; и он сразу же узнал Рору. Проверил его пропуск, глянул на лицо и сурово покачал головой: мол, за дурака меня считаешь, что ли?! И спросил: "Ты, вообще, кто?" Рора мог соврать и назваться сербом, но четник знал, что это неправда; если бы Рора признался, что он мусульманин, его могли бы обвинить в шпионаже — и в том, и в другом случае ему бы не поздоровилось. И Рора сказал: "Я — игрок".

УЖЕ ПОЧТИ СТЕМНЕЛО, КОГДА ТЕЛО ЛАЗАРЯ АВЕРБАХА предают земле на кладбище для бездомных и бродяг в Даннинге. **Никто из друзей молодого человека не пришел на похороны; нет и его сестры Ольги;** присутствуют только первый помощник Шутлер и Уильям П. Миллер. **Под проливным дождем, сильно напоминающим начало библейского потопа,** завернутый в полотно труп опускают в полузатопленную могилу. Убедившись, что могила доверху заполнена комками грязи, Шутлер с Миллером в темноте, влажной и густой как кисель, бредут к автомобилю, ориентируясь на свет фар. По дороге из Даннинга домой они сочувственно обсуждают состояние здоровья главы полиции Шиппи; оба со вздохом соглашаются, что неудавшееся покушение подтолкнет его к досрочной пенсии. В машине тепло; по ветровому стеклу лупит дождь. Миллера клонит в сон, но он старается слушать, как первый помощник патетически рассуждает **о мире, противящемся порядку, и о том, что необходимо сделать сейчас или никогда, дабы уже навсегда покончить со злом.**

В пивной "Сэм Харрис" пеленой висит табачный дым; в углу бурчит и икает раскаленная чугунная печка; лампы, покрытые толстым налетом сажи, кажется, только добавляют темноты. На Уильяме П. Миллере не осталось сухого места: промокли ноги, пальто, сорочка и нижняя рубашка; даже в загнутых полях шляпы скопилась вода. Около барной стойки — двое мужчин, один из них с длинной бородой и в ермолке. По всему, человек этот не должен здесь находиться, да и салуну давно пора закрыться, рабочие часы закончились;

бармену бы сейчас самое время протирать или собирать стаканы, но и это не так: на стойке гора грязной посуды. Поглаживая остроконечные усики, бармен кидает взгляд на Миллера и указывает головой в конец зала.

Гузик ждет его в задней комнате, в неосвещенном углу, сидит у стола, крутит пухлыми большими пальцами сложенных на животе рук. Лишь подойдя поближе, Миллер замечает сидящего за столом над кружкой пива толстого круглоголового коротышку. Ничего не говоря, он к ним присоединяется; опилки, которыми посыпан пол, облепили его насквозь промокшие ботинки.

— Товарищ отведет вас, куда надо, — говорит Гузик. — Моя цена вам известна, свою он пусть сам скажет. Не говорите ничего полиции. Эта информация только для вас.

Толстый карлик молчит, только сверкают глаза, обрамленные длинные ресницами, — мальчишеское лицо, прилепленное к арбузу.

— А имя у нашего товарища имеется? — спрашивает Миллер.

— Нет. Никаких имен.

— Никаких имен, — вторит коротышка. У него высокий скрипучий голос. Миллер гадает, достает ли он ногами до пола, скорее всего, нет, значит ботинки у него чистые. Потом обращается к Гузику:

— Какие новости про Авербаха? Кто его подбил на это дело?

— Что вы такое говорите: кто его подбил. Кто его подбил на это дело? Кто знает. Он был мечтатель. Людям здесь невесело. Они не ходят в ваши районы, вы не ходите здесь. Если кто-нибудь из местных отправляется на север, начинаются проблемы.

Коротышка задумчиво качает головой, будто вспоминая, обошлось ли хоть раз без проблем, когда он бывал на севере.

— А что известно про Марона? Он из Эдельштадтовских[1]? — спрашивает Миллер.

— Марон? Марон — поганец. Любит распускать грязные слухи про хороших людей. Подлец.

— Ну хорошо, предположим. Но он — член анархистской организации?

— Анархист, не анархист. Все здесь немножко анархисты, только и знают, что кричать: нет справедливости! нет свобо-

1. Давид Эдельштадт (1866–1892) — еврейский поэт и публицист, один из классиков пролетарской поэзии на идише; в США сблизился с анархистскими кругами, организовывал анархистские группы в среде евреев-иммигрантов.

ды! ничего нет! Подите послушайте. Но убийца? Нет. Вы себе живете, и мы себе живем. Все хотят жить.

— Да, безусловно. Что еще слышно?

— Завтра приезжает Эмма Голдман. Будут собрания; за ней увяжутся всякие ненормальные; может, дойдет до стычек. Голдман сюда не за покупками приезжает. В Чикаго у Красной Эммы есть друзья. Народ здесь злой. Народ здесь затаил зло на полицию.

Коротышка трясет головой, потом опять утыкается носом в кружку. В ближайшей лампе качнулся язычок пламени, и Миллер вдруг замечает у него над верхней губой усики.

— Товарищ отведет вас на одно собрание сегодня вечером, увидите своими глазами. — Гузик хлопает коротышку по спине, будто отдавая его Миллеру в полное распоряжение.

Миллер вытаскивает из внутреннего кармана аккуратно сложенный доллар и кладет на стол. Гузик недоверчиво рассматривает купюру, словно впервые видит, потом накрывает ее ладонью. Коротышка кивает и встает: выше он от этого не становится, ну может, только дюйма на два.

— Еще? — спрашивает Миллер.

— Может быть, — отвечает Гузик.

Миллер достает еще один доллар и кладет на стол рядом с первым. Спрашивает:

— Ну а теперь как?

— Есть люди, которые имеют бизнес со студентами-медиками. Студентам надо учиться. Если они хотят учиться, то им нужны мертвые трупы. Трупы — дело не дешевое. Но на кладбище много бесплатных трупов. Ваш друг Авербах — мертвый труп.

— Занимательная история, — говорит Миллер. — Но вы опоздали — я пришел сюда с его похорон.

— Людям нравятся занимательные истории, — продолжает Гузик. — Кто знает, может, вы захотите навестить покойного друга, а его там уже нет.

— Я тоже люблю занимательные истории, — отвечает Миллер. — Еще один вопрос. Что вы знаете про Ольгу?

— Что за Ольга?

— Ольга Авербах.

— Зачем вам Ольга Авербах? Ольга Авербах — пустое место. Но я поспрашиваю.

— Благодарю, — Миллер встает, собираясь уходить. — Когда следующая игра?

— В понедельник, — говорит Гузик. — Может, тогда вам повезет больше. А может, вы поймете, что игра не стоит свеч.

— Что ж, до понедельника, — говорит Миллер.

**По всему городу анархисты устраивают тайные собрания, на которых они разжигают пламя яростного недовольства в надежде нарушить мир и порядок в нашем городе. Прошлой ночью один из корреспондентов "Трибюн" тайно присутствовал на одном таком бурном сборище. Оно проходило в подсобном помещении, какие имеются в обычных доходных домах на территории еврейского гетто; с самыми разными акцентами произносились пылкие речи и звучали обвинения, способные развратить умы даже самых благонадежных граждан. Ораторы клеймили различные формы якобы существующей у нас несправедливости и на все лады обсуждали высосанную из пальца проблему: "как быть, когда одни имеют все, а другие — ничего". Превозносились разные убийцы, на чьей совести смерть выдающихся президентов и королевских особ. Звучали оправдания получившего широкую поддержку в анархистских кругах поступка молодого Авербаха, покушавшегося на жизнь главы полиции Шиппи: в этой связи упоминались "страдания и ухудшение условий жизни, экономическая эксплуатация, подавление свободы государством, жестокость законов, судебные ошибки и т. д. и т. д.".**

Хотя в помещении холодно, в воздухе кипят страсти. Печка в углу давно прогорела; при каждом слове у выступающих изо рта вырывается пар, словно дымок от выстрела. Пустая, без мебели, комната забита людьми; в большинстве своем это изможденные, чахоточного вида, с усами, во влажной одежде разъяренные мужчины, от которых несет кислым запахом пота и революционным пылом. Есть также несколько женщин: на них модные шляпки и вычурные очки, но, все равно, выглядят они мужеподобными. После каждого выступления толстый коротышка, вскочив, выражает свое одобрение оратору аплодисментами и криками "браво!", словно на спектакле в опере. Вряд ли кто-либо удивился, если бы все присутствующие вдруг запели хором. Где были все эти люди, когда молодого Авербаха сбрасывали в яму? От осознания, что ему посчастливилось стать одним из немногих свидетелей погребения Лазаря, у Уильяма П. Миллера бегут мурашки по коже — а эти здесь ничего не знают ни про его смерть, ни про его жизнь. Что бы ни случилось, кто бы ни умер, им плевать, они не видят дальше собственного носа; их злоба мажет все вокруг одной черной краской, и о своем они готовы вопить на каждом углу.

У всех ораторов одни и те же жалобы и претензии; в центре этого вавилонского столпотворения время от времени звучит имя Эммы Голдман. Миллер иногда отключается, но неизменно пробуждается с появлением на сцене нового кипящего энергией оратора. Вот и сейчас один из них, бросив

шляпу на остывшую печку, воздел руки к потолку, отчего у него задрались рукава и видны оголенные запястья, и начал орать. Миллер отмечает про себя: руки тонкие, слабые — явно не занимается физическим трудом; правильный английский — все артикли на месте; речь хорошо поставлена — в отличие от типичных анархистов-недоумков.

— Многие годы, — оратор потрясает кулаками у себя над головой, — многие годы они создавали иллюзию, что в этой стране не существует социальных проблем, что в нашей республике нет оснований для конфликтов между богатыми и бедными. На крики души, на стенания несчастных и угнетенных у них только один ответ: "В нашей стране все люди свободны и равноправны". Пустые разглагольствования о политической свободе служат интересам стоящих у власти негодяев. Тех же, кто рискует разоблачать этот фарс, тех, кто борется против социального и экономического рабства, наделяют клеймом закоренелых преступников.

Миллер наклоняется к толстому недорослику, который, привстав на цыпочки и с трудом сохраняя равновесие, вытягивает коротенькие ручки для аплодисментов, и спрашивает у него:

— Кто это?

— Это Бен Райтман[1], — вскрикивает коротышка. — Необыкновенный человек. Правая рука Эммы Голдман.

Миллер сжимает плечо коротышки. На него вдруг накатывает острое желание потрогать его яйцеобразную голову, его толстый животик, ощутить исходящие от него волны жара; этот человечек просто излучает энергию. Миллер гадает, где Гузик его откопал.

— Товарищ Авербах стал жертвой тайных правителей нашей республики, — продолжает между тем Райтман, — этих жандармов и шерифов, обслуживающих господствующий класс. Движимый чистейшими побуждениями и надеждами, Лазарь Авербах сумел воспарить над нашей удушающей социальной действительностью. Повторю, движимый чистейшими побуждениями и надеждами, хотя его палачи и лживая пресса никогда этого не признают. Они из кожи вон лезут, чтобы выставить его убогой и подлой тварью; они стремятся убедить народ, будто только негодяи предрасположены к не-

1. Бен Райтман (1880–1943) — американский анархист, друг и соратник Э. Голдман; работал врачом в больнице для бедных. В 1908 г. основал в Чикаго "Школу для бродяг", где рабочим-иммигрантам читались лекции по широкому кругу проблем, начиная с философии и кончая правилами личной гигиены.

довольству. Товарищ Авербах — невинная жертва, более того, он — мученик.

"Если бы кто-нибудь сейчас пришел и сказал Райтману, что Лазарь Авербах стоит за дверью, живой и невредимый, его бы это нисколько не взволновало, — думает Уильям П. Миллер. — Он бы, как ни в чем не бывало, продолжал разглагольствовать о мученичестве Лазаря; в этом спектакле Лазарь принесет им больше пользы мертвый, нежели живой. Никому он здесь не нужен. И не только здесь".

— Сколько еще таких мучеников должны отдать свои жизни, чтобы до нас наконец дошло: мы обязаны выступить против существующих порядков со всем праведным гневом, на который мы только способны! Правители республики мобилизуют свои разрушительные силы, пишут законы, которые превратят массы людей, миллионы граждан в преступников. Мы-то знаем, что законы должны защищать интересы народа, а не помогать государству удерживать власть. Законы, цель которых — оправдывать насилие, вредны и бесполезны, как и бумага, на которой они напечатаны; их место — в мусорной корзине.

Миллер поднимается, шлепает коротышку по спине (тот в это время неистово хлопает своими похожими на плавники ладошками) и, попрощавшись с ним, уходит. **Прошлым вечером Бен Райтман, верховный жрец анархии, наглядно показал суть своих слов и поступков. Его зажигательные речи выдают всю низость его преступных планов.** "Вот про такое я люблю писать", — думает Уильям П. Миллер. **Видно, что весь этот бред рожден в болезненно воспаленном мозгу — только дегенерат станет предсказывать мировую катастрофу, которая, как он надеется, уничтожит всех нас.** "Вот про такое я не только люблю, но и отлично умею писать".

Я РАСПЛАТИЛСЯ С АНДРИЕМ И ПОЖЕЛАЛ ЕМУ СЧАСТливого пути. Он высадил нас около гостиницы под названием "Бизнес-центр Буковина", после чего, исполнив свое назначение, покинул наше повествование. Фасад гостиницы был свежевыкрашен в жуткий розовый цвет; ступени, ведущие к входу, застланы красной ковровой дорожкой, грязной до безобразия. На нижней ступеньке свернулся калачиком облезлый пес; когда мы проходили мимо, он поднял голову и принюхался, но не сдвинулся ни на дюйм, похоже, ослеп от старости.

Волоча за собой багаж, мы вскарабкались по лестнице на пятый этаж, где располагался наш номер. На каждом этаже сидела дежурная — упитанная тетка не первой свежести в си-

ней рабочей робе — и провожала нас взглядом. Наша окликнула нас и подозвала к своему столу. На диване у нее за спиной восседали три скудно одетые барышни, одинаково скрестив ноги и демонстрируя оголенные ляжки. Они, не моргая, многозначительно смотрели на нас, казалось, еще секунда — и из их уст вылетит какое-нибудь пророчество, но вдруг одна из них, сидящая посередине, пухлогубая и большеглазая, подмигнув, произнесла по-английски: "Привет!" Она безошибочно определила, что мы американцы; впрочем, и нам не составило труда определить, что они проститутки. Дежурная заставила нас подписать какие-то бумажки, а затем выдала каждому по тощему рулону розовой туалетной бумаги, по всей вероятности в награду за успешное преодоление препятствий на пути, приведшем нас на пятый этаж.

В номере воняло, и этот запах напомнил мне о том, как умирал мой дед: тогда тоже пахло смесью мочи, рвоты и старческой деменции. Я включил свет, и из центра комнаты, отмеченного темным пятном на ковре, во все стороны резво побежали тараканы. Залоснившиеся одеяла на кроватях, мятое застиранное постельное белье. В левом углу обнаружился крохотный телевизор; ослепительная белизна стен наводила на мысль, что перед нашим приходом их быстренько побелили, чтобы не было видно брызг крови. Рора отворил окно, из которого открывался вид — куда же еще! — на огромный мусорный контейнер, до краев забитый стеклянными бутылками. Я получил мимолетное удовлетворение, созерцая это блестящее изобилие. Мне всегда нравились полные мусорные баки: избавление от мусора подразумевало избавление от всего лишнего, одна только мысль об этом согревала душу.

— Знаешь анекдот про маленького Муйо? — начал Рора. — Муйо спрашивает у матери, откуда берутся дети. Она ему говорит, что надо перед сном положить немножко сахару под ковер, и на следующее утро там появится ребенок. Мол, так она его самого и нашла. Маленький Муйо насыпает сахар под ковер. На следующее утро на этом месте он находит таракана и говорит ему: "Ну ты, сукин сын, не будь ты моим братом, я бы тебя придавил".

Анекдот этот я слышал раньше; тогда он мне показался забавным. Я растянулся на кровати; Рора завладел телевизионным пультом: группа велосипедистов, взбирающихся вверх по склону холма; мужчина в сером костюме на фоне бескрайнего поля пшеницы, рассуждающий о будущем урожае; Мадонна танцует, извиваясь в объятиях партнерши — два шага вперед, один — назад; Дарт Вейдер, причитающий на церковнославянском; корреспондент Си-эн-эн Вольф Блитцер, по

своему обыкновению, демонстративно озабоченный какими-то надвигающимися маловажными событиями; сердце, пульсирующее внутри вскрытой розово-красной грудной клетки; прилично одетый тип, вещающий что-то толпе, потрясая кулаками над головой; две шлюхи в лимузине: одна развалилась на заднем сиденье, широко раздвинув ноги, другая тянется губами к ее срамному месту; клубок из ног и велосипедов при столкновении на трассе. И я, сидящий в борделе на Буковине, за тысячи миль от своей привычной жизни.

Лазарь некоторое время жил в Черновцах (тогда Czernowitz) — не считая Чикаго, это был первый город, где мы с ним встретились. О его жизни в тамошнем лагере беженцев нет никаких сведений; Czernowitz был лишь остановкой на пути из Кишинева в Чикаго. Для Лазаря — ничто, точка на карте, однако он не мог не запомнить этот город. Здесь он жил в бараке с другими евреями, бежавшими от кишиневских погромов в безопасную Австро-Венгерскую империю. Говорил с ними на русском и идише; с охраняющими лагерь австро-венгерскими солдатами — по-немецки. Вполне вероятно, что среди этих солдат были боснийцы; наверняка он восхищался их фесками, широкими лицами и яркими глазами. Именно так я себе это представлял. Иврит Лазарь практиковал в беседах с сионистами, которые собирались на нижней койке двухъярусной кровати в дальнем углу барака; там он впервые увидел Исидора, потом они встретились на собрании бундовцев, где оба подписали какую-то петицию, не особо вникая в ее содержание. На пару с Исидором он перелезал через забор и посещал казино и бордели, которых в приграничном городе было не счесть. Империя награждала своих солдат и офицеров, посылая их служить в Czernowitz, — город, славящийся распутными нравами, — перед тем как отправить в менее приятные места. Эйфория приграничной жизни; приподнятое настроение — не часто доводится пожить вдали от родного дома; никаких тебе обязательств; контрабандисты, беженцы, картежники, заговорщики и проститутки; нелегальные вылазки за границу и пьяные драки в пивнушках — это ли не Содом империи?! Здесь Лазарь впервые проиграл деньги в карты; здесь ему приснилось, что его выпороли погромщики в Кишиневе; здесь он впервые познал женщину; здесь в первый раз почувствовал себя изгнанником; здесь узнал, что человеческой природе свойственна как жестокость, так и безграничная широта. Позднее, в Чикаго, они с Исидором вспоминали Czernowitz с ностальгической нежностью; для Лазаря это было последнее место, где он еще мог рисовать в воображении восхитительные детали счастливого будущего: в каком доме они будут с Ольгой жить, какие книги он прочтет, ка-

кую найдет работу, с какими женщинами будет встречаться. Уже в Чикаго, перед тем как заснуть в промозглой комнате на Уошборн-авеню, Лазарь вспоминал высоких красивых австрийских офицеров, пьяных в стельку, с трудом державшихся на ногах, и шлюх, уворачивающихся от их объятий, чтобы ущипнуть его за щеку; вспоминал вкус сахарной ваты, продававшейся на променаде. Ему часто снилось, что все его родные и друзья собрались в одном месте, и этим местом всегда оказывался Czernowitz.

Перед сном я тоже часто предавался воспоминаниям, вернее, старался *не забыть*. Прежде чем погрузиться в дремотную безмятежность, я вспоминал отдельные моменты; проигрывал в уме разговоры; восстанавливал в памяти цвета и запахи; думал о том, каким я был двадцать лет назад или прошлым утром. Размышлять перед сном о своем месте в мире вошло у меня в привычку, стало моей вечерней молитвой.

Иногда я сильно увлекался, и тогда из реальных образов и событий рождались невероятные истории. Взять, к примеру, тот случай во Львове. Днем, выйдя из ванной, я обнаружил, что Рора успел уснуть, пока я там мучился, пытаясь помыться под еле капающей из душа водой. У Роры во сне было такое умиротворенное лицо, что он показался мне совсем другим, незнакомым, человеком. Вечером, уже засыпая, я вдруг вспомнил это его лицо, и тут же сама собой сочинилась история: в ней я проснулся в нашем гостиничном номере и обнаружил Рору мертвым. Пришлось вызывать администрацию и организовывать транспортировку тела из гостиницы и вообще из мира сего. Потом надо было позвонить его сестре, чтобы сообщить печальную новость; вот почему я стал копаться в его вещах и обнаружил поддельный австрийский паспорт на чужое имя и билет на самолет в Вену, датированный следующим днем. А когда позвонил по единственному телефонному номеру, обнаружившемуся среди его вещей, никто не ответил.

Многие из этих историй плавно перетекали в сны, отчего повествование становилось совсем уж запутанным, а сам я превращался в растерянного персонажа, увязшего в этих вымышленных событиях. Единственным спасением было проснуться, и если я просыпался, то моментально сон забывал. Лишь иногда в памяти ни с того ни с сего всплывал, словно утопленник со дна озера, какой-нибудь эпизод. Однажды я, будто наяву, ощутил тяжесть школьного ранца на спине; в нем я тащил, как щенка, военного преступника Радована Караджича.

Ритуал вечерних размышлений был бы неполным, если бы я не научился признавать свое поражение, не смирился с

тем, что все запомнить не могу — остается довольствоваться небольшими фрагментами, по которым, как я прекрасно понимал, никогда не удастся восстановить целое. Сны помогали забывать; как хлыст, подгоняющий скачущих лошадей, они подгоняли быстро несущиеся дни; помогали избавиться от накопившегося за день хлама, чтобы назавтра — при условии, конечно, что это самое завтра наступит, — было куда складывать свежие впечатления. Ты умираешь, ты забываешь, ты просыпаешься уже совсем другим человеком. Будь я Богом, то невольно задумался бы, а не грех ли вообще что-либо помнить?! Грех, конечно, хранить в памяти все упоительные моменты, когда казалось, что тебе принадлежит весь мир. Но, как все греховное, это прекрасно: песчинки с пляжа в районе Оук-стрит на языке; озеро Мичиган, меняющее цвет от темно-синего до черного как смоль, стоит только тучке закрыть луну; запах Мэри, затаившийся в изгибе ее шеи.

Снилось ли что-нибудь библейскому Лазарю, пока он лежал, погребенный в сырой пещере? Помнил ли он свою жизнь и свою смерть, все до мельчайших деталей? Помнил ли ранние утра в окружении сестер, свое пробуждение от солнечного луча, как улыбка скользнувшего по лицу, теплое козье молоко и яйца всмятку на завтрак? А после своего воскрешения, помнил ли он, как умер, или просто перешел в другой сон про другую жизнь, перебравшись в Массалию? Должен ли был он вычеркнуть из памяти свою прежнюю жизнь и начать все с нуля, как иммигрант?

Я дремал недолго, а когда проснулся, от сна, естественно, ничего не осталось. Мы с Ророй отправились на прогулку. Ему нравилось снимать при свете предзакатного солнца, а мне нравилось наблюдать, как он снимает. К вечеру стало прохладнее; здания погружались в темноту; свет в окнах еще не зажегся. Побродив полчаса, мы наткнулись на кафе "Вена", точную копию львовского: тот же выбор кофе и пирожных, такие же худенькие официантки в черных платьицах и белых передничках. Мы расположились на открытой веранде и с небрежностью завсегдатаев венских кондитерских заказали по чашке кофе.

В Сараеве тоже было свое кафе "Вена", внутри гостиницы "Европа": обитые красным бархатом кресла, роспись в стиле модерн на потолке; официанты в галстуках-бабочках с аккуратными тонкими усиками. Десятилетиями это было место ежедневных встреч патриархов почтенных сараевских семей. Обслуга знала вкусы своих клиентов и почтительно исполняла все их желания. На чашечку кофе с куском торта "Захер" или стаканчик шнапса в кафе "Вена" можно было

пригласить только будущую невесту; или, наоборот, она могла позвать тебя для знакомства с родителями, завсегдатаями этого заведения, что доказывало их "благородное" происхождение: не какие-нибудь выходцы из крестьян, а потомки семьи, владевшей половиной города еще во времена Османской империи. Кафе было уничтожено вместе с самой гостиницей в первые месяцы войны — два попадания ракетами, и всё; я оплакивал за океаном эту потерю.

Рорин *дедо* — дедушка — тоже был постоянным посетителем кафе "Вена". Выпить там утром чашечку кофе стало для него своего рода ностальгическим ритуалом, ведь он провел в Вене молодость. Семья послала его учиться на архитектора, но он предпочел вкушать радости жизни вдали от родной Боснии, глухой имперской провинции, где газеты печатали рецензии на венские оперные премьеры и капельмейстеры одевались а-ля Малер, однако еще многие женщины закрывали лица чачваном, а родственники дружно мечтали женить тебя на троюродной сестре с кроличьими зубами, от которой ты старался держаться подальше, с тех пор как научился ходить. Девушки в Вене считали Рорино *дедо* с его мелодично-мягким произношением и вишневой феской ужасно экзотичным и привлекательным. Распущенные студентки с отделения изящных искусств, горя желанием все-все узнать про его сказочную родину, усаживались к *дедо* на колени и, как шаловливые котята, играли с его кудрями и кисточкой фески, а он тем временем писал нарочито жалобные письма домой, сетуя, что Вена его испугала и ошарашила, что он сплоховал и сильно ошибся в денежных расчетах и что без родительской помощи ему не выжить в дебрях имперской метрополии. Закончив письмо, он заказывал шнапс для студентки-художницы и ее подруг. "Он бы навсегда остался в Вене, — сказал Рора, — если бы одну из них не обрюхатил". Пришлось удрать в Сараево; вынужденно вернувшись в родной город, *дедо* запил от хандры, но вскоре женился и занялся семейным бизнесом; но тут грянула Первая мировая. Распад империи *дедо* пережил тяжело, словно смерть родного отца. До конца своих дней он регулярно посещал кафе "Вена"; персонал обращался к нему не иначе как "герр Халилбашич". У него была привычка в середине фразы вставлять немецкие слова — *шнапс, швайн, майн готт*, от которой он не отказался даже в последние годы, хотя и проводил все время за чтением Корана и молился по пять раз на дню. *Дедо* так и не смог примириться с гибелью империи, его, по собственному признанию, первой любовью.

Любовь — вот что я испытывал к Мэри, когда она повезла меня в Вену отпраздновать вторую годовщину нашей свадьбы,

всего за несколько недель до терактов в Нью-Йорке. Она зарезервировала дорогой отель с золотой лепниной на стенах и потолках, нашла в Гугле лучший ресторан в городе, купила мне новый костюм, а себе — красивое красное платье для торжественного ужина. После ужина мы, держась за руки, бродили по Вене; теплые руки, прохладный вечер, яркие фонари. Я рассказывал ей про свою семью, про империю, про то, как мои предки попали в Боснию; она это слышала раньше, но в тот момент мне казалось, что все вокруг подтверждает правдивость моих рассказов. Вот теперь Мэри должна поверить, что у меня была своя жизнь, а у моей семьи — своя история, и что наши жизни были неразрывно связаны с могучей и по-матерински заботливой — неважно, что ее уже не существует, — империей. Мы шли по главной улице города, не помню ее названия, где на каждом шагу были ультрасовременные магазины (не будь Мэри так увлечена моим рассказом, она наверняка бы ими заинтересовалась), как вдруг, словно по волшебству, услышали ангельский голос, исполняющий украинскую песню — ее любил петь мой дед. Певец, судя по всему, был обучен вокальному мастерству: он умело округлял губы и профессионально управлял дыханием; но он был слепой и держал перед собой длинный белый посох, будто какой-нибудь библейский персонаж. Рядом стоял небритый мужичок в грязнущем клетчатом свитере: он рыскал глазами по толпе, следя, чтобы ни одна монетка не исчезла из шляпы. Душераздирающе грустная песня называлась "Ридна маты моя". Мы с Мэри стояли и слушали, крепко сцепив руки, словно хотели слиться воедино, стать одной плотью. Мэри поцеловала меня в щеку и в шею, и я почувствовал присутствие всепроникающей любви: все вокруг было пронизано теплым чувством ко мне, Мэри не могла этого не заметить.

На улицу влетел громадный, с тонированными окнами, "мерседес"-внедорожник и, резко затормозив, остановился перед верандой кафе. Первым вышел дюжий водитель в черных очках, с осиной талией, накаченными ручищами, смахивающими на ноги страуса, и угрожающе раздвоенным подбородком. Он открыл заднюю дверь: оттуда показались небольшого размера кожаные туфли, затем короткие ноги в белых джинсах и крепко сбитый торс олимпийского борца. На поясе у этого типа висела кожаная сумка с мобильником, напоминающая кобуру с маузером на боку у советских комиссаров. Он плюхнулся на стул, вытащил телефон и швырнул его на столик, словно собираясь приступить к допросу, а потом застыл в излюбленной позе славянских мужчин: одна рука лежит на бед-

ре, почти в паху, другая свисает с края стола, готовая к удару. Окинув взглядом посетителей, он позвал официантку; та мигом явилась на зов. Он отрывисто что-то заказал и тут же уткнулся в мобильный; по телефону говорил короткими резкими фразами, всем своим видом давая понять, что время — деньги и ему, такому крутому бизнесмену, если кто-то еще не понял, не пристало тратить его впустую. Водила облокотился на машину и закурил.

Все вокруг заметно оживились, если не сказать возбудились, от возможности увидеть, как заключаются криминальные сделки; откровенно глазеть народ побаивался, но и пропускать такое зрелище не хотелось. Бизнесмен стал центром всеобщего внимания; тупой бодигард, его ангел-хранитель, воплотился в образ стража границ владений босса. Я то и дело поглядывал в его сторону, желая запечатлеть в памяти грозно насупленные брови над крохотными глазками, злобно и презрительно раздувающиеся ноздри, волосатые руки, широко расставленные ноги, которые он, похоже, сдвинуть не мог — ему мешали или висящий на поясе ствол, или восставший член, а может, и то, и другое. Рора невозмутимо пил кофе и курил, не убирая "Canon" с колен, словно не существовало никакого бизнесмена, по-русски отдающего начальственные распоряжения в трубку, и не было рядом облокотившегося на машину бдительного головореза.

— До чего же гангстеры, — начал Рора, — повсюду одинаковые: та же самодовольная ухмылка, тот же мобильник, тот же громила-охранник... В Сараеве перед войной жил один такой, звали его Псето. Занимался рэкетом. У него была команда, в том числе несколько полицейских; они выбивали деньги из владельцев торговых точек, если кто-то отказывался платить за "крышу". Сам он держал ювелирный, чтобы отмывать деньги; иногда нацеплял на себя чуть ли не весь ассортимент. Идет себе, бывало, весь в золоте и бриллиантах, по Ферхаджа[1] вальяжной походочкой сараевского бандюка, а народ уважительно уступает ему дорогу. (Я так и вижу, как Псето поводит плечами и крутит головой, выпячивая губы, показывая, кто в городе хозяин.) Если заходил в бар, хозяин обязан был выставить всем бесплатную выпивку, будто пожаловал сам король. Местом для своего штаба Псето выбрал кафе "Дюл-башта" (я прекрасно помню, где оно находится); владелец был на седьмом небе — такого покровителя еще поискать! — да только клиенты, кроме Псето и его людей, пере-

1. Центральная пешеходная улица Сараева.

стали там бывать. Псето выдрессировал хозяина: тот приносил ему кофе по-турецки каждые полчаса, ни минутой раньше, ни минутой позже; так он и сидел целый день и пил кофе. Как-то раз заставил провинившегося полицейского отсосать ему. В другой раз, когда какой-то наивный журналист написал о сговоре между полицией и Псето, тот послал за ним своих головорезов: они притащили беднягу и привязали к дереву перед кафе. Псето приставил ему пистолет к виску и приказал гавкать; несчастный прогавкал целый день, ему бросали остатки пиццы и заставляли приносить палку.

Однажды, перед самой войной, Рэмбо пришел к Псето, вытащил ствол и застрелил его без предупреждения; Псето так и не успел допить очередную чашку кофе. Он умирал, а кофе капал у него изо рта; Рэмбо сел за соседний столик и заказал себе двойной эспрессо, слегка разбавленный молоком.

В нашем убогом гостиничном номере Рорина история никак не шла у меня из головы. Заснуть (после нескольких галлонов выпитого кофе!), чтобы превратить эту историю в сон, я не мог. Рора, естественно, спал как младенец — ни кофе, ни сны-воспоминания ему не мешали. Я попереключал каналы: посмотрел недолгое время порнушку — языки и члены крупным планом, затем передачу по Си-эн-эн про очередного террориста-смертника в Багдаде и закончил мировым чемпионатом по покеру. Признаться, меня возбудил бездушный оральный секс по телевизору почти так же, как описанный Ророй чудовищный мир, где беззаконно правит триумвират насилия, инстинкта выживания и алчности. Рора бывал в этом мире, возможно даже чувствовал себя там своим, и, стало быть, я тоже был оттуда недалеко. Вот где, вероятно, поистине свободная земля. Там я мог бы жить, как захочется: не надо жениться, я никому ничего не должен, могу тратить Сюзин грант, уйму разных грантов на свои удовольствия. Там можно забыть про данные обещания и взятые на себя обязательства: мне ведь будет все равно, кем я был, а стать я могу, по своему выбору, кем угодно. И делать все, что мне вздумается. Короче, жить ради себя любимого.

И тут к нашему порогу прибыл вестник из этого самого мира: услышав робкий стук, я встал и наполовину приоткрыл дверь, спрятав за створкой эрекцию. На пороге стояла миловидная проститутка. У нее были красивые глаза и неестественно-длинные ресницы, высоченные каблуки и глубокое декольте. Призывно выпятив пышный бюст, она потянула вниз кофточку, отчего оголились грушеобразные груди с набухшими сосками, и сказала по-английски: "Любовь". У меня мелькк

нула мысль: "Вот тебе, пожалуйста, а почему бы и нет?" — но после минутного колебания я отрицательно помотал головой и захлопнул дверь.



Я еще не созрел для того, чтобы получать от жизни удовольствия за счет других — и уж во всяком случае не за счет Мэри, не за счет этой несчастной шлюхи, которой, скорее всего, здорово достанется от сутенера за то, что упустила ниспосланного Богом американца. Не поймите меня неправильно, ничто человеческое мне не чуждо. Но каждый раз, оказавшись перед выбором — предаться плотским утехам или сохранять непоколебимыми нравственные устои, — я в нерешительности застывал на моральном распутье, отказывая себе как в первом, так и во втором. Именно по этой причине (в чем я никогда не признаюсь ни Мэри, ни другой живой душе) я ощущал острую необходимость написать книгу про Лазаря. Книга помогла бы мне стать иным человеком, способным разрешить моральную дилемму и выбрать один из двух возможных путей: или заработать себе право на сексуальные утехи (и деньги, поскольку это удовольствие не из дешевых), или приобрести пропуск в стан праведников, подвергнув себя изнурительному процессу самокритики и самореализации.

Меня бросало из одной крайности в другую, Мэри тому свидетель; с высоты своей стерильной американской порядочности она наблюдала за моими мучениями. Ей хотелось, чтобы я, избавившись от своих комплексов, бодро поднимался по лестнице, ведущей к нравственным высотам, но каждый раз я спотыкался на очередной скользкой ступеньке. Моя жена проявляла ангельское терпение и не требовала показывать ей мои сочинения, не злилась, что я отказываюсь с раннего утра заниматься поисками приличной работы. Обнаружив в моем компьютере куки с различных порносайтов, она, естественно, негодовала, но и мысли не допускала, что я бегаю на сторону или — в качестве эксперимента — заведу себе постоянную любовницу. Мэри спокойно относилась к моему отвращению к религии, точно так же, как ее не волновало мое безразличие к детям и украшающим дом безделушкам. Зато всерьез ее беспокоила моя неспособность понять, что цель нашего брака — создание гармоничного союза, в идеале приводящего к единению душ, а не только тел. На этом поприще я, прямо скажем, не надрывался (даже, признаться, прибавлял в весе), но Мэри проявляла чудеса стойкости и терпения. Честное слово, я хотел быть идеальным мужем и я любил свою жену, которая ради семейного счастья трудилась не покладая рук, но вместе с тем не переставал думать о воз-

можностях, существующих за рамками брака. Вот если б можно было отказаться от стремления к совершенству и переключиться на простые человеческие радости...

Однажды Лазарь и Исидор отправились в бордель: мать прислала Лазарю немного денег, а Исидор убедил друга потратить их на потерю невинности. Они пошли в заведение мадам Мадонской; хозяйка ущипнула их за щеки; оба залились краской, а девочки захихикали. Исидор выбрал самую пышнотелую, и они ушли на второй этаж, бросив Лазаря в окружении щебечущей стайки шлюх, пока, наконец, одна из них не взяла его за руку и не повела к себе. Лазарь онемел от страха, в горле у него пересохло. Девушка сказала, что ее зовут Лола; у нее была крохотная полуслепая собачонка, которая при виде Лазаря зашлась в истерическом лае. Пока Лазарь раздевался, собачонка обнюхала его ноги; он расплакался.

Я выключил телевизор и прислушался к Рориному дыханию — в голове возник образ бьющихся о берег волн. На улице разговаривали и хихикали мужчина и женщина; кажется, они на что-то наступили. Залаяла, а затем завизжала собака; послышался звон и треск стекла. Рора даже не шелохнулся; женский голос задрожал от радости. Собака то выла, то визжала, то гавкала — и все это под громкий хруст бьющегося стекла; псина жалобно лаяла еще довольно долго, но постепенно затихла, только иногда тихонько скулила. Парочка закинула несчастное животное в мусорный бак со стеклянными бутылками и, похоже, еще постояла рядом, наблюдая, как собака там вертится, калеча себя острыми осколками, из последних сил стараясь выбраться из бака.

**КРАСНОЕ ЗНАМЯ АНАРХИИ БЫЛО ЗАКЛЕЙМЕНО ПОЗОРОМ В ПРОЗВУчавших вчера по всему Чикаго проповедях. Возмущенные покушением, совершенным русским евреем-террористом на главу полиции Шиппи, служители веры, представители различных конфессий, осудили условия, которые привели к опасному росту анархистских настроений. В числе причин были, в частности, названы: российский царь, непозволительно мягкое иммиграционное законодательство, чудовищное невежество иммигрантов низших сословий, их врожденная леность и умственная отсталость, столь часто встречающаяся в странах, откуда они прибыли, вкупе с пагубным влиянием алкоголя, азартных игр и идеологии атеизма.**

**Раввин синагоги на пересечении Индиана-авеню и Тридцать третьей улицы, Тобиас Клопшток, яростно обрушился на анархизм и осудил нечестивое поведение его сторонников. "Дух анархии разрушителен, он подрывает целостность нашего государства, — заявил раввин Клопшток перед многочисленной еврейской общи-**

**ной. — Стоит ли удивляться, что глава полиции Шиппи, один из самых ярых противников анархистского голема, стал мишенью анархистов. Мы знаем: пришло время их остановить, чтобы Америка, страна свободы и независимости, не скатилась в пучину безбожия и беззакония. Мы, евреи, граждане этой свободной страны, должны присоединиться к братьям-христианам, дабы всем вместе противостоять распространению вредных революционных учений на американской земле".**

**Отец Джордж Филд с амвона собора Святого Воскресения с горечью говорил о варварском невежестве недавно прибывших иммигрантов: "Очутившись на этих берегах, многие из них попадают в дьявольскую западню анархизма, из которой им самостоятельно не выбраться. Души тех, кто отталкивает руку Господню и отвергает помощь Америки, будут загублены, если только мы не спасем их своей суровой христианской любовью. Давайте же помолимся о душе Лазаря Авербаха в надежде, что он воскреснет во Христе, как когда-то воскрес его тезка".**

Уже почти полдень, когда Ольга, прихрамывая, подходит к дверям Главного полицейского управления Чикаго. Стоящие у входа полицейские усмехаются и отпускают сальные шуточки в ее адрес: посмотрите, мол, на эту грязную потаскуху, потеряла каблук, раззява. Ольга заявляет старшему сержанту Маллигану, что желает поговорить с первым помощником Шутлером. Сержант разражается смехом и спрашивает: "И кто же ты такая, детка?" Уильям П. Миллер, который болтается в управлении в расчете на получение сенсационной информации, мигом замечает, что она в ужасном состоянии; семитские черты лица искажены беспредельным страданием, оливкового цвета кожа посерела от горя — когда-нибудь ее народ сложит про нее песни. Миллер шепчет что-то Маллигану на ухо, тот качает большой квадратной головой, морщит криво сросшийся сломанный нос. Ольга настаивает на своем — ей необходимо увидеться с Шутлером, а Миллер уже открывает блокнот и привычным жестом, как расческу, вытаскивает из внутреннего кармана вечное перо. Ольга Авербах — **упрямая страдающая еврейка, персонаж трагедии** — наверняка кладезь прелюбопытных историй. С чарующей улыбкой он вызывается отвести ее в кабинет Шутлера, но она даже на него не смотрит. "Не помешало бы вам помыться, мэм, — шипит ей в спину Маллиган. — От вас разит дерьмом".

Прошлой ночью тяжелая неотступная тишина в городе, напоминая об ее одиночестве, не давала Ольге уснуть. У Лазаря щека была холоднее мрамора, волосы — сухие, как прошлогодняя трава. *Полицьянт* что-то пробормотал во сне, ко-

гда она посреди ночи пошла в сортир, спрятав под платьем полотенце, свою фиолетовую бархатную юбку и вязаный шарф. Он так и не проснулся, когда она вернулась в дом. Даже когда Исидор, пропахший фекалиями, закутанный в женскую одежду, прошмыгнул мимо, прикрывая лицо шарфом, очнулся, только чтобы пробурчать что-то про вонючих иммигрантов; спросонья он ничего не разглядел. Это была ее идея — отправиться к Шутлеру; иначе *полицьянты* пришли бы за ней и обнаружили Исидора, скрючившегося у нее в шкафу за саквояжем и мешком с тряпьем. "А что, стоит попрактиковаться, — заявил Исидор, — пригодится на будущее, когда ты будешь замужем, а я стану твоим любовником". По пути в полицейское управление Ольга представляла Фицев, с радостным рвением его избивающих, — так они избивали Любеля, который теперь с переломанными ребрами задыхается и хрипит, не в силах встать с постели. Отлупить Исидора не мешало бы, да только он этого не переживет; не все кости срастаются.

Первый помощник Шутлер ползает под столом, судя по всему, ищет запонку или выпавшую из кармана монетку. Ольга наблюдает за его вихляющейся задницей; наконец он поднимается с колен, медленно, по-змеиному распрямляясь. И нависает над Ольгой, одергивая задравшиеся рукава; она старается стоять прямо, не клонясь на ту сторону, где нет каблука. "Вы пришли, чтобы сделать признание, мисс Авербах? Рассказать про преступления вашего брата? А может, донести на его сообщников-анархистов? Или хотите нам сообщить, где прячется Марон?"

**Ольга Авербах с вызовом смотрит на первого помощника Шутлера,** — напишет потом Уильям П. Миллер. — **Она в своем зловонном испачканном платье, он — в тщательно пригнанном по фигуре костюме; в ее глазах горит огонь степной дикарки, его широкие могучие плечи — само олицетворение закона и порядка. Это была схватка железных характеров: мужское начало против женского; американец против еврейки; цивилизация против анархизма. Исстрадавшаяся молодая женщина решительно потребовала вернуть ей тело брата, чтобы предать его земле в соответствии с древними еврейскими обычаями. Выкрикивая грязные слова в лицо первому помощнику Шутлеру, стойко переносившему ее нападки, она угрожала ему местью евреев всего мира и предрекала наступление конца света. Со звериной яростью во взоре, она обещала ему долгие годы всеобъемлющего террора, десятилетия разгула анархии, которая уничтожит наши свободы и все, что нам дорого. Но первый помощник Шутлер не дрогнул. Глядя ей прямо в глаза, он сказал: "Мисс Авербах, моя обязанность — поддерживать закон**

**и порядок, и я сделаю все возможное и невозможное, чтобы выполнить свой долг. Не будем трогать вашего брата, пусть покоится в мире, а в городе наконец воцарится спокойствие". После этих слов уязвленная еврейка в бешеной ярости выбежала из кабинета, изрыгая проклятия, достойные разве что обитателей ада.**

У выхода полицейский с лихо закрученными усами хлопает пробегающую мимо Ольгу по заду, и она буквально вылетает на улицу. Миллер не спускает с нее глаз; он не смеется, хотя полицейский и ткнул его в бок, приглашая повеселиться вместе с ним, — **подобно сестре библейского Лазаря, Ольга готова на все, чтобы спасти брата.** Она бесцельно бредет по тротуару, то переходит улицу, то возвращается назад. Запутавшись в лабиринте из клеток с цыплятами и кроликами, ступает с тротуара на проезжую часть — прямо под копыта пегому мерину, впряженному в тележку, полную медных кастрюль с длинными ручками; от тряски они с истерическим звяканьем бьются друг об дружку. Мерин смотрит Ольге в глаза — у него смешные ресницы — и кивает ей головой, будто здоровается. Ольга возвращается на тротуар и замирает перед витриной кондитерского магазина, уставившись невидящими глазами на сладкое изобилие: россыпь конфет всех цветов — розовых, синих, лакричных, горы сахарной ваты. Дворняжка — калека на трех ногах — подбегает к Ольге, как к своей знакомой, и ее обнюхивает. На углу надрывается продавец газет: "Вашингтон готов предпринять первые шаги по очистке нации от врагов, посягающих на благополучие государства и частных граждан!"

*Дорогая мамочка, когда ты получишь это письмо, мы с Лазарем будем ждать тебя в раю.*

Покупатель в магазине забирает сдачу, а мужчина за прилавком через окно так и сверлит Ольгу взглядом, словно давая понять, что она тут нежеланный гость. Прохожие задевают ее, она чувствует сквозь одежду прикосновения чужих тел. Вдруг чья-то рука опускается ей на плечо, и мужской голос за спиной спрашивает: "Хочется сладкого?" Не отвечая, Ольга спешит уйти; во рту у нее горечь, хорошо, что со вчерашнего дня она и крошки не съела, не то бы ее вырвало.

— Я ваш друг, — догоняет ее незнакомец. — Я хотел представиться еще в полиции... — У него низкий голос и иностранный акцент. Ольга, прихрамывая, ускоряет шаг и толкает бедром корзину со свежей рыбой; у рыбин выпуклые кукольные глаза. — Я сожалею о смерти вашего брата, — не

отстает незнакомец. — Есть очень много людей, которые... уфф, — он запыхался, ему трудно быстро идти, — которые считают, что еще далеко не все известно про обстоятельства его смерти. — Ольга замедляет шаг, но не поворачивается. А вдруг, это очередная уловка со стороны полиции? Второй каблук тоже вот-вот оторвется, она чувствует, как он качается. Незнакомец не отстает; откашлявшись (кашель глухой, надрывный), говорит: — В этом городе есть люди, которые опасаются погромов.

Ольга оборачивается. На голове у незнакомца котелок, на бледном лице чахоточный румянец; белизна воротничка свидетельствует о респектабельности владельца. Он переходит на идиш:

— Меня зовут Герман Таубе. Очень рад с вами познакомиться.

— Что вам от меня надо? — спрашивает Ольга по-английски.

— Нам надо поговорить, — продолжает он на идише. — Давайте-ка найдем место поуютнее.

Таубе молча предлагает ей взять его под руку, но Ольга продолжает идти чуть поодаль. И все же вслед за ним садится в трамвай; он за нее платит. Они пробираются вглубь вагона, Таубе, обернувшись, улыбается сыщику, который, неотступно за ними следуя, успел вскочить на подножку трамвая. Ольга видела этого сыщика в полицейском участке и узнала по фуражке, которая ему великовата и почти съезжает на глаза. Он и не пытается казаться незаметным, только старательно смотрит поверх их голов. В трамвае толчея, кто-то напирает на Таубе, он невольно прижимается к Ольге, но тут же отодвигается, слегка ей поклонившись. Любопытно, а каблуками он тоже прищелкнул?

С морщинистой шеи стоящей рядом матроны — пальцы в белых перчатках унизаны кольцами — на Ольгу и Таубе уставились стеклянные глазки рыжей лисы. Как здесь очутилась такая дама? Она похожа на вдову. На задней площадке разгорается ссора, похоже, ругаются по-итальянски, передние пассажиры поворачивают головы, вытягивают шеи — с любопытством и осуждением. Видя, что ее спутника не смущает присутствие сыщика, Ольга немного успокаивается, но ничего не говорит; так они и едут в молчании. Ей даже это нравится: не знать, что будет дальше, — пожалуй, это верный признак того, что она начинает терять рассудок.

Таубе помогает ей выйти из трамвая, на этот раз она опирается на его руку, однако "спасибо" не говорит. Они торопливо шагают по обсаженной деревьями улице, мимо солид-

ных домов, вдоль чугунных оград с пиками и затейливыми завитками, полицейский — за ними, в некотором отдалении. Они входят через заднюю дверь, по-видимому, в таверну; сыщик приостанавливается у главного входа; там сгрудились и курят бродяги и попрошайки — головы ушли в плечи, воротники подняты, шапки нахлобучены до бровей. Сыщик протискивается сквозь толпу, войдя внутрь, подходит к бару и заказывает кружку пива. Над огромным зеркалом на стене — голова кабана со стеклянными глазами.

Тучная голубоглазая женщина, прижимая к груди папку с бумагами, шепчет что-то Таубе по-немецки. В коридоре воняет пропитанными пивом опилками и подгоревшей кислой капустой. Ольга следует за Таубе по темному лабиринту мимо каких-то кабинетов, женщина идет за ней. В приоткрытую дверь Ольга видит ступеньки, ведущие в подвал; оттуда доносится шум передвигаемых по полу тяжелых предметов, Таубе поспешно захлопывает дверь. Вслед за Таубе Ольга, хромая, взбирается по крутой лестнице; за ее спутником тянется запах воска и фиалок. У нее ноет бедро, она то и дело останавливается. "Если ты когда-нибудь задашься вопросом 'как я сюда попала?' — это значит, что ты живешь полной жизнью", — сказал как-то Исидор. Глупец, что он понимает в жизни.

Судя по обстановке в кабинете Таубе, он — адвокат: толстые, в кожаном переплете своды законов на книжных полках; чернильница и перо на чистом рабочем столе. Таубе приглашает Ольгу сесть, сам моет руки в небольшом тазике, затем медленно опускается в кресло за столом — на столе лежит номер "Чикаго трибюн", — поворачивает газету на сто восемьдесят градусов и пододвигает к Ольге. У него уверенные, рассчитанные движения, как будто он заранее все отрепетировал и теперь лишь играет заученную роль. В голове у Ольги сумбур от всех событий сегодняшнего дня, вдобавок бессонная ночь дает о себе знать ломотой в пояснице. Смерть Лазаря, первый помощник Шутлер, хам *полицьянт*, измазанный дерьмом Исидор у нее в шкафу — все это кажется нереальным, в особенности здесь, в опрятном кабинете с гвоздикой в изящной вазочке на шкафчике и дипломом Венского университета в рамочке на стене; на картотечном ящике, будто прикорнувшая собака, лежит на боку курительная трубка; в оконное стекло в поисках выхода бьется жужжа сонная муха. На первой странице "Трибюн" фотография Лазаря в профиль, глаза закрыты, на впалых щеках и под глазами темные тени. "Тип анархиста" — так озаглавлена передовая статья. На фотографии вокруг лица брата разбросаны какие-то цифры, а внизу — пояснения к ним:

**1. низкий лоб;**
**2. большой рот;**
**3. скошенный подбородок;**
**4. широкие скулы;**
**5. большие обезьяньи уши.**



Ольга, не веря своим глазам, судорожно вздыхает; Таубе молниеносным движением фокусника выхватывает из внутреннего кармана белый носовой платок и протягивает его Ольге. Она сначала отказывается, но Таубе безмолвно настаивает, и она берет платок. Таубе листает газету, пока Ольга вытирает нос.

"Анархистские паразиты, наводнившие Чикаго и страну в целом, должны быть уничтожены все до единого, — читает Таубе с заметным немецким акцентом. — Для достижения этой цели следует использовать любые средства, находящиеся в распоряжении властей; для борьбы с этой заразой нужно призвать на помощь всех законопослушных граждан нашего города. Подстрекатели будут отданы под суд. Неблагонадежные иностранцы будут высланы из страны. Уличные собрания недовольных будут строго запрещены. Городские власти будут решительно пресекать всякие противозаконные действия. Пощады ждать не стоит".

Ольга не все понимает из услышанного, но улавливает возбуждение в ровном голосе Таубе. Он переворачивает страницы, пробегает их глазами, пока не находит то, что искал. В морге она гладила подбородок Лазаря, осторожно прикоснулась к ране, черной, как родимое пятно. От его лба пахло формалином.

"За последние двадцать лет методы анархистов ощутимым образом изменились. В годы, предшествовавшие печально известным событиям на Сенном рынке, анархисты призывали к насилию против правящего класса, а затем их агрессия распространилась на все общество. Возглавляли движение выходцы из Англии и Германии. Но теперь на передний план вышли другие элементы, в основном итальянцы и русские евреи. Их главари — дегенеративные личности уголовного склада, но методы их более опасны. Они выступают за убийство конкретных лиц. Они верят в нигилистические идеи, пропагандирующие самоубийства и покушения".

— Зачем вы мне это читаете, герр Таубе? Что я, по-вашему, должна понять? Чего вы добиваетесь?

Таубе вскидывает подбородок, понижает голос; теперь он говорит на венском немецком — чистом, никаких следов идиша:

— Я оплакиваю смерть вашего брата вместе с вами, фрейлейн Авербах. Я привык думать, что, теряя одного еврея, мы теряем целый мир. Я скорблю о вашей потере не только как еврей, но и как человек, верящий в торжество справедливых законов.

Ольга вдруг ощущает исходящий от ее тела запах — сколько она ни отмывалась прошлой ночью, от нее до сих пор разит дерьмом.

— В нашем городе, фрейлейн Авербах, есть люди, занимающие солидное положение в обществе; их чрезвычайно тревожит нынешняя напряженная обстановка — ведь она легко может привести к бесконтрольному насилию. Такое развитие событий поставит под угрозу все, над чем эти люди трудились долгие годы, и, скорее всего, закроет светлые перспективы их менее удачливым собратьям. Из-за своего семитского происхождения они чувствуют себя чужими в собственных кругах и поэтому не хотят афишировать общие с анархистами национальные корни. В то же время им далеко не безразличны страдания бедных и невиновных.

Ольга энергично сморкается в носовой платок, словно наказывая его владельца за нежелание говорить прямо.

— Нам всем понятно, к чему идет дело. В России национальность — пожизненное клеймо; в Америке таким клеймом может стать анархизм. Многие из нас, кому повезло избежать погромов и уехать в Соединенные Штаты, знают, что все начинается с газетных передовиц, а заканчивается убийствами. Среди американцев у нас есть друзья, заинтересованные в непредвзятом освещении жизни евреев, но есть и немало патриотов, которые не видят разницы между честными, лояльными гражданами и подлыми анархистами. Несчастье, произошедшее с вашим братом, похоже, только запутало доброжелательных американцев. Нам теперь предстоит заниматься поисками истины и разбираться с последствиями случившегося, а он, увы, мертв, и помочь никак не сумеет.

— Кто вы, герр Таубе?

Он — воплощенное здравомыслие и убедительность; видно, поднаторел в деловых переговорах.

— Я — адвокат, представляющий интересы обеспокоенных граждан, фрейлейн Авербах, — продолжает он на своем безупречном немецком. — Мы выяснили, что полиция разыскивает некоего Исидора Марона. Он широко известен среди красных как ярый приверженец гнусных идей Эммы Голдман. Очень похоже, что именно он — виновник вашего несчастья, что это он приобщил вашего брата к лживому учению Голдман, он затуманил ему мозги анархистскими бред-

нями. Все только бы выиграли, если бы именно он понес наказание за свои слова и поступки.

— Понятия не имею, чем я могу вам помочь, — отвечает Ольга. Она продолжает говорить на идише; Таубе, кажется, не замечает звучащую в ее голосе злобу.

— У полиции сложилось впечатление, что вы с Мароном — больше чем просто знакомые. Им необходимо с ним побеседовать. Вероятно, он может подтвердить, что смерть вашего брата — результат недоразумения. Но пока полиция не поговорит с Мароном, имя брата останется опороченным.

— Я не знаю, где Марон. Я не настолько близко с ним знакома.

Ольга судорожно комкает носовой платок, но, заметив, что Таубе пристально смотрит ей на руки, разжимает пальцы. Врать она не умеет, особенно это трудно сейчас, когда ей прямо предложено выдать Исидора, и это кажется не таким уж неразумным и даже соблазнительным. Нет, стоп, пора кончать. Она разглаживает платок на коленях, затем, аккуратно сложив, вытирает им щеки, словно давая понять, что плакать больше не собирается.

— Они убили Лазаря, — говорит она. — И кто, по-вашему, в этом виноват? Он сам? Исидор? Эмма Голдман? У властей не хватило совести сказать мне, как на самом деле все произошло. Что вам от меня нужно?

— Ольга — вы позволите так себя называть? — вы, конечно, хотите похоронить брата по нашим древним обычаям. Я читал протокол вскрытия. Лазаря изрешетили пулями. Мне не хочется вас еще больше расстраивать, но умирал он в мучениях. Необходимо принять меры, иначе он не обретет покоя. И мы вместе с ним.

— Кто это "мы"?

— Ольга, попытайтесь понять. На сегодняшний день полиция готова поверить, что покушение на Шиппи и нарушение законов этой страны были совершены разъяренными выродками. Властям намного проще отстаивать свободу, когда у них есть подходящий жупел, а анархисты рады, если не сказать счастливы, исполнять эту роль. Но как только терпению властей придет конец, они быстро убедят сами себя, а заодно и многих других, что все евреи, вне зависимости от их патриотизма и лояльности, являются врагами. Не мне вам рассказывать, к чему это приведет. Вы пережили кишиневские погромы.

— Я не знаю, кто вы и чем занимаетесь. Я не знаю, чьи интересы вы представляете. У меня нет оснований вам доверять.

— Я действую от лица группы достопочтимых граждан, которые готовы вам помочь. По двум причинам: во-первых, из чувства национальной солидарности, во-вторых, ради защиты собственных интересов. Уверяю вас, такое сочетание мотивов как нельзя лучше свидетельствует об искренности их намерений.

— Я хочу только одного: подобающим образом похоронить брата.

— Этого все хотят, не сомневайтесь.

— Не думаю, что могу быть вам полезна, — отвечает Ольга по-немецки тихим усталым голосом.

— Я понимаю, на вас столько навалилось... Пожалуй, вам понадобится некоторое время, чтобы все это осмыслить. Но учтите, времени-то у нас как раз нет. Ходят слухи, что в город вот-вот нагрянет сама Голдман, и тогда такое может начаться... Нам нельзя медлить, иначе ваш несчастный брат усилиями смутьянов превратится в мученика, пострадавшего за дело анархизма.

Он протягивает ей визитку и аккуратно заворачивает в газету с фотографией Лазаря стопку новеньких хрустящих долларовых купюр. Догадался: у Ольги нет с собой сумочки. Она кладет на стол его носовой платок, разворачивает газету и выбрасывает из нее деньги.

— Поймите, в такое непростое время каждый из нас обязан исполнять свой гражданский долг, — продолжает Таубе. — Имейте в виду, фрейлейн Авербах, мы всегда в вашем распоряжении. Надеюсь скоро вас услышать; не стесняйтесь, звоните в любое время, хоть сегодня, хоть завтра. Естественно, все расходы мы возьмем на себя.

Она уходит не попрощавшись, с газетой в руке. Проходит через зал и выходит на улицу; завидев ее, молодой сыщик залпом допивает пиво и соскакивает с высокого стула. Ольга ковыляет мимо бродяг, толпящихся у входа; те молча провожают ее взглядом, но, как только вслед за Ольгой выбегает сыщик, один из них в сердцах бросает окурок себе под ноги и с силой втаптывает его в землю.

В трамвае какой-то мужчина — в очках с толстыми стеклами, кудрявые волосы спрятаны под кепку — уступает ей место. У Ольги все плывет перед глазами, очки такие грязные, что через них почти ничего не видно. Она снимает их и протирает подолом платья. Сыщик протискивается к ней и застывает рядом: ее лицо на уровне его паха. Он, должно быть, успел позвонить в управление и сообщить начальству про ее разъезды; если бы они обнаружили Исидора, то ее уже бы арестовали. Ольге нестерпимо хочется посмотреть на фото-

графию брата, но газета лежит у нее на коленях передовицей вниз. Он был такой чудесный, такой красивый молодой человек. На последней странице она читает, что **глава полиции Бирмингема, штат Алабама, получил по почте письмо следующего содержания: "Начальник Бодехер, мы вас давать одна неделя чтоб уйти с работа. А то натыкаться на нож если нас не слушать". Сегодня были арестованы несколько иностранцев. Глава полиции Бодехер заявляет, что он это дело так не оставит.**

"Весь мир сошел с ума, и я вместе с ним". Ольга, съежившись от боли и усталости, крепко сжимает в руке свернутую трубкой газету как рукоятку ножа.

*Дорогая мамочка, на похоронах Лазаря было очень красиво. Ребе говорил, каким он был добрым; собрались сотни его друзей, они принесли гору цветов.*

Рядом с Ольгой сидит знакомая матрона с лисой на шее; можно подумать, коротает свои вдовьи годы в трамвае. Лисьи глазки опять уставились на Ольгу, вдова клюет носом, сплетя на животе пальцы в перчатках. На долю секунды Ольге кажется, что Таубе со своим офисом ей приснился. **В Гранд-Рапидс,** — читает она, — **штат Мичиган, сегодня утром скоропостижно скончался окружной судья Альфред Уолкот; смерть наступила через пять минут после апоплексического удара. Его супруга, глубоко верующая особа, исповедующая учение Христианской науки, настаивает, что он жив. Три независимых врача подтвердили факт его кончины, но она считает, что они заблуждаются.**

"Мои силы на исходе, жизнь подходит к концу, — думает Ольга. — Что же мне делать? Что делать, если жизнь закончилась?"

ЛАЗАРЬ ОБЫЧНО РАБОТАЛ В УГЛУ ОКОЛО ОКНА, РЯДОМ с Грэгом Хеллером; весь день укладывал яйца в коробки, не проронив ни слова. Работал быстро, без перерыва, так что Хеллер часто советовал ему сбавить скорость. Только ближе к концу рабочего дня начинал иногда что-то бормотать на своем не очень хорошем английском, вставляя непонятные иностранные слова. Хеллер сказал, что Лазарь и не заикался об анархизме за исключением одного-единственного случая, когда в Чикаго должна была выступить с речью Эмма Голдман, королева анархистов. Лазарь попробовал уговорить Хеллера пойти с ним ее послушать, но Хеллер с негодованием отверг это предложение. "Богачи владеют всеми деньгами в мире, а мы с тобой не имеем ничего", — сказал тогда Лазарь, размахивая руками, глаза у него возбужденно блестели. Хеллер посо-

ветовал ему заниматься делом, тогда, мол, и деньги появятся. Мистер Эйхгрин также подтверждает, что Лазарь был хорошим работником и никогда не заводил с ним разговоров об анархизме. Появись Лазарь на работе в понедельник, мистер Эйхгрин послал бы его в Айову изучить в деталях яйцеукладочное дело. "Надо же, – добавил мистер Эйхгрин, – а ведь похоже было, молодой Авербах любил Америку".

Кто-то спросил меня однажды, какой я вижу Америку. "Ну, я просыпаюсь утром и смотрю налево", – ответил я. Слева от себя я вижу спящую Мэри; лицо у нее иногда умиротворенное, иногда – хмурое. Мне нравится смотреть, как она во сне облизывает губы или лепечет что-то нечленораздельное. Я стараюсь удержаться, чтобы ее не поцеловать: она очень чутко спит, а мне жаль будить ее, уставшую после тяжелого дежурства. В тех редких случаях, когда я все же решался легонько прикоснуться губами к ее щеке, она моментально просыпалась и растерянно, с испугом глядела на меня, не узнавая спросонья. А если Мэри вызывали на операцию и ее половина кровати утром оказывалась пуста – только и оставалось что еле заметная вмятина на матрасе и ее запах, да порой длинный черный волос на подушке, – я испуганно вскакивал, решив по малодушию, что моя жизнь испарилась вместе с Мэри, что, уйдя от меня, жена прихватила ее с собой и что никогда больше мы не будем читать перед сном книгу, уютно пристроив ее на груди. На кухне я натыкался на мисочку с крохотной ложечкой; на дне размокали в лужице молока кукурузные хлопья. Кофеварка еще шипит; на столе – сложенная "Чикаго трибюн", не хватает только страниц с местными новостями – по дороге на работу Мэри любит читать некрологи. Часто она оставляла мне записку, подписав ее одной витиеватой буквой "М", иногда – приписывала: "Целую, М.".

Мы с Ророй завтракали в ресторане гостиницы: яйца всмятку, масло, ломтики черствого ржаного хлеба. Появился бизнесмен в кожаной куртке: посасывая спичку, шагал, широко расставляя ноги (ему явно не давала покоя боль в паху – видно, прошлая ночь выдалась бурная). По телевизору шла передача про моду. Две проститутки, закончив ночную смену, пили кофе и курили, наслаждаясь солнечным утром и отсутствием сутенера. Вид у обеих был помятый и усталый, судя по всему, им было хорошо вдвоем и ничто вокруг их не интересовало. Алая губная помада, вульгарно-яркий макияж на бледных опухших лицах, обвисшие пряди налаченных волос – понятно было, что они позволили себе забыть на время о своей внеш-

ности. Девушки на удивление горячо что-то обсуждали, наверное, что-нибудь важное. Мне любопытно было, о чем идет речь, но я быстро понял, что никогда этого не узнаю.

Взяв интервью у Караджича и послав его по факсу в Нью-Йорк, — начал рассказывать Рора, — Миллер решил отпраздновать это событие и немного расслабиться, как-никак он изрядно перенервничал. Тогда Рора потащил Миллера в бордель "Дюран", обслуживавший в основном иностранцев — миротворцев, дипломатов и журналистов, которые между собой называли его с нежностью "Дюран-Дюран"; впрочем, во время перемирия там можно было встретить и людей из вражеского лагеря. Рэмбо, конечно, был здесь частым гостем (его обслуживали задаром) и приводил многочисленных друзей. Ему нравилось опекать иностранцев, с которыми он вел бизнес: среди них были известные дипломаты, чьи успешные политические карьеры вмиг пошли бы прахом, пронюхай кто-нибудь об их оргиях. Борделя "Дюран" война не коснулась: тихая музыка, всегда свежие цветы, никакого запаха гари и тления, девушки опрятные и ухоженные, некоторые — вполне симпатичные. Большинство с Украины и из Молдавии, хотя была там и пара зажигательных венгерок для любителей "горяченького", вроде сына президента, тоже близкого друга Рэмбо.

Миллер взял бутылку "Джонни Уокера", они сидели, выпивали, девчонки скакали у них на коленях, пока Миллер не начал приставать к другим посетителям (там были майор канадской армии, полковник-француз, американский шпион) и хвалиться, что он только что взял интервью у самого Караджича. Миллер был репортером от бога, он, в прямом смысле, возбуждался от эксклюзивных интервью; и майор, и полковник, и американец выпили за его успех; выпили и девочки, и Рора, хоть его и подташнивало от отвращения. А когда пришло время заняться сексом, у Роры ничего не вышло. Он поднялся наверх с красивой молдаванкой, косившей под Мадонну: боа, ремни, длинные серьги. Сказала, что ее зовут Франческа; похоже, она чем-то накачалась и проявляла к Роре неподдельный интерес. А он не смог... Ничего не добившись, она отрубилась; Рора сидел в кресле и курил, дожидаясь, когда Миллер, наконец, освободится. Девчонку эту Рора сфотографировал: она спала с полуоткрытым ртом — виден был кривоватый резец — и во сне смешно морщила нос и почесывала его тыльной стороной ладони. К тому же громко сопела, почти переходя на храп. "Как она тут очутилась? — думал Рора. — Где-то ведь у нее есть семья, мать или брат. Нельзя же просто взять и свалиться с неба".

Тяжесть в затылке от недосыпа, затекшая шея, глухое молчание после Рориного рассказа и — ощущение раскрепощающей праздности: с таким грузом я отправился на пыльные улицы Черновцов. Мы пошли искать Еврейский центр, но по дороге позволили себе отклониться от намеченного маршрута и заглянули на рынок полюбоваться местным изобилием: Рора сфотографировал прилавок, заваленный темно-красными вишнями, продавщицу с капустным листом на голове для защиты от солнца и разрубленную топором на части баранью тушу. Мы прошли мимо школьного двора, где, выстроившись в ряд, школьники под руководством тренера в спортивном костюме цвета красного знамени делали зарядку: вытягивали руки вверх, а потом сгибались, стараясь дотянуться пальцами до кончиков ног. Затем тренер свистнул, ребята разбились на пары и стали бегать по кругу. Прошли мы и мимо кафе "Вена": там в той же позе сидел вчерашний бизнесмен и так же орал что-то в свой мобильник; казалось, он сутки не сходил с места. Напротив него за столиком расположилась смазливая юная особа в суперкороткой юбке; она тоже трепалась по мобильному, налаживала свой бизнес или как это там у них называется.

— Послушай анекдот, — начал Рора. — Муйо уехал в Германию, работу найти не может, зато свободного времени хоть отбавляй. Что ему еще делать — пошел в турецкую баню. Баня забита потными краснорожими немецкими бизнесменами с полотенцами на бедрах. Время от времени у кого-то из них звонит сотовый, тогда они выуживают его из-под полотенца и отвечают: "Битте?" Муйо обидно — один он без телефона! — и тогда он идет в клозет и запихивает себе под полотенце туалетную бумагу. Выходит, а за ним волочится длинный шлейф. Один немец ему и говорит: "У вас, герр, бумага из задницы торчит". — "А, — отвечает Муйо, — похоже, мне факс пришел".

На поиски Еврейского общинного центра у нас ушло довольно много времени: по понятным причинам они себя не рекламировали, и мы, сколько ни искали, не могли найти ни одного указателя. Центр прятался в самом углу тенистой площади перед зданием театра. Мы позвонили в дверь, но никто не открывал. Мое обленившееся сердце затрепетало от радости: больше всего мне хотелось спокойно провести день за столиком в кафе "Вена", пялясь на белые ляжки красотки из окружения давешнего бизнесмена.

Но только мы собрались уходить, как откуда-то появился мужчина и по-русски спросил, что нам нужно. Отвислый жи-

вот, обтянутый полосатой футболкой, и узкие плечи делали его похожим на грушу. Вместо того чтобы сказать правду (хотим приятно провести время, попить кофе, поглазеть на местных девушек), я заявил, что нам необходимо поговорить с кем-нибудь из сотрудников Центра. Он, ничего не говоря, пожал мне руку и стал отпирать дверь.



— На каком языке вы предпочитаете разговаривать? — спросил он, когда мы прошли внутрь.

— Все зависит от того, что вы нам можете предложить, — перешел я на украинский.

— Я знаю русский, румынский, украинский, идиш, немецкий и немного иврит, — ответил он.

В квадратном пыльном офисе вдоль стен стояли пустые книжные стеллажи. Сотрудника Центра звали Хаим Грузенберг; он указал на два стула, мы уселись напротив него. От него попахивало какими-то рыбными консервами; впрочем, это вполне могла быть игра моего воображения.

— Как получилось, что вы знаете столько языков? — поинтересовался я.

— Я вырос в многонациональной стране. Теперь все изменилось. Теперь у нас свобода, многие уехали.

За письменным столом в углу сидел какой-то мужчина и энергично что-то строчил; грифель у него постоянно ломался, и он то и дело точил карандаш; седой клок волос подрагивал на лбу. По необходимости прибегая к помощи словаря, я рассказал Хаиму про убийство Лазаря, про свой проект, про переезд Лазаря в Америку в 1907 году, про его бегство от погромов в Czernowitz, где он провел некоторое время в лагере беженцев.

— Э, — сказал Хаим, — это было так давно, минуло целое кошмарное столетие. Столько всего ужасного произошло с тех пор, столько надо помнить, столько надо забыть...

Рора встал и принялся фотографировать развешанные по стенам черно-белые снимки, корешки книг на полке, обложку брошюры со звездой Давида. Он стоял спиной к солнцу и был похож на привидение. Хаим сказал, что его не интересует история, от пустых слов сыт не будешь. Его обязанность — заботиться об одиноких еврейских стариках, обеспечивать их продуктами; он крутится как белка в колесе, изыскивая способы им помочь; старики с годами становятся всё слабее и беспомощнее. И добавил, что, если я захочу им помочь, он подскажет, как это можно сделать.

— Да-да, конечно, — сказал я. Рора вышел из полосы солнечного света, и там, где он только что стоял, заплясали пылинки.

— Все вы, иностранцы, приезжаете сюда искать следы предков и семейные корни, — сказал Хаим. — Вас интересуют только мертвые. Пусть о мертвых заботится Бог. Нам надо заботиться о живых.

Я пообещал пожертвовать деньги на нужды живых стариков, но и мертвые не давали мне покоя: я спросил, нет ли среди его подопечных кого-нибудь, кто помнит истории про кишиневских беженцев, услышанные от бабушек и дедушек или от родителей? Вдруг кто-то из них — потомок тех самых переселенцев?

— Никто здесь не задержался, — сказал Хаим. — А если кто и остался, то единицы, да и те постарались побыстрее вычеркнуть из памяти кишиневские события.

— Но, возможно, кто-то что-то помнит.

— Все они — старые больные люди, одной ногой уже в могиле. Ничего они не помнят. Кому хочется думать о несчастьях, случившихся еще до их рождения?!

— Сколько у вас клиентов?

— Они для меня не клиенты, они мне как родные. Я знал их до того, как появился на свет.

Седой человек за столом прислушивался к нашему разговору. Рора воспользовался моментом и сфотографировал его; тот раздраженно отмахнулся. На стене в рамочке висел плакат, сообщающий о каком-то событии, случившемся 11 сентября 1927 года[1].

— Я помню бабушкины рассказы про евреев, прибывших из Кишинева. Некоторые с большими деньгами. Был там один, по фамилии Мандельбаум, — сказал Хаим. — У него было несколько повозок с коврами и люстрами. Он даже рояль привез. А потом все проиграл в карты, как рассказывала моя бабушка. Его дочь вышла замуж за актера.

— А ваша бабушка не помнила кого-нибудь по фамилии Авербах?

— Половина евреев здесь Авербахи.

— У вас есть клиенты с такой фамилией?

— Они не клиенты.

— Простите.

— У нас есть Роза Авербах, но она совсем старая и больная. К тому же невменяемая.

— А можно с ней поговорить?

— Зачем вам с ней говорить? Она ничего не помнит. Она думает, что я ее дедушка. И боится незнакомых.

1. Вероятно, речь идет о произошедшем в этот день сильном землетрясении в Крыму.

Мужчина за столом что-то запальчиво сказал Хаиму на идише, последний так же резко ответил, судя по всему, они поцапались. Зазвонил телефон, но оба его проигнорировали. Рора навел камеру на Хаима и седого мужчину, но тот погрозил нам всем пальцем и снова стал точить карандаш, пряча лицо от Рориного объектива. Хаим неодобрительно хмыкнул и, повернувшись ко мне, сказал:

— Погромы случались в России и до Шоа. В нашем городе всегда было полно беженцев из Кишинева и других городов, спасавшихся и от русских, и от румын, и от немцев. Те, кто выжил, разъехались, здесь осели единицы. А сейчас почти никого и не осталось, а те, кто остался, потихоньку вымирают.

Я сдался; мне не о чем больше было его спрашивать. Ведь я еще раньше убедил себя, что мне не нужны свидетельства очевидцев, что с исследованиями я покончил и литературу всю тоже перелопатил. Тот факт, что я оказался в этой комнате и общаюсь с Хаимом, можно рассматривать как неожиданный подарок. К тому же Рора нащелкал много снимков, которые могут мне пригодиться; позже мы их посмотрим. Похоже, настало время отправляться восвояси и поразмышлять за чашкой кофе. Я вытащил бумажник и предложил Хаиму все, что у меня с собой было, — около ста евро из Сюзиных денег.

— Нет-нет, не надо, — воскликнул он. — Это много, но недостаточно много. На эту сумму можно купить продуктов на целую неделю, но нам также нужны лекарства и одежда. Я уважаю ваш благородный порыв, но лучше сходите в вашу синагогу, поговорите с верующими, скажите им, что мы нуждаемся в их помощи.

Он подошел к столу, где сидел седой, выхватил у него карандаш, вырвал лист из блокнота и записал адрес Центра. Ему даже в голову не пришло, что я не еврей. А признаться я, разумеется, не мог, иначе он бы посчитал сплошным обманом вообще все, о чем я говорил.

— Он тоже еврей? — спросил Хаим, кивком указав на Рору, который в этот момент перезаряжал пленку. Рора посмотрел на меня; я увидел, что он понял вопрос.

— Нет, — сказал я.

— У него еврейские волосы, — сказал Хаим. — Красивый человек.

Лазарю на Эллис-айленд[1] побрили голову — у него завелись вши — и проверили глаза — нет ли трахомы. Охранники

1. Остров в Нью-Йоркской гавани, где с 1892-го по 1954 г. находился иммиграционный центр, принявший около 20 миллионов иммигрантов со всего мира.

орали на него, подгоняли дубинками. Первое английское слово, которое он выучил – "вода", потому что женщина в белом переднике налила в его алюминиевую кружку воды из бочки. На корабле, по дороге из Триеста в Нью-Йорк, он спал рядом со старым сицилийцем, который что-то ёму все время неразборчиво говорил, показывая пальцем на его волосы. Даже во сне Лазарь судорожно сжимал лежащий в кармане узелок с деньгами, мамины последние сбережения. Перед самым отъездом из Czernowitz он получил от нее письмо, она написала, что папа скончался от апоплексического удара: сидел на стуле и вдруг свалился замертво. Лазарь не знал, сообщили ли об этом Ольге. Он представил себе, как Исидор, уехавший из Czernowitz месяцем раньше, ждет его с Ольгой на железнодорожном вокзале в Чикаго. Интересно, нет ли чего между Исидором и Ольгой? Он сюда ехал не за тем, чтобы следить за сестрой, так что Исидор может спокойно нашептывать ей на ухо всякие глупости. А может, она уже с кем-то встречается; может, придет с ним на вокзал; вдруг он настоящий американский гой?! Лазарь волновался, сможет ли узнать Ольгу в толпе. Она ему писала, что в Чикаго много евреев: "Я обшиваю жену мистера Эйхгрина. Он обещал взять тебя на работу".

После посещения Еврейского центра мы зашли в "Вену" выпить по чашке кофе в тишине и покое, а потом, как и положено дотошным исследователям, продолжили наши изыскания в Областном краеведческом музее, расположенном на той же улице. По пропахшему плесенью музею мы бродили в торжественном молчании, словно боясь потревожить покойника. В каждом зале на опухших ногах стояла в карауле сурового вида служительница.

Самая крупная дежурила в первом зале, посвященном Второй мировой войне; завидев нас, она недовольно нахмурилась, словно мы помешали ей медитировать. Везде были развешаны портреты советских героев – уроженцев этих мест, отдавших жизнь за Родину. Володя Нежный, например, обвешавшись гранатами, бесстрашно бросился на фашистский пулемет. Здесь же были разложены солдатские каски с красными звездами и патроны и развешаны алые знамена различных частей Красной Армии. Была еще отретушированная фотография массового расстрела: вереница людей, стоящих на коленях по краю рва, со склоненными головами замерших в ожидании выстрела.

В следующем зале служительница одарила нас короткой, больше, правда, похожей на звериный оскал, улыбкой. Одна

стеклянная витрина было заполнена болтами местного производства и различными мелкими металлическими изделиями; в другой были выставлены непарные ботинки разного размера, мне сразу представилась безликая толпа прихрамывающих людей — у каждого обута только одна нога.

В третьем по счету зале служительница стояла рядом с деревянным барельефом, изображающим мистера Христа, несущего свой игрушечный крест, и его верных почитателей, проливающих горькие деревянные слезы. Еще там была коллекция икон с Богоматерью, мастерски вырезанные распятия и красиво разукрашенные яйца-писанки.

Из зала искупления и воскресения мы перебрались в зал, посвященный ориентированию на местности: на стене висела футболка и фотография Юрия Омельченко, серебряного медалиста Мирового чемпионата по спортивному ориентированию, проходившего в Финляндии в 2001 году. На фотографии запечатлено, как Юрий с несгибаемым упорством отыскивает путь в гуще деревьев; на исполненном решимости лице и светлых волосах лежат тени от листвы. Вот и еще один представитель рода человеческого, посвятивший свою жизнь единственной цели — не свернуть с правильного пути.

Следующий зал; по стенам развешаны афиши и конверты от пластинок: пышные прически, импозантные бачки, нарумяненные щеки. Читаю имена — это уроженцы здешних мест, звезды, прославившие свой родной край: Володимир Ивасюк, Назарий Яремчук, София Ротару... На подставке под неусыпным оком служительницы стоял патефон с пластинкой. Мы покорно его осмотрели и двинулись к выходу, как вдруг служительница резко нас остановила. Она завела нам патефон; мы стояли и слушали, опустив глаза. Мелодичный голос прорывался сквозь шуршание и треск старой пластинки: он пел про *дивчину*, которая, как я понял, ходила по воду с дырявым ведром; непохоже было, чтобы ей удалось донести до дома хоть каплю воды, но она не сдавалась; от песни веяло метафизической безысходностью. Служительница ткнула пальцем в конверт от пластинки: певицу звали Маруся Фляк, на голове у нее был кошмарный платок, губы сложены сердечком.

В следующем зале все стены были увешаны портретами молодых людей в военной форме, служивших в Афганистане и сложивших там головы. "Родина благодарна вам за самоотверженную службу, — сообщала надпись на табличке. — Родина вас никогда не забудет". Оставшиеся от мальчишек мелочи в стеклянных витринах — последнее, что напоминало об их загубленных жизнях: зачетка Андрия с одними пятерками;

шерстяные носки Ивана и письмо от его матери ("Будь храбрым и трудолюбивым, помни, мы с твоей сестрой все время о тебе думаем"); ремень, похожий на мертвую змею, предпоследняя дырочка – с обтрепанными краями; медаль на красной ленточке и одна кожаная перчатка, когда-то принадлежавшая Олександру. Рора сделал пару снимков, но тут подбежала негодующая служительница и запретила фотографировать.

Мы вышли в коридор, где в стеклянных шкафчиках выстроились рядами аккуратно пришпиленные булавками насекомые. В одном была коллекция тараканов, от очень маленького до очень большого; на мой взгляд, всех их отловили в нашей гостинице. Самый первый, совсем крохотуля, видимо, только родился, зато последний, размером с большой палец руки, вероятно, подарил жизнь целому племени, ныне красующемуся в музейной экспозиции.

– Как так получается, – спросил я Рору, – мы уже столько времени путешествуем, а ты ни разу не поговорил со своей сестрой?

– С чего ты решил, что я ей не звонил?

– Значит, звонил?

– Да, звонил.

– А почему мне не сказал?

– Я много чего тебе не говорю, хватило бы на целую книгу.

– И все-таки почему ты никогда не рассказываешь про сестру?

– Хвалиться особо нечем, ей не повезло в жизни. Кому это интересно?

– А что случилось с твоими родителями? Погибли в автокатастрофе?

– Они ехали в автобусе, который свалился с обрыва в Неретву. Когда ты наконец заткнешься?

– Тебе сколько тогда было?

– Шесть.

– Ты их помнишь?

– Конечно, я их помню.

– Какие они были?

– Такие же, как все родители. Мама баловала нас вкусненьким. Отец любил нас фотографировать. Заткнись, а?

В последнем зале находились экспонаты якобы восемнадцатого века: множество деревянных растрескавшихся ложек и мисок; обручи, цепи, топорики, непонятного назначения инструменты, смахивающие на орудия пыток; гобелен с изображением уединенного луга на закате, темнота уже поглотила кроны деревьев; и в довершение, в самом углу зала –

стеклянная витрина с чучелами птиц. В центре экспозиции красовался орел, держащий в когтях кролика и расправивший могучие крылья над беззаботными утками и еще какими-то безымянными пернатыми. Он грозно смотрел на посетителей навечно остекленевшими глазами. Интересно, эти чучела и вправду были изготовлены в восемнадцатом веке? Или какой-нибудь доморощенный философ, хранитель местных преданий, выставил их как напоминание, что смерть безвременна и неизбежна, в каком бы веке ты ни жил?



— Да, это вам не Лувр, — хмыкнул я.

— Клянусь, эти бабки тоже часть коллекции, — отозвался Рора. — После смерти их забальзамируют и выставят на всеобщее обозрение.

На той же улице, напротив погруженного в прошлое краеведческого музея находилось интернет-кафе под названием "Чикаго". Мы, не раздумывая, ввалились туда, как к себе домой; по стенам были развешаны фотографии самого высокого нашего небоскреба "Сирс-тауэр", стадиона "Ригли" и Букингемского фонтана; распоряжался там какой-то неприветливый тип; я обратился к нему на английском, но он сделал вид, что не понимает, или не захотел отвечать. Мы с Ророй уселись каждый перед своим компьютером и погрузились в Интернет. Мне хотелось поглядеть, с кем Рора переписывается, но я слишком увлекся сочинением пространного письма к Мэри, которое закончил не самым удачным образом: "Думаю про тебя все время. Наша гостиница оказалась по совместительству еще и домом терпимости. Рора нащелкал кучу фото. Как папа? Еще одной ногой в могиле?"

Ее папаша недавно перенес операцию по удалению простаты и с тех пор вынужден ходить в памперсах. Как-то раз я застал его плачущим перед открытым холодильником; в лившемся изнутри свете слезы на лице Джорджа сверкали как алмазы. Он потряс головой, будто стряхивая излишнюю влагу и скорбь, а потом выудил из холодильника батон салями и проворчал: "В твоей стране тоже жрут подобную дрянь?" В преддверии смерти Джордж возненавидел весь мир, вложив в это чувство незаурядную энергию, и перестал регулярно обращаться за советом к мистеру Христу; лучик божий угас в его душе после курса гормональной терапии. Я часто ловил себя на мысли, что меня раздражает его седая шевелюра ушедшего на заслуженный отдых бизнесмена, его ярый католицизм — не говорю уж об отношении ко мне. Он постоянно требовал, чтобы я прославлял величие Америки, и приставал ко мне с глупыми вопросами про *мою страну* вроде "А в твоей стране есть опе-

ра?", или: "К западу от чего расположена твоя страна?" *Моя страна* в его представлении была медвежьим углом на краю света, мифическим обломком безнадежно устаревшего старого мира, существовавшего до открытия Америки, чьи обитатели могли бы, пусть и с опозданием, приобщиться к цивилизации, только переехав в Соединенные Штаты. Он делал вид, что его интересуют судьбы иммигрантов, о которых я с оптимизмом писал в своей колонке; на самом деле, ему хотелось понять, как далеко я продвинулся на пути превращения из полного ничтожества в *моей стране* в слабое подобие американца, мужа-неудачника его невезучей дочери. Я иногда веселил Мэри, придумывая дурацкие ответы на воображаемые вопросы Джорджа. "В моей стране, – стоило мне начать, как Мэри уже хихикала, – основная валюта – конфеты". Или: "В моей стране воздушное сообщение запрещено законом".

Иногда Мэри признавалась, что всегда страдала от недостатка отцовской любви, что ей всю жизнь не хватало искренней заботы отца, что семье было тяжело выносить его религиозную нетерпимость. Хотя Мэри никогда сама об этом не говорила, но я-то догадывался: ее возмущал его снисходительный тон в разговоре со мной и постоянные намеки на мое "иностранное" происхождение. Джордж считал, что Мэри вышла за меня замуж от безысходности, поскольку не нашла себе настоящего американца; она же, со своей стороны, изо всех сил стремилась доказать ему, что я достойно справился с задачей – полностью американизировался, а на затянувшееся отсутствие работы не стоит обращать внимание. Вместе с тем я находил в ней черты ее папаши: она порой бывала излишне самоуверенна; могла без видимых причин на меня наброситься; долго помнила, хотя и умело скрывала, обиды; после особенно жарких ссор изнуряла себя работой, будто искупая грехи. Джорджа в ней я ненавидел.

Из-за – вероятно, близкой – кончины отца Мэри стала относиться к нему чуть ли не с благоговением, смешанным со страхом; его жестокость и мелкие гадости были прощены. За ужином в кругу семьи он, бывало, безучастно водил вилкой по тарелке, а мы молча сидели и ждали, когда он наконец освободится от своих мрачных мыслей. Хотя лечение проходило вроде бы успешно, застоявшийся запах мочи напоминал нам, что смерть не за горами, что Джордж скоро уйдет в небытие. Видимо, я безотчетно желал ему смерти, и вот теперь невольно проговорился: "Как поживает несостоявшийся покойник?"

– Похоже, я только что нанес непоправимый урон своему браку, – сказал я Роре, когда мы допивали сотую чашку кофе в кафе "Вена". – Тебе не понять, ты никогда не был женат:

брак — это очень деликатная штука. Ничто не пропадает бесследно, все остается внутри. Это совершенно особая реальность.

Рора мелкими глоточками пил кофе; свой "Canon" он положил на колени, а указательный палец левой руки держал на кнопке спуска — словно ждал подходящего момента, чтобы меня сфотографировать.



— Давай я расскажу тебе анекдот, — начал Рора. Я собрался было его остановить, но подумал, что ему просто хочется меня развеселить, и приготовился слушать. — Муйо и его жена, Фата, лежат в постели. Уже поздно, Муйо засыпает, а Фата смотрит порно: не знающая устали парочка, сплошной силикон и татуировки, трахаются так, что дым коромыслом. Муйо просит: "Брось, Фата, выключай эту дрянь, спать пора". А Фата ему в ответ: "Дай досмотреть, интересно, поженятся они или нет".

Эх, Рора, Рора. Даже ему не чужды были благие намерения.

*Окончание в следующем номере*

# Дитер Веллерсхоф

# *Катастрофа*

Глава из книги "Чрезвычайное положение. Война глазами очевидца" и авторское предисловие, написанное специально для читателей "ИЛ"

*Перевод с немецкого и вступление* Наталии Васильевой

**От переводчика**

"Постепенно мы приближаемся к порогу забвения, достигаемому после смены двух-трех поколений... Скоро Вторая мировая война станет предметом исключительно только историографии... Но ведь как раз то, что забыто, и возвращается в преображенном обличье", — пишет в своей книге воспоминаний известный немецкий писатель, участник Второй мировой войны Дитер Веллерсхоф.

Книга Веллерсхофа "Чрезвычайное положение. Война глазами очевидца" была написана и вышла в 1995 году. В 2010 году появилась ее аудиоверсия "Вот смотри, это — война", в которой писатель, не читая, а просто рассказывая своим слушателям, еще раз восстанавливает в памяти прошедшее.

© 1995, 1997 by Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Cologne, Germany
© Dieter Wellershoff, 2011
© Наталия Васильева. Перевод, вступление, 2011

К своему военному прошлому Дитер Веллерсхоф (в ноябре ему исполнилось 85 лет) обратился уже будучи признанным писателем, автором многих романов, инициатором и вдохновителем целого литературного направления, так называемой кёльнской школы нового реализма, имея за плечами и большой редакторский опыт: он много лет работал в крупном кёльнском издательстве "Кипенхойер и Витч", был, в частности, редактором романов Генриха Бёлля. Но для своей книги о войне Веллерсхоф выбрал самый литературно непритязательный и, возможно, самый сложный, требующий предельной писательской честности жанр — автобиографический. Крайне сдержанно, с впечатляющей точностью воскрешает он и иллюзии, и заблуждения того времени, и все, пережитое на фронте. Однако произведение, созданное спустя пятьдесят лет после окончания войны, содержит не только непосредственные свидетельства очевидца, но и аналитические комментарии нашего современника, который ничего не корректирует, не интерпретирует, а только дополняет реально пережитое историческими фактами.

Несколько лет назад Василь Быков, оценивая на страницах журнала "Знамя" опыт отечественной военной литературы, писал, что "для трезвого осмысления драматического военного опыта, равно как и собственного, авторского отношения к нему" требуется определенное время, определенная "передышка"[1]. В книге Веллерсхофа, написанной как раз после такой "передышки", "авторское отношение" четко выражено и в эссеистических заметках и в отстраненном, но в то же время беспощадно откровенном, лишенном всякого пафоса тоне повествования.

"Сверхактуальная, трезвая, умная книга против забвения", "одна из самых честных, неподдельных книг о войне в послевоенной немецкой литературе", "история Второй мировой войны, пережитая солдатом и рассказанная большим писателем" — так откликнулась на появление книги Веллерсхофа немецкая критика.

Многое сделано и продолжает делаться в Германии, чтобы "ничто не было забыто". В Берлине не только открываются новые экспозиции, напоминающие о страшных страницах немецкой истории: "Топография террора" (на месте бывшего главного управления гестапо) или "Немецкое сопротивление" (в здании бывшего министерства обороны вермахта), но и чтится память чужой национальной истории: уход за мемориальными комплексами, посвященными погибшим советским солдатам, обеспечивает теперь немецкая столица. Сбережение памяти и осмысление опыта войны становится постепенно совместным делом — так, в здании бывшей советской штаб-квартиры в берлинском районе Карлхорст, где был подписан Акт о капитуляции Германии, теперь на месте прежнего Музея боевой славы работает германо-российский антивоенный Музей истории Второй мировой войны.

1. "Знамя", 2000, № 5.

Публикация на русском языке "честных, неподдельных" свидетельств того, что было по другую сторону фронта, — тоже в какой-то степени попытка совместного осмысления опыта войны. Дитер Веллерсхоф с готовностью откликнулся на просьбу редакции представить русскому читателю свою книгу и специально для этого номера подвел "некоторые итоги" своего военного прошлого.

## Вторая мировая война, мой личный опыт. Некоторые итоги прошлого

Через сорок девять лет после окончания Второй мировой войны я проходил оздоровительный курс в санатории курортного города Бад Райхенхалл. Я специально выбрал именно Бад Райхенхалл, потому что там в лазарете провел после моего ранения последнюю военную зиму. Вместе со мной в санатории лечились двое пожилых людей, оба они страдали тяжелой одышкой. В разговоре выяснилось, что их болезни — следствие войны. Одному из них, пережившему кораблекрушение, пришлось долгое время плыть в ледяной воде. Другой надышался ядовитыми газами, когда горел подбитый танк. Их рассказы и новая встреча с этим хорошо знакомым мне городом воскресили столько воспоминаний, что я решил их записать. Сначала я думал, что это будет только статья или эссе. Но воспоминания нахлынули на меня с такой силой и были такими зримыми и отчетливыми, что я почувствовал потребность сделать из этого книгу. В отличие от многих произведений первых послевоенных десятилетий, извлекавших из опыта войны нравственные уроки, мне хотелось написать о войне, исходя из непосредственных переживаний того молодого человека, каким я тогда был. Неоднократно сталкиваясь с упреками в адрес участников войны — что они якобы так и не рассказали всей правды о том времени, — я, в свою очередь, не раз убеждался, что молодому поколению, в свою очередь, недостает готовности эту правду воспринять. Хотелось бы верить, что мои воспоминания в какой-то степени смогли изменить это положение. Кроме того, меня занимал и процесс самопознания. Война, без сомнения, наложила на меня в юности свой отпечаток. И я хотел самому себе дать в этом ясный отчет.

Когда началась война, мне было тринадцать лет, с миром детских фантазий я к тому времени уже расстался и вместо книг об индейцах читал книги о Первой мировой войне. Картины сражений под ураганным огнем и описания окопных боев производили пугающее впечатление, но в моем представлении все это относилось к далекому, давно минувшему прошлому. И тем сильнее был я ошарашен, когда узнал, что вдруг опять — война. Взрослых, и прежде всего мою мать, это известие повергло в ужас. Моего

отца, как часто случалось в последние годы, дома не было. По своей гражданской профессии он был инженером-строителем, весьма уважаемым специалистом, но теперь, как бывший офицер морской артиллерии, принимал участие в подготовке к войне — проводил обучение солдат на зенитных установках. Чтобы самому убедиться в реальном положении дел, я на велосипеде ездил в расположение его зенитной батареи, которая должна была защищать от бомбардировок с воздуха большой промышленный завод под Кёльном. Война пока еще шла на территории Польши, и многие надеялись, что она скоро закончится.

Охватившие всех поначалу тревожные настроения неожиданно — после триумфальной победы над Францией и над Британским экспедиционным корпусом — сменились всеобщим воодушевлением. Всем снова стало казаться, что война вот-вот завершится. Приведу для примера маленький эпизод. В боях за Францию погиб наш классный руководитель, и мне вместе с моим другом Францем было поручено возложить венок на его могилу во время торжественной церемонии похорон. Похороны были организованы в духе того времени — с большими военными почестями — и произвели на нас такое сильное впечатление, что Франц по дороге домой сказал мне: "Хорошо бы война подольше продолжалась, чтобы мы еще успели стать солдатами". Нам, к сожалению, исполнилось тогда только по четырнадцать лет, и шансов поучаствовать в этом грандиозном приключении было у нас немного.

На сборах юнгфолька (младшего отряда в гитлерюгенд), сидя ночью у костра в палаточном лагере, оба мы часто пели песню, родившуюся еще во время Первой мировой войны; в ней были такие строки: "Долг сыновний наш помним свято, / сердце злобой к врагу объято, / за отечество смело в бой пойдем, / за Германию кровь прольем". От этой песни, написанной на слова известного писателя Рудольфа Александера Шрёдера, у меня всегда мороз бежал по коже, потому что она требовала от всех нас безоговорочной решимости отдать свою жизнь за отечество. И во многих стихах Фридриха Гёльдерлина, бесспорного идола немецкой поэзии, тоже воспевалась "гибель за отечество". Это отражало царившее тогда убеждение, что общая судьба по своей значимости несравненно выше жизни отдельного человека. Нацистская пропаганда свела данное убеждение к лозунгу: "Ты — ничто, твой народ — все", в котором отчетливо ощущались уже дух человеконенавистничества и готовность к истреблению людей.

После войны я встретился с Францем, одним из немногих, кто остался в живых из нашего класса. Он был ранен в голову в самые последние дни войны, пуля прошла через каску. Это было очень тяжелое ранение, Франц говорил с большим трудом и передвигался только на костылях. Я спросил его, успел ли он о чем-то подумать, когда его ранило. На что он ответил: "Я подумал только: ах, вот это как". Для меня в этой фразе заключается главный опыт так называемого скептического поколения, поколения самых молодых участников войны, которые воспитывались в духе героического патриотизма и которым реальность преподнесла жестокий урок.

Очень скоро после нашей встречи Франц умер и был похоронен без всяких почестей.

За исключением короткого периода молниеносных германских побед, заглушивших на какое-то время страх перед повторением ужасов войны и принесших людям чувство облегчения и воодушевления, война вовсе не была популярна. Люди не понимали ее целей. Чем больше было убитых, чем большим разрушениям подвергались во время воздушных налетов немецкие города — и конца страданиям не предвиделось, — тем абсурднее казалась война. Но возможности говорить об этом открыто не было. Сомнения в целесообразности продолжения войны расценивались как предательство по отношению к погибшим. Сводная сестра моей жены была за подобное "предательство" обезглавлена.

Переломным моментом в уже ослабевающем самоотождествлении людей с судьбой нации стало неожиданное нападение на Россию. Сообщение об этом мы слушали по радио ослепительно солнечным воскресным утром, и моя мать разразилась слезами. "Ну, а это еще зачем? Нет, это уже слишком!" — плакала она. Но я не был готов с ней согласиться. Хотя и я не понимал такого поворота в ходе войны. Поначалу, правда, я довольно быстро успокоился, так как в летние месяцы стали опять приходить сообщения о победах. А затем наступил катастрофический перелом — вместе с ранним началом зимы, к которой вермахт, судя по всему, оказался абсолютно не готов: еще одно трудно объяснимое обстоятельство наряду с другими, вызывавшими множество вопросов, главным из которых был вопрос о смысле войны. Поскольку ответов я не находил, то ограничился простым объяснением: что во́йны бывали и раньше и с исторической точки зрения война является в жизни народа вполне обычным чрезвычайным положением, для которого всегда найдется оправдание, пусть даже сомнительного свойства, но ведь победителей не судят. Ни до чего другого додуматься я не мог, хотя бы потому, что мне не с кем было обо всем этом поговорить.

Мой отец, который раньше многое мне разъяснял, служил теперь в штабе противовоздушной обороны "Запад" и не имел права разглашать военные тайны. Домой он приезжал очень редко и только на короткое время, отчего больше всего страдала наша мать, впавшая в депрессию и очень часто болевшая. Однажды, чтобы встретиться с отцом, приехал к нам его брат, мой крестный, — из Силезии, он руководил там несколькими крупными сельскохозяйственными предприятиями. У него была большая семья, шестеро детей, и он очень тревожился, что будет дальше, — вероятно, опасаясь, что нацистские идеологи вовлекут его в проведение намеченной ими германизации в захваченных восточных областях. Отец старался его успокоить, из соседней комнаты я услышал, как он сказал: "После войны вермахт уже не выпустит бразды правления из своих рук". Так, по-видимому, говорили тогда в офицерских клубах. Представление это было ошибочным во многих отношениях. Вермахт уже и тогда вовсе не "держал бразды правления в своих руках", а его высшее командование давно превратилось в послушный исполнительный орган гитлеровских фантазий; кроме

того, уже и тогда никто не мог с уверенностью сказать, что Германия войну выиграет.

Когда меня, семнадцатилетнего, весной 1943 года призвали сначала на трудовую службу, а после ее окончания — на военную службу в вермахт, война для Германии была проиграна, но еще далеко не закончена. Я знал это, потому что однажды, тайком поймав по радио лондонское Би-би-си, услышал сообщение немецкого диктора, что Германский африканский корпус, являвшийся все эти годы гордостью германского вермахта, в полном составе сдался в плен. После разгрома Шестой армии под Сталинградом, повлекшего за собой неотвратимое отступление, это было второе большое поражение вермахта, к тому времени уже значительно уступавшего противнику в численности войск и в материально-техническом оснащении. Третье крупное поражение готовилось постепенно, ночь за ночью, а позднее уже и при свете дня — когда бомбардировки с воздуха подвергали немецкие города систематическому разрушению. Эта участь не миновала и наш родной город. Поэтому матери — уже после того как меня призвали в армию — пришлось бежать вместе с моим младшим братом в Силезию. Там ее из-за начавшегося приступа желчных колик прямо с поезда доставили в больницу, и она умерла вскоре после операции. Поскольку почти все врачи работали в лазаретах или ушли на фронт, она, вероятно, попала в руки к какому-то старому доктору, который подобных операций давно не делал. Брата поместили в интернат, переполненный детьми из таких же разорванных войной семей. А для меня воплотилась в жизнь мечта моего друга Франца: война продолжалась, и я успел стать солдатом. Но, вопреки ожиданиям, участвовать пришлось уже в совершенно другом сценарии, затянувшемся надолго и завершившемся катастрофическими потерями и поражением.

Из моих ровесников 1925 года рождения погибли, согласно статистике, сорок процентов. В моей роте, пущенной в расход, как это называлось на нашем жаргоне, в оборонительных боях за Восточную Пруссию, — погибших было значительно больше. В первые же дни фронтовой службы мы столкнулись с отступающими остатками группы армий "Центр", окруженной и разбитой в районе Припятских болот — поражение это было еще бóльшим военным крахом, чем разгром Шестой армии под Сталинградом. Перед нашими глазами двигалась процессия призраков, состоявшая из нескольких сотен уцелевших солдат: опирающиеся друг на друга, изможденные, раненые, они кричали нам, удерживавшим тогда истонченный тыловой рубеж, чтобы мы уходили с ними, что все бесполезно, война проиграна. Мы смотрели на них в остолбенении; и потом, когда процессия скрылась из виду, никто о ней уже больше не говорил, точно все это нам пригрезилось. Но мне тогда открылся новый взгляд на вещи, который впоследствии помог выдержать самое трудное, — в том числе и то, когда я впервые в жизни увидел рану от пули на теле моего боевого товарища. Я всегда повторял себе: "Вот смотри, это — война. Ты попал на войну". И это давало силы не поддаться панике, уже грозящей тебя захлестнуть. И позд-

нее, когда я стал писателем, такой подход не утратил для меня своей актуальности.

Еще одно осталось мне от войны — сознание, что выжил я только по воле случая и потому не вправе ни забывать того, что жизнь досталась мне как подарок, ни растратить ее попусту. Но на мое ликование очень скоро легла темная тень, когда стали известны невообразимые преступления нацистского времени. Еще и сегодня меня не отпускают то оцепенение ужаса и та внутренняя немота, которые тогда охватили.

ЧЕТЫРЕ дня мы провели в бараках бывшего трудового лагеря. Все время ушло на дезинфекцию, чистку оружия, починку обмундирования и распределение обязанностей среди нового пополнения в нашей поредевшей от потерь роте. Не успели мы управиться с делами, как передышка закончилась. 11 октября нас на бронетранспорте-

рах перебросили на север, где нам было приказано занять плацдарм за Мемелем[1].

Я так скупо сообщаю о той передислокации, потому что подробностей почти не помню. Один из новобранцев сидел в машине вместе с нами. Родом он был из Баварии. Звали его, если не ошибаюсь, Обермюллер. Так, помнится, окликнул его Карл-Хайнц, когда меня ранило и он должен был занять мое место у пулемета.

По дороге он все пытался шутить — хотел, видимо, предстать весельчаком и своим парнем. Познакомиться и наладить контакт было, разумеется, важно. Но в веселости его чувствовалась некоторая натужность, и это скоро стало меня раздражать. В бронетранспортере мы сидели вшестером, поскольку рота опять была в полном боевом составе. Но мне не хватало Гидеона, Пауля и Хоппе. Присутствие новичков постоянно напоминало, что тех, других, с нами уже нет.

Я потому, очевидно, не многое помню о той передислокации, что события, последовавшие за ней, вытеснили из памяти все предыдущие впечатления. Кроме того, уже по дороге меня не отпускало мрачное предчувствие надвигающейся катастрофы, и я не мог по-настоящему сосредоточиться на происходящем вокруг. На сей раз мы были несколько лучше информированы о положении дел на фронте — во-первых, благодаря новобранцам, которые прибыли из Берлина и слышали там последние сводки из штаба командования вермахта, во-вторых, благодаря тому, что за четыре дня передышки нам не раз доводилось беседовать с обеспокоенными местными жителями. По их тревожным вопросам о многом можно было догадаться.

В результате у нас сложилось следующее, в основных чертах верное, представление о происходящих событиях. Поскольку финны в начале сентября, последовав примеру Румынии, заключили с Советским Союзом сепаратный мир, советское командование получило возможность перебросить войска, прежде стоявшие на Карельском перешейке, на западное направление. В конце сентября войска эти вступили в Литву и вместе с другими русскими частями, которые до тех пор с большим трудом продвигались вперед на этом участке фронта, смогли прорваться к Балтийскому морю и 5 октября[2] вышли на его побережье по обе стороны от города Мемель[3]. В ре-

1. Немецкое название реки Неман. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. По другим источникам — 10 октября 1944 г.
3. С 1948 г. город Клайпеда.

зультате чего дислоцированная в Прибалтике группа армий "Север" оказалась отрезанной от Восточной Пруссии и снабжение ее могло осуществляться теперь только морским путем.



Мы не знали, что группа армий "Север" ввиду создавшегося положения запрашивала у верховного командования вермахта разрешения на прорыв к югу через ударный клин русских, но Гитлер, как это обычно бывало, подобный прорыв запретил. Группа армий "Север", очевидно, представлялась ему мощной военной силой, с помощью которой — в случае наступления русских вглубь Восточной Пруссии — он сможет с тыла нанести по ним удар и, взяв в котел, полностью разгромить, как это не раз ему удавалось в сражениях 1941 года. Однако для осуществления подобной крупномасштабной стратегической операции военной мощи — численности, вооружения, мобильности — у этой группы армий было уже явно недостаточно. Поэтому группа армий "Север" — за исключением отдельных подразделений, вывезенных по морю, — так и оставалась до конца войны на своих позициях и потом сдалась в плен советским войскам. В сражениях за Восточную Пруссию она больше не участвовала.

Война была давно проиграна, но еще далеко не закончена. И, вероятно, это и был единственный путь к безусловному ее окончанию — продолжать вести военные действия вопреки очевидной неизбежности поражения вплоть до полного разгрома. После неудавшегося покушения 20 июля и сорвавшейся попытки путча[1] предотвратить надвигающийся крах было уже нельзя, оставалось или постараться отсрочить его, или, как полагали те, кто не желал допускать и мысли о возможной капитуляции, ожесточенно биться до последнего.

Прорыв Красной Армии к Балтийскому морю был для немецкого командования и для штабов дислоцированных в Восточной Пруссии войск тревожным сигналом. Возникла реальная угроза того, что русские по побережью будут пробиваться к Кёнигсбергу, чтобы, зайдя с юга, ударить в тыл стоящим на восточной границе Восточной Пруссии немецким войскам. Но это была не единственная угроза. Судя по многим признакам, на восточной границе Восточной Пруссии также готовились к наступлению огромные силы советских войск, насчитывающие многочисленные пехотные и танковые соединения. Поэтому наконец-то было принято решение перебросить ди-

1. Заговор офицеров вермахта, одним из главных участников которого был граф Клаус фон Штауфенберг, с целью убийства Гитлера и свержения нацистского правительства.

визию "Герман Геринг", воевавшую в то время под Радомом, к югу от Варшавы, в район Инстербурга[1], где она находилась бы на равном удалении от Северного и от Восточного фронтов, то есть от реки Мемель и от реки Остфлус[2]. Дивизия эта еще не успела прибыть в Восточную Пруссию, а нас, вновь укомплектованный полк сопровождения, уже откомандировали к Мемелю с приказом: совместно с танковой гренадерской дивизией "Великая Германия" — еще дееспособным элитным подразделением, атаковать прорвавшуюся к Балтийскому морю и укрепляющую свои позиции русскую армию и, если удастся, пробиться к отрезанной группе армий "Север".



Может быть, в состав нового маневренного соединения входили и другие войсковые формирования. Не знаю. Но дела это не меняет, ведь по сути — уже из-за недостаточной поддержки с воздуха, из-за нехватки артиллерии и танков — планируемая операция была одним из тех безрассудных начинаний последних месяцев войны, которые или диктовались слепой жаждой действий, или свидетельствовали об упрямом цеплянии за остатки прежних широкомасштабных, но уже неосуществимых стратегических планов. Не исключено, что в генеральных штабах были люди, которые пытались обойти полученный группой армий "Север" запрет на прорыв окружения и потому выслали ей навстречу маневренное соединение, с которым группа армий "Север", сумей подкрепление достаточно приблизиться к ее позициям, могла бы соединиться, не навлекая на себя подозрения в попытке прорыва. В таком случае это был чрезвычайно хитроумный план, который, не обнаруживая поначалу своей истинной цели, предполагал бы ее поэтапное достижение. Возможно, однако, что не было во всем этом никакого расчета, а одна только растерянность и беспомощность.

Не помню уже точно, как мы перебрались через Мемель. Был ли там какой-то уцелевший мост, по которому смогла пройти наша колонна? Или наши машины остались на южном берегу, а мы переправились через реку на пароме? В последнем населенном пункте до переправы — кажется, это было село Кукернезе[3] — мы еще сидели в бронетранспортерах, остановив их под деревьями на обочине дороги и наскоро замаскировав, чтобы нас не обнаружили и не атаковали с воздуха. Хлеб из походного пайка мы ели с непривычными деликатесами, поскольку на

1. С 1946 г. город Черняховск.
2. Немецкое название реки Шешу́пе, левого притока Немана.
3. С 1946 г. село Ясное.

местном молокозаводе каждый смог получить, сколько хотел, молока, пахты и творога, из чего было ясно, что обычные порядок и учет в этих краях уже не действуют. Впечатление общего хаоса и распада еще больше усилилось, когда неподалеку на лесной поляне мы обнаружили груду покрытых красным воском колес тильзитского сыра, сваленных сюда, по-видимому, прямо с фургона. Необычная эта картина свидетельствовала о паническом бегстве. Найти ей объяснение мы не могли, ведь передовые танковые отряды русских сюда еще не доходили. И к горе сыра поэтому мы отнеслись как к некоему диковинному кладу, припасенному для нас в лесу неизвестным благодетелем. Прихватить с собой мы смогли, к сожалению, только по несколько кусков, откромсав их ножом от огромных сырных караваев, так как и без того были увешаны оружием и боеприпасами. А нашим бронетранспортерам за всем этим добром сюда было не проехать.

Куда нас направляют, мы не знали. Но утром, когда поступил приказ оставить машины, каждому был выдан на трое суток неприкосновенный запас, а это означало, что нам предстоят дни больших сражений, когда поставка продовольствия не гарантируется. Запас этот состоял из мясных консервов и пачки сухарей в специальной воздухонепроницаемой упаковке, именовавшихся на солдатском жаргоне "собачьими галетками". Сложности всегда возникали с питьем, так как походные фляги не вмещали и литра жидкости. Приходилось использовать любую возможность, чтобы их наполнить. Но воду разрешалось пить только кипяченую, а условие это было практически невыполнимым.

Мы шли целый день, не соблюдая строй, разбившись по отделениям и взводам и порой так растянувшись на местности, что едва не теряли из виду головную группу. Направление движения часто менялось, чтобы использовать как прикрытие то рощицу, то участок леса, через которые мы пробирались по узким, заросшим высокой травой просекам или по петляющим в кустарнике тропам, пока в очередной раз не долетала по рядам команда "Стой!", хотя почему объявлялась остановка и как долго она будет продолжаться, никто не знал. Иногда поход возобновлялся через несколько минут, иногда мы часами лежали в зарослях кустарника, словно нас по особому плану, о котором не догадывается даже наше непосредственное начальство, разместили здесь в качестве резервного отряда, но потом просто забыли. Одни, сбросив на землю свою ношу и пристроившись рядом, тут же засыпали, другие принимались за провиант, отрезая себе от дневного пайка ломоть хлеба и за-

едая его большими кусками найденного в лесу тильзитского сыра, не столько от голода, сколько из желания заполнить выдавшуюся передышку чем-то приятным или полезным и на короткий срок ощутить себя хозяином своего времени — пока не долетала по рядам новая команда "Приготовиться к маршу!", вновь подчиняя всех непостижимой логике военного маневра, влекущего нас навстречу неведомому будущему. Поднимались все почти одновременно, без спешки, но и без промедления, взваливали на плечи оружие, брались за ручки ящиков с боеприпасами и, не говоря ни слова, вновь отправлялись в путь — ровным, размеренным шагом, который ноги сами непроизвольно выбирают, когда приходится часами идти под тяжелым грузом по рыхлой, неутоптанной земле. Это были равномерные, не требующие особых усилий движения, которые поглощают все ваше внимание и потому успокаивают и даже убаюкивают. Поскольку никто не знал, что нас ждет впереди, самое лучшее было шагать в ногу за впереди идущим, ни о чем не думая, как бы упершись взглядом в его спину, точно так же, как и тот, в свою очередь, шел, приковав взгляд к спине идущего перед ним, и все знали, что идти так гораздо легче, чем первым вымерять шаг и прокладывать путь, в то время как все идущие следом уже ощущают себя упорядоченными звеньями мощного сплоченного целого.

Один раз — мы огибали тогда опушку леса — нам пришлось посторониться, чтобы пропустить нагонявшую сзади колонну из пяти танков. Судя по длинным стволам орудий, по широким гусеницам ходовой части — это были "Тигры". За орудийными башнями, теснясь, сидели солдаты в пятнистой полевой форме; проезжая мимо, они нам помахали. Это было мотопехотное подразделение из дивизии "Великая Германия", составлявшей ядро нашего маневренного соединения и, очевидно, имевшей еще в распоряжении несколько танков и другое тяжелое вооружение. Пока грохочущие громады катили мимо, вспахивая гусеницами темную, влажную землю и раскидывая в стороны огромные комья грязи, они казались нам воплощением неотразимой мощи. Но стоило им скрыться за ближайшим пригорком, как на смену восторгу пришло разочарование. Танков было пять, то есть всего ничего. Вот если бы их было пятьдесят, это бы нас больше порадовало. А так ощущение силы и военного превосходства, на мгновение охватившее нас, когда мотопехотинцы, проезжая мимо, помахали нам, очень быстро рассеялось, хотя мы и убеждали себя, что где-то чуть дальше наверняка другие танки тоже направляются сейчас к месту своего назначения, или уже стоят, замаскированные, на исходных позициях.

Но быть уверенными в этом мы не могли, и надежд наших ничто вокруг не подтверждало. Невозделанные поля, луга, редкие перелески со скудной осенней листвой под широким серым небом казались пустынными и безлюдными. Нигде никаких следов артиллерии. Может, она занимала свои позиции только после наступления темноты?

По дороге нам попалась покинутая крестьянская изба, в которой связисты оборудовали командный пункт и теперь разматывали кабель, чтобы подключить полевой телефон. На стволе дерева была прибита табличка в виде стрелки, указывавшей направо, на табличке сокращенно надпись: "Полк сопр. Г. Г. 1-й бат."[1]. Это имелись в виду мы. Высланный вперед связной-мотоциклист специально приколотил табличку так, чтобы ее сразу было видно. Это уже как-то напоминало продуманные действия, хотя нам казалось, что мы много часов подряд совершенно бесцельно блуждаем по местности, не имея ни малейшего представления о местонахождении врага, так что, не пронесись над нами на бреющем полете два МИГа, можно было бы усомниться, а существует ли он вообще.

К вечеру, когда стало темнеть, мы прибыли к месту назначения, в смешанную, если не ошибаюсь, ольхово-березовую рощицу. Небо прояснилось и особенно темно не было. Даже и продовольствие подвезли, но вот как — на вездеходе или на мотоциклах с колясками — уже не помню. От ночных часов в памяти осталась одна-единственная картина: под редкой листвой деревьев, сквозь жидкие кроны которых проглядывает ночное небо, сидят на земле люди, ежась от холода. Наступление было назначено на 13 октября, в 0 часов 30 минут. Тревожное сообщение. Как идти ночью в атаку с нашими тяжелыми пулеметами и карабинами? Для такой операции нужны легкие винтовки и автоматы. Подобное задание скорее под силу штурмовым группам, способным стремительным ударом прорвать линию обороны противника. Возможно, сначала планировалась только танковая атака, так как широкомасштабному ночному наступлению обычно предшествовала артподготовка. Но рассуждать об этом не имело смысла — от нас все равно ничего не зависело, и потому каждый, как мог, пытался скоротать эти последние часы: кто курил, кто ел, кто спал. Мы сидели с Францем Хёрнлайном и Карл-Хайнцем. Франц курил, а мы с Карл-Хайнцем опять налегли на тильзитский сыр, но тут один из унтер-офицеров сказал: "Не набивайте брюхо, ребята.

1. Полк сопровождения "Герман Геринг", Первый батальон.

А то уж точно хана будет, если в живот пулю схлопочете". О таком повороте событий я как-то еще не задумывался. Но теперь, ощутив неприятный холодок страха, отчетливо представил себе, что ранить и в самом деле могут куда угодно. Еще более зловещими показались мне эти два словечка: "уж точно" — тогда уж точно хана будет, если пулю в набитый живот получишь. Подразумевалось, что смерть от подобного ранения — это лишь одна из многих и весьма вероятных возможных разновидностей смерти, поджидавших нас, и хотя ничего нового в этом, разумеется, не было, но меня поразил равнодушный тон, каким унтер-офицер это произнес, — словно речь шла о не заслуживающих внимания пустяках.



К тому времени, когда должно было начаться наступление, никто уже не спал: все ждали боевого приказа и внимательно вслушивались в тишину. Но никакого шума, никакого грохота орудий — ни отдаленного, ни близкого — не было слышно. Видимо, возникли какие-то непредвиденные обстоятельства, и планируемую наступательную операцию, возможно, отложили или отменили вовсе. Охватившее всех возбуждение неожиданно спало, уступив место чувству досады и разочарования, словно с нами сыграли глупую шутку, оставили в дураках. В чем было дело, никто не знал. Унтер-офицеры только пожимали плечами, а командира роты нигде не было видно. Может быть, он уехал на мотоцикле с Бюссингом, одним из двух наших ротных связистов, в штаб полка за новыми распоряжениями. Может быть, были на то и другие причины. Одно мы знали: сидеть ночью в лесу, в мучительном ожидании, завернувшись в плащ-палатку, не смыкая, несмотря на усталость, глаз, ежась от холода и заставляя себя то и дело подниматься, чтобы размять затекшие ноги и похлопать по спине, все равно не справляясь с ознобом, — было уже невмоготу.

В три часа ночи до нас с северо-западного направления внезапно донесся грохот орудий. Он шел издалека и звучал приглушенно, порой похожий на барабанную дробь. Наверно, били 88-миллиметровые зенитные пушки с тяжелых танков. Значит, сражение все-таки началось, хотя и на другом фланге нашего маневренного соединения, на расстоянии нескольких километров от нас. Здесь, в лесном укрытии, нам не было видно даже вспышек сигнальных ракет, которые каждому ночному бою придают видимость торжественности. Выведенные из оцепенения, мы теперь ждали приказа к наступлению. Разобрать в темноте выражения лиц было невозможно, и разговоров тоже не было слышно, как будто далекий, пугающий, еще неясный грохот орудий перевел работу душев-

ных сил этих сидящих или стоящих в темном лесу людей в режим максимальной экономии, при котором они, повинуясь инстинкту, не позволяют себе никакой лишней траты энергии — ни на чувства, ни на слова. Отдаленный грохот орудий мог, разумеется, означать и внезапное контрнаступление русских, для которых наверняка не остались незамеченными наши хаотичные перемещения, и, возможно, их танки при поддержке штурмовых подразделений нанесли удар по непрочному соединению наших войск, еще не успевших занять свои боевые позиции и установить друг с другом надежную связь. Ведь и мы — затерянная и брошенная на произвол судьбы горстка людей — сидели сейчас в лесу без всякой пользы для других и, казалось, даже без всякой надобности.

Когда начало светать, перестрелка на северо-западе еще продолжалась, то стихая или даже на короткое время прекращаясь, то разгораясь с новой силой, как будто кто-то огромными мехами раздувал затухающий костер, подбрасывая в него сухого хвороста. По отдаленным выстрелам невозможно было понять, как проходит бой и в каком направлении он перемещается. Казалось, ни одной из сторон не удается добиться перевеса, и бой постепенно распространяется на все большую территорию, перерастая в крупное сражение.

По лесной дороге подъехал на своем мотоцикле Бюссинг, рядом с ним в коляске сидел наш ротный командир, старший лейтенант Эльснер. Он вылез из коляски и подозвал к себе командиров взводов, и те, выстроившись перед ним полукругом, стали внимательно слушать его распоряжения. Ни у кого из нас не было сомнений, что это приказ к наступлению. Чтобы чем-то себя занять, мы в который раз перепроверяли ремни, пряжки, крючки на своем снаряжении. Через какое-то время взводные, откозыряв, разошлись. Их движения были быстрыми и энергичными, как у людей, которые получили срочное, не терпящее ни малейших отлагательств задание.

Когда мы вышли из леса на открывшуюся перед нами равнину, покрытую лугами, убранными полями и перелогами, — на равнину, которой предстояло стать нашим полем сражения и которую вдали в бледном утреннем свете окаймляла темная полоса леса, где должны были находиться русские позиции, — первые три взвода нашей роты растянулись в длинную стрелковую цепь. Четвертый взвод с двумя гранатометами и установленными на лафеты станковыми пулеметами, а также группа управления с двумя связными, через которых ротный командир осуществлял оперативное руководство, поначалу оставались в арьергарде. В общей сложности в опе-

рации было задействовано около 180 человек. Позднее к ведущей наступление роте должны были присоединиться сорок обозников, чтобы организовывать в тылу пункты снабжения и, главное, доставлять на передовую боеприпасы, так как патроны при непрерывном минометном огне быстро кончались, а атакующий отряд не мог тащить с собой сразу столько боеприпасов, сколько требуется для многочасового сражения.



Пока наша стрелковая цепь, медленно продвигаясь вперед, все шире растягивалась на местности, я попытался оценить расстановку сил на нашем участке, но из-за нависшей над землей мглистой дымки понял только, что слева от нас тоже развертывается в цепь пехота — вероятно, еще одна из трех рот нашего батальона. На правом фланге никого не было видно. Я обратил на это внимание Карл-Хайнца, который шел от меня уже на расстоянии предписанных пяти-шести метров. Он тоже не знал, чем это объяснить, но, похоже, это и не особенно его волновало. Может быть, он думал сейчас о Дюссельдорфе, о том, что непременно, когда наступит мир, пойдет в свое любимое кафе на Королевской Аллее и закажет кофе и шоколадный торт с орехами, если, разумеется, мир этот вообще когда-нибудь наступит и он до него доживет. Я не стал спрашивать, о чем он думает, как и он ни о чем не спрашивал меня. Мы были друзьями, составляли один пулеметный расчет, это было первое наше большое сражение, и мы оба надеялись выйти из него живыми, как и все в этой широко растянувшейся стрелковой цепи, которая, словно на учебных маневрах, продолжала двигаться в сторону русских позиций, где все взгляды теперь были устремлены в нашу сторону и винтовки сняты с предохранителей. Для них, засевших в траншеях и пулеметных гнездах по краю леса, под прикрытием деревьев, мы были пока лишь крошечными серо-зелеными фигурками, медленно и с трудом продвигающимися им навстречу по пашням и перелогам, по болотистым лугам, пересеченным канавами, — точно группа статистов из какого-то военного фильма, которые потому так безбоязненно исполняют все указания режиссера, что точно знают: им не придется умирать. Но в фильме этом, несмотря на сегодняшнюю военную форму, речь все-таки должна была идти о какой-то давней войне, когда еще можно было наступать на вражеские позиции по открытой местности растянутой стрелковой цепью.

Тем временем уже рассвело и стелющийся над землей туман рассеялся. Занимался, казалось, прекрасный день. Но не для нас, шагавших как живые мишени навстречу врагу без всякого прикрытия артиллерии, потому что ни у кого, по-ви-

димому, — ни у командира роты, ни у штаба батальона — не нашлось другого, более подходящего плана для наступления, или просто никто не осмелился этот план предложить.



Вынужденные неотвратимо подвигаться вперед, так как только отмена приказа могла прекратить это безумие, мы приблизились на расстояние примерно 400 метров к краю леса, который по-прежнему таинственно и мрачно молчал, и Карл-Хайнц, пытаясь разгадать эту тайну, крикнул в мою сторону: "Мне кажется, никаких русских там нет!" Было это так же невероятно, как если бы он крикнул: "Мне кажется, никакой войны нет!" И ответ мы получили незамедлительно. Две красные и одна белая сигнальные ракеты взвились над русскими позициями, и тут же за ними из-за леса раздались мощные залпы русской артиллерии. Мы вступили в полосу заградительного огня. Послышались крики: "Ложись!" Пробежав еще несколько метров, мы бросились на землю. Перед нами и за нашей спиной ударили в землю снаряды, взметая в воздух комья грязи.

Мы прижались лицом к земле, по спине и по всему телу ледяной волной пробежал ужас от полной беззащитности — так пережили мы этот первый огневой шквал. По цепочке был передан приказ, последний дошедший до нас: "По одному, вперед перебежками марш!", что на деле значило: теперь каждый действует на свой страх и риск. Но направление для нас было только одно — вперед, перебежками к русским позициям. Вновь из-за леса раздались орудийные выстрелы, и, пока снаряды, описывая над деревьями высокие дуги, летели в нашу сторону, я вскочил, пробежал несколько шагов вперед и успел плашмя упасть на землю — как раз до того, как прогремели новые взрывы, взметнулись ввысь земляные фонтаны и во все стороны фейерверком разметало осколки. Раздался крик: "Санитара! Санитара!", и я краем глаза увидел, что справа, чуть дальше от нас, кто-то вскочил и бросился на помощь. Должно быть, Фиттинг, наш взводный санитар. К кому он бежал? И чем он тут мог помочь? При серьезном ранении здесь, под огнем, уж точно хана. Это уж точно. Снова пришлось прижаться к земле, так как рядом опять рвануло. Взметнулись в воздух комья земли, запахло порохом. Что делать, вскочить прямо сейчас и — вперед, на свой страх и риск? Пальба шла уже не залпами, а непрерывно, как стрекот шарманки. Забыть о том, что творится вокруг, и вперед, перебежками, — другого выхода не оставалось, только так можно было уйти от заградительного огня. Кто-то опять позвал санитара. А кто-то, наверно, уже и не в силах был больше звать. Я собрался сделать

новый бросок. Подтянув к животу ногу и чуть приподнявшись на руках, в которых держал два ящика с боеприпасами для пулемета, я вскочил и пробежал несколько шагов, выбирая место, куда упасть, хотя укрыться от разрывающихся гранат на этом ровном поле все равно было негде. На бегу краем глаза заметил слева коренастую фигуру другого вскочившего на ноги стрелка. Похоже, Обермюллер, наш новичок. Значит, еще жив. И Карл-Хайнц тоже жив. Вот он неподалеку от меня бросился на землю, и я слышу его ругательства — очевидно, ушибся, падая. Ловкостью в беге он никогда не отличался. Потому я и взял на себя роль второго номера, в обязанности которого входило бежать вперед с боеприпасами и запасными стволами, выбирать новую позицию и оттуда наблюдать за стрельбой пулеметчика. Мы пока не стреляли, хотелось подойти к русским поближе — метров на 250, чтобы не растратить, даже еще не добравшись до края леса, и без того скудный запас патронов. С Карл-Хайнцем мы по-прежнему держались, как и было предписано, на расстоянии друг от друга. Это делалось для того, чтобы в случае прямого попадания не оказались убитыми сразу два солдата. Пока пули летели мимо.

Прицельная дальность — 250 метров. Мы лежим за пулеметом, и Карл-Хайнц открывает огонь. "Бей по кронам деревьев, — говорю я, — может, снайперы там". Он выпустил три очереди и отодвинул пулемет, а я по-пластунски отполз вбок, чтобы не вставать на ноги в том месте, откуда мы стреляли. И на землю я бросился не там, где будет наша новая огневая позиция, а поодаль, и только потом туда переполз. Карл-Хайнц следом за мной проделал тот же маневр. Так нас учили. От вражеских пуль это еще в какой-то мере могло защитить, если стреляешь и перебегаешь в укрытие, все время меняя место. Но в случае заградительного огня, который перепахивал взад и вперед всю полосу наступления и, наводимый русской артразведкой, мощным огневым валом шел за нами по пятам, от подобных хитростей было так же мало пользы, как и от сноровки, находчивости или отваги. Против заградительного огня бессильны любые уловки, любая тактика, его нельзя перехитрить или сбить с толку, потому что он бездумно молотит все без разбору. "Смотри, береги себя, жалко будет, если с тобой что случится", — сказал мне на прощание Гидеон. Но совет его не годился для этой ситуации, где все решает только случай и статистика.

Прицельная дальность — 180. Ни слева, ни справа от нас никто уже не вскакивал и не бежал вперед. Где они все — Обермюллер, Эди Мюллер и Траутман? Где Фиттинг, где Гёрлах,

где Хёршельман? Ранены, что ли, все или убиты? Или это мы слишком далеко вперед вырвались? Справа от нас раздается пулеметная очередь. Должно быть, Франц Хёрнлайн. А там, под его огневым прикрытием, побежали двое. Наверно, Трауттман и Эди Мюллер. Больше трех шагов делать теперь нельзя, и тут же надо падать на землю и переползать в укрытие. Русские пулеметы не дают приподняться, стоит только кому-то из наших вскочить, как из вражеских траншей сразу следуют прицельные выстрелы. Однако и залеживаться здесь тоже нельзя, так как сверху нас поливает заградительный огонь. Спастись от него можно, только двигаясь вперед. Примерно за сто метров от русских позиций мы вышли бы из-под обстрела артиллерии противника и гранатометов. Но там, под плотным оборонительным огнем русских стрелков, уж и подавно нельзя будет задерживаться. Тем из нас, кто к тому времени еще останется в живых, придется пробиваться в лес и готовиться к рукопашному бою. И это при наших-то тяжеленных пулеметах, с ящиками боеприпасов в руках и запасными стволами, болтающимися за спиной, и пистолетом "Вальтер" с восемью патронами, который был моим единственным оружием. Но как же я забыл, ведь у каждого есть еще по четыре ручные гранаты-лимонки, подвешенные на ремне. Чтобы при необходимости суметь их побыстрее бросить, я решил отвинтить на два оборота все предохранительные колпачки на вытяжных шнурах.

Прицельная дальность — 150. Лежим в лощине, поросшей вереском, все так же под перекрестным огнем артиллерии и пехоты. Бежать дальше пока невозможно, и своих совсем потеряли из виду. Неизвестно, жив ли кто вообще. Карл-Хайнц заправляет в пулемет новую ленту, выпускает несколько очередей по зарослям кустарника на краю леса, потом отодвигает пулемет и прижимает голову к земле. Теперь очередь за мной. Надо менять позицию, и я опять должен бежать первым. Больше трех прыжков уже не сделаешь. Я никак не могу собраться с духом: взять и во весь рост, как мишень, предстать перед врагом. Я все медлю, мельком бросаю взгляд на ручные гранаты у меня на поясе и вдруг вижу, что предохранительные колпачки на них совсем отвинтились и все четыре вытяжных шнура выпали. Стоило бы мне вскочить, как один из них наверняка зацепился бы за ветки вереска и я подорвался бы на собственной гранате. "В чем дело?" — спрашивает Карл-Хайнц, а я быстро заталкиваю шнуры обратно и снова крепко завинчиваю предохранительные колпачки. "Ничего особенного". Объяснять сейчас, что случилось, я не могу, еще не пришел в себя. Потому молча вскакиваю, делаю три, четыре прыжка вперед, падаю на живот, не разбирая куда, и быстро боком отползаю в сторо-

ну. А ведь я бы уже мог взлететь на воздух. Мне стыдно за свою глупость — и как только могла прийти в голову эта дикая мысль свинчивать предохранительные колпачки, но леденящий ужас, охвативший меня в первое мгновение, когда я увидел четыре болтающихся на животе вытяжных шнура, уже отступил. Я жив, и задумываться над тем, что могло бы случиться, некогда. Карл-Хайнц, проделав тот же маневр, что и я, устраивается рядом. Он пристально вглядывается поверх пулеметного ствола в опушку леса, выпускает очередь по кустам — примерно туда, куда стрелял прежде, потом переводит дуло правее. Тут же в ответ — бешеная автоматная дробь. Несколько в стороне — тарахтенье других пулеметов; и снова, как резкие щелчки, отдельные винтовочные выстрелы — это уже не стрельба с рассеиванием, а прицельный огонь. В каждом отдельном выстреле, даже при грохоте разрывающихся снарядов, чувствуется хладнокровная решимость. Но, может, мы все же сумеем прорваться к русским позициям?

Снова надо готовиться к броску. Но в этот момент прогремел взрыв, и меня полоснуло сзади по ноге, чуть выше подколенной ямки, будто кто-то с размаху заехал мотыгой и острый конец ее вонзился глубоко в тело. Я услышал свой собственный крик. В этом крике, как ни странно, была скорее ярость. Будто кричал я в бешенстве, оттого что кто-то посмел нанести мне сзади вероломный удар. Крик этот был больше уместен в другой ситуации, но именно он вырвался у меня, когда рядом в землю ударила граната и осколок попал мне в ногу. Только спустя какое-то время я осознал, что случилось, и до меня наконец-то дошло: я ранен.

Боль в ноге поначалу казалась не такой сильной, как можно было ожидать, точно засевший в ней осколок не только поранил ногу, но и лишил чувствительности. Стоило, однако, пошевелить ногой, как жжение и резь усилились. Судя по рваным краям раны, внутри засел довольно большой, с зазубренными краями кусок железа. Сам разглядеть рану я не мог, так как лежал на животе и не в состоянии был повернуться. Но Карл-Хайнц, который тут же ко мне подполз и пошире разорвал продырявленные осколком брюки, сказал, что рана не особенно кровоточит. Значит, артерия не задета. И сухожилия тоже не повреждены. "Отпускное ранение, на родину отправишься", — сказал он.

В голосе его послышалась зависть, или мне только показалось? А может, то был упрек, что я бросаю его в трудную минуту? Хотя он не подавал виду, но смириться с новой ситуацией ему было нелегко. Между нами словно пролегла пропасть.

Если я теперь был одержим одним-единственным желанием — как можно скорее выбраться отсюда, то он это же страстное желание, которое не могло не передаться ему, должен был в себе подавить. "Привет там всем, на родине", — прибавил он. Может быть, он хотел сказать этим на прощание что-то дружеское, подбодрить меня, пожелать удачи — не знаю. В слове "родина" для него заключалось все, о чем он мечтал, но о чем не смел, запрещал себе думать. Я ответил ему: "Счастливо", или что-то в этом роде. Получилось так формально и сухо не столько оттого, что времени для прочувствованных прощальных речей не было, но потому, что в голове у меня постоянно вертелся один-единственный вопрос, и я боялся, как бы он не сорвался у меня с языка: "Как мне поскорей отсюда выбраться?! Только бы отсюда выбраться!"

Несколько недель спустя я узнал, что Карл-Хайнц погиб в тот же день от ранения в голову. Думаю, в тот момент, когда мы прощались, он уже почти наверняка знал, что ему не пережить этого дня. Мне показалось, что мысль эта тенью пробежала по его лицу. И только приближающийся вой снарядов помог ему побороть мгновенный приступ оцепенения и паники. Он громко окликнул Обермюллера, а я снял со спины запасные стволы, вытащил пистолет, отцепил от ремня четыре гранаты, чтобы передать их Обермюллеру. Какое было облегчение от всего этого избавиться.

Но как же выбраться отсюда: я лежал плашмя на животе в каких-нибудь 150 метрах от русских позиций, раненую ногу мог только слегка согнуть, но двигать ею по-настоящему не мог. Ждать, что меня кто-то вынесет, было бессмысленно. Рассчитывать приходилось только на свои силы. И это единственное, что мне теперь оставалось, — спасать свою жизнь.

Как пришла мне в голову идея ползти, пятясь назад, не знаю. Может быть, я посчитал, что двумя руками отталкиваться будет легче, чем одной здоровой ногой. Но думаю, дело было не только в этом: просто я инстинктивно, вне зависимости от всяких практических соображений, не мог ползти иначе — мне было страшно повернуться к врагу спиной. Я бы каждую минуту ждал выстрела в спину, тогда как обращенный к врагу взгляд служил каким-то магическим заслоном, за которым беззащитное тело и раненая нога казались в большей безопасности.

Положив раненую ногу на здоровую, я мог слегка приподнимать ее и так передвигать обе ноги назад, предварительно каждый раз отталкиваясь руками. Такой способ передвиже-

ния — как у гусеницы — требовал от меня огромных усилий; военная куртка, хотя и подпоясанная ремнем, все время задиралась на животе, цепляясь за кусты вереска. Но все-таки я на удивление быстро продвигался в нужном направлении. Целью моей была большая скирда из кубов спрессованного сена в семидесяти или восьмидесяти метрах за моей спиной — мимо нее мы шли в атаку. Добравшись до скирды и укрывшись за нею, я смог перевести дух. Это был первый этап моего возвращения к жизни. Там я получил возможность оглядеться и решить, что делать дальше.



Оказавшись в укрытии, я сел. За мной была стена примерно в четыре куба шириной и не меньше того высотой. Пулеметы и винтовки достать меня здесь не могли, а главная волна заградительного огня, если не считать отдельных шальных снарядов, уже откатила. Но выходить из укрытия было нельзя, потому что местность по-прежнему простреливалась русской пехотой. Да я бы все равно не смог подняться на ноги, а ползти дальше в тыл по широкой открытой равнине, по которой мы шли сюда, казалось делом безнадежным.

Я сидел за скирдой и смотрел на свою вытянутую раненую ногу, которая теперь болела сильнее. Нога лежала на земле так беспомощно и неподвижно, как будто не была частью моего тела, а представляла лишь средоточие всех моих бед. Раны я и теперь не мог видеть, но по изорванным в клочья брюкам, которые, пока я полз, еще больше промокли и липли к коже, я догадался, что рана кровоточит. За спиной у меня по-прежнему гремела оружейная пальба, а передо мной простиралась широкая, безмолвная равнина. Сколько сейчас времени, я не знал: иметь часы нам не полагалось. Единственной моей личной вещью был складной карманный нож с консервным ключом. Им я сумел вскрыть банку консервов из неприкосновенного запаса, чтобы поесть. Больше все равно делать было нечего. С тех пор как я принял сидячее положение, поле моего обзора увеличилось. На правом фланге действовала, по-видимому, теперь еще одна наша рота. Но как там обстоят дела, я разобрать не мог, потому что рота залегла. Они обеспечивали прикрытие нашим в наступлении. Невдалеке, ближе к левому флангу, я заметил шестерых солдат из четвертого взвода — те перекатывали на новую огневую позицию станковый пулемет. Потом и они залегли в укрытие и стали напряженно всматриваться вдаль. Пулеметчик, оказавшийся с краю, неожиданно повернулся ко мне и спросил, что случилось. “Ногу осколком гранаты ранило”, — крикнул я. Он кивнул, но задерживаться не мог: отделение его двинулось дальше. Вскоре послышались длинные пулеметные очереди.

К общему шуму орудий прибавились теперь новые звуки: тяжелые сдвоенные удары, при которых звук разрыва снаряда долетал почти одновременно с хлопком от выстрела. Это, должно быть, заговорила "рач-бум", как ее у нас называли, — русская противотанковая пушка, которая тогда уже перестала быть серьезной угрозой для новых тяжелых танков и потому чаще всего использовалась для стрельбы по так называемой живой силе противника; заряжали ее гранатами с взрывателем мгновенного действия. Тот, кого настигал такой снаряд, тут же превращался в кровавое облако.

Из-за скирды появился раненый унтер-офицер из первого взвода, он подсел ко мне передохнуть. Он был ранен в плечо, пуля размозжила ему правую ключицу. Вся правая сторона его формы была пропитана кровью. Он сказал, что продвинуться вперед нам пока не удается и что атакующие застряли на рубеже примерно ста двадцати метров от русских позиций. Треть наших солдат, если не больше, ранена или убита. Тяжелораненым помощь не оказывают. Франца Хёрнлайна накрыло снарядом из "рач-бум". От него вообще ничего не осталось. "А Иван все выжидает, пока мы наши патроны не расстреляем, — сказал он, — вот тогда он и перейдет в наступление". Я подумал о Франце Хёрнлайне, от которого и следа больше не осталось, и тут же отогнал от себя это страшное видение. "Ну что, пошли?" — спросил унтер-офицер, поднимаясь на ноги. "Я не могу идти", — сказал я. "А если за меня держаться будешь?" Но и это абсолютно исключалось. Чтобы по-настоящему на него опереться, мне пришлось бы обхватить его рукой за плечи, но при его ранении это было невозможно. Я глядел ему вслед. Правая рука его бессильно болталась. Вдруг его всего передернуло, как от удара током, он упал и уже больше не двигался. Прямое попадание снайпера, который наверняка тут же сделал у себя еще одну отметку. Было ясно, что пора уходить, пока не началось контрнаступление русских, но я еще надеялся, что быстро подоспевшее подкрепление — может быть, та самая рота на правом фланге или наш четвертый взвод — все-таки сможет переломить ход сражения. Унтер-офицер лежал не шевелясь. Надежд на то, что я сумею передать на родине привет от Карл-Хайнца, оставалось все меньше.

За моей спиной отчетливо слышалось потрескивание, но я не сразу понял, в чем дело. Зажигательный снаряд попал в скирду, и она постепенно разгоралась. Медлить было нельзя. Нога распухла и онемела, и я с большим трудом смог отползти в сторону. Вокруг скирды постепенно расползалось густое облако дыма. Я подумал: задержись унтер-офицер чуть по-

дольше, был бы сейчас жив. Но мне от дымового прикрытия пользы не было. Неожиданно в дымовой завесе показалась еще чья-то фигура. Я громко крикнул, чтобы обратить на себя внимание. Оказалось, штабной связист. Тот обрадовался, так как благодаря мне получил возможность на какое-то время выбраться из-под обстрела. Он помог мне подняться на ноги, точнее, на одну — ту, на которой я еще мог стоять, — другая же, чуть согнутая в колене, беспомощно висела, так что носок ботинка чуть касался земли. Боль в ноге тут же усилилась, но другого выхода у меня не было: речь шла о жизни и смерти. И, повиснув всей своей тяжестью на плечах связиста, чье имя мне, к сожалению, теперь не вспомнить, я, ковыляя, отправился под прикрытием дымовой завесы обратно в тыл.

Время от времени связист оставлял меня стоять на одной ноге или усаживал на землю, если на дороге или неподалеку от нее замечал убитого. Он наклонялся к нему, отламывал нижнюю половину медальона с личным знаком и брал ее с собой. Один убитый лежал в канаве с водой — он, наверно, укрывался там от снарядов. Это был один из наших новобранцев, и это был его первый день на фронте. Видимо, смерть настигла его при первом же накате заградительного огня. Связист вытащил убитого из канавы, расстегнул у него на груди форму и отломил половинку от медальона с личным знаком. Меня поразило, каким белым было мокрое лицо убитого. Мы пошли дальше. "Как, можешь еще?" — спросил связист. "Разумеется", — сказал я, хотя мне казалось, что распухшая нога вот-вот лопнет.

Мы остановились ненадолго в крестьянской избе, где два обозника устроили склад боеприпасов. Они поинтересовались, как дела на передовой, но связист только огрызнулся в ответ: дескать, сами будто не знаете, а вот если не поторопитесь и в кратчайший срок не доставите на передовую боеприпасы, русские скоро будут здесь... Хотя это, разумеется, не входило в его обязанности, связист все-таки проводил меня еще метров пятьсот — до первого санитарного поста, где фельдшер промыл и продезинфицировал мою рану, наложил повязку и дал мне напиться. Очередную партию раненых только что увезли, и надо было дожидаться новой машины. Я лежал на скамейке и глядел в небо, туманно-белесое, подернутое пеленой бесформенных облаков. С ногой после длительного перехода стало совсем худо: рана горела, боль никак не унималась, но я был готов терпеливо все сносить, как плату за такое мое везение — за счастье избежать той страшной участи, той катастрофы, что постигла нашу роту. У меня все никак не шел из головы рассказ убитого унтер-офицера: что на передовой под

ураганным обстрелом раненым никто не оказывает помощи, не уносит их с поля боя, и они лежат под шквальным огнем, совершенно беспомощные, их ранят, наверно, во второй и в третий раз, и они, постепенно теряя надежду, умирают в страшных мучениях. Может быть, и лучше умереть так, как Франц Хёрлайн, разорванный в клочья противотанковым снарядом. Ощущаешь ли ты в этот момент взрыв, или сознание покидает тебя раньше? Нам никогда не узнать.

Не могу сказать, что мысль эта меня успокоила, но я просто перестал об этом думать. После того, как связист передал меня в санчасть и сам тут же ушел с двумя обозниками подтаскивать на передовую боеприпасы, я почувствовал — то ли из-за полного физического изнеможения, то ли из-за недостаточной крепости духа, — что мысленно уже отдаляюсь от своей роты и от тревог за боевых товарищей. Я больше ничем не мог им помочь. Теперь я был в ответе только за свою жизнь.

Возможно потому, что раненые с поля сражения больше не поступали (хотя нельзя представить, что новых раненых не было), или потому, что русская артиллерия теперь начала обстреливать немецкие тылы, обещанная машина все не приезжала, и здесь, в полутора километрах от передовой, в случае наступления русских спастись мне было бы сложно. Фельдшер, пришедший посмотреть, как у меня дела, ничего конкретного обещать не мог. А над нами шквалом проносились русские реактивные снаряды, и нельзя было знать, где они в следующий миг разорвутся. Может быть, на подходе были резервные немецкие войска? Или сражение охватывало все большую и большую территорию? Наконец машина все-таки приехала. Не санитарная, а обычный грузовик. Водитель и его напарник положили меня в кузов прямо на голые доски. Поднимая задний борт и пристегивая к нему брезентовое покрытие, водитель сказал: "Извини, приятель, придется поддать газку, а то в песке завязнем. А потом, стреляют ведь кругом. Так что уж потерпи". — "Езжай, чего там", — ответил я, даже не подозревая, что в следующие десять минут мне предстоит пережить самую страшную в моей жизни боль.

Мчались они действительно как сумасшедшие. Машину швыряло из стороны в сторону, будто дыбящаяся под колесами земля таранила снизу грузовик, поминутно подкидывая его в воздух, а я, так как мне совершенно не за что было ухватиться, мотался в кузове из стороны в сторону и вновь и вновь со всей силой ударялся раненой ногой о деревянные доски. Казалось, кто-то копьем ковыряет у меня в ране, стараясь с силой загнать его поглубже. На самом деле, никакое это не копье дырявило мне плоть, а зазубренный кусок железа. Я

кричал не переставая. Или это скорее помимо моей воли кричало мое тело, криком откликаясь на каждый новый приступ нечеловеческой боли. А может, кричало и не мое тело, которое, уже почти бесчувственное, летало по кузову из угла в угол, точно какой-то мешок с тряпьем, — кричала сама боль.



Когда машина остановилась и брезент отстегнули и закинули наверх, я увидел обеспокоенные лица водителя, его напарника и двух санитаров с повязками красного креста на рукавах. Один из них сказал мне: "Издалека тебя было слышно". Санитары осторожно и умело переложили меня на носилки и перенесли через деревенскую улочку в какое-то невзрачное здание, в котором, как выяснилось, раньше размещалась деревенская школа. В двух единственных классных комнатах, полностью освобожденных от прежней мебели, на полу, на толстом слое соломы, лежали раненые. Когда меня внесли, почти все, кроме тяжелораненых, посмотрели в мою сторону. Из нашей роты здесь, кажется, никого не было.

Я был так измотан перевозкой в грузовике и всем, что до этого произошло на передовой, что, несмотря на шум голосов, мгновенно заснул. И спал очень крепко. Точно знаю, что не войну я видел во сне. Война стала сниться мне только годы спустя, когда уже давно наступил мир. Проснулся я от криков поблизости. Один раненый кричал другому: "Вот идиот! Ты что — хочешь, чтобы мы все здесь сгорели заживо?!" Тот, на кого кричали, решил, несмотря на строжайший запрет, закурить прямо в комнате, и горящая спичка или пепел от сигареты упали на солому. Занявшийся было огонь кое-как удалось потушить. Опасность сгореть заживо была нешуточная. Двое дежуривших здесь санитара не смогли бы вытащить из огня и малой части всех лежачих раненых. Меня, правда, положили неподалеку от одного из трех окон. Я бы, наверно, как-то еще сумел выбраться. Думаю, я бы, скорее всего, спасся.

Странное чувство спокойствия неожиданно овладело мной. Все происходящее вокруг я воспринимал с холодным равнодушием — как будто страшнее того, что уже было, ничего случиться не может, и теперь мне остается только безучастно за всем наблюдать. Я никого здесь не знал и потому мог держаться обособленно. После долгих месяцев тесного сосуществования с другими людьми, особенно в последние недели на фронте, я опять как бы обрел самостоятельность и не зависел больше от своего окружения, я был одним из многих и отличался от других лишь степенью тяжести ранения и вытекающей отсюда очередностью моей дальнейшей транспортировки в тыл, а во всем остальном был предоставлен самому себе, и это казалось мне редкостным счастьем.

До вечера было далеко, и время тянулось очень медленно. Нам принесли воды, кормить было нечем. После вчерашней гонки в грузовике на голых досках состояние моей раны сильно ухудшилось, осколок задел артерию, и на ноге постепенно образовывался кровяной волдырь. Но я этого, разумеется, не знал. Я чувствовал только непрерывную пульсирующую боль. После наступления темноты раненых стали по очереди вывозить, на этот раз на санитарных машинах, челноком сновавших к перевязочному пункту и обратно. Машина, в которой я лежал на нижних носилках, застряла в песке неподалеку от реактивной установки, и пока водитель и санитары раскапывали буксующие колеса, над нами непрерывно раздавался вой выпускаемых ракет и небо то и дело освещалось яркими вспышками. Значит, сражение еще продолжалось. Выпустив по неприятелю очередную серию снарядов, ракетная батарея передвинулась на другую позицию. Очень скоро мы услышали уже русские самолеты, а машина наша все никак не трогались с места. Ударили первые бомбы. Раздались крики, и в нашей машине, которую сотрясало взрывными волнами, началась паника. А я по-прежнему молча и безучастно лежал на своих носилках, точно какая-то высшая сила заставляла меня с удивительным спокойствием и покорностью фаталиста подчиняться судьбе. В том же спокойствии я пребывал и когда глубокой ночью на перевязочном пункте меня несли в санитарную палатку, где уже много часов подряд, без перерыва, оперировали несколько врачей. Что они делали с моей раной, не знаю. Было больно. Но достать осколок они не смогли.

Следующие два с половиной дня я оставался на перевязочном пункте. Нас опять разместили в бывшей школе, на этот раз на двухъярусных кроватях. Вокруг — раздраженные и измученные санитары, нетерпеливые или апатичные раненые. У одного голова была вся перебинтована, но он то и дело, ничего не соображая, вскакивал с кровати, спотыкался и снова бился обо что-то своей раненой головой. Наконец вопрос санитара: "Кто может сидя ехать в автобусе?" Я отозвался, и санитар почему-то не возразил. Так я добрался до санитарного эшелона, который, подобно сельской подводе, вез с поля сражения свой урожай, и подвода эта была полна до самых краев.

# Миленко Ергович

# *Отец*

Главы из книги

*Перевод с хорватского и вступление* Е. Солодовниковой

Миленко Ергович начал писать эту книгу сразу после кончины отца. Ее можно считать романом, эссе или мемуарами. "Отец" — это история о том времени, когда люди скрывали друг от друга порой самое важное, о семейной мимикрии и "отдельно взятом аде" в доме приличного гражданина социалистической страны. Миленко Ергович пишет о предательстве, "о близости и стене между отцом и сыном", о прощении того, что прощению не подлежит, о смерти и страхе. Эта книга сродни хирургическому вмешательству, которое автор без наркоза, "вживую", вершит над самим собой.

## IV

ОТЕЦ родился в 1928 году в Сараеве. У его матери Штефании Ергович было пять сестер и брат, на два года моложе моего отца. Их отец Марко Ергович, почтальон, в Сараево перебрался из Личко Лешче[1]. Был он азартным игроком и мог спустить всю зарплату, играя в кар-

© Miljenko Jergović
© Е. Солодовникова. Перевод, вступление, 2011

1. Личко Лешче – городок в Лике, горной области Хорватии. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ты или в лотерее, поэтому нередко всей семье приходилось впроголодь дожидаться следующего месяца. В городе у них, словно у сирот, не было ни единого родственника, который мог бы их иногда подкармливать.

И вдруг случилось чудо — Марко Ергович выиграл в лотерее. Сумма выигрыша оказалась неслыханной в истории Сараева и тогдашней очень короткой истории Королевства сербов, хорватов и словенцев. Об этом событии написали в газетах, у моего прадеда Марко брали интервью, он стал знаменит от Загреба до Белграда. Даже после мировой войны вплоть до семидесятых, я тогда был еще ребенком, жило воспоминание о том, как почтальон Марко разбогател, выиграв в лотерее.

Часть денег он потратил на покупку двух домов. Знаю, что один из них был под Бистриком. Несколько следующих месяцев, может, даже целый год богато и сытно жилось в доме Ергович.

Моя бабушка Штефания, тогда маленькая девочка, захотела учиться игре на фортепиано. Отец купил ей инструмент, правда, дочка оказалась совсем немузыкальной.

Марко Ергович быстро проиграл все оставшиеся деньги, а потом и оба дома. И вновь они бедствовали, только на этот раз им было гораздо тяжелее, ведь они уже познали, как это бывает, когда ты богат, уважаем и тебе завидуют. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что бабушку Штефанию до конца жизни мучили воспоминания о пагубной страсти к игре моего прадеда Марко и о выигрыше, который никого не осчастливил. Это не могло не оказать влияния на формирование личности моего отца и определило его судьбу, а частично и мою тоже.

Незадолго до начала войны одна из сестер сбежала из дома с крупным почтовым чиновником Будимиром Дмитриевичем — солунским борцом[1], обладателем звезды Карагеоргиевича[2] второй степени. Звали эту сестру Мелания, а я ребенком звал ее тетя Мила. Из родни по линии отца тетя Мила и дядя Буда были мне ближе всех.

Остальные члены семьи были потрясены бегством Мелании, но особенно их потрясло то, что она вышла замуж за

1. Открытие Солунского фронта во время Первой мировой войны было попыткой союзников помочь Сербии осенью 1915 г. в борьбе против Германии, Австрии и Болгарии. Солунский фронт просуществовал до 1918 г. вплоть до освобождения Сербии.
2. Карагеоргиевичи — сербская королевская династия, правившая страной в 1842–1858 гг. и с 1903 по 1945 гг.

серба. Долгие годы, вплоть до конца Второй мировой, они слышать не хотели ни о Мелании, ни тем паче о ее муже.

Члены семьи прадеда Марка относились к "обиженным" католикам. Кое-что из той самой ерговической обидчивости, вероятно, унаследовал и я, хотя часто и предпринимаю безуспешные попытки ее подавить. Эта такая особенность характера, когда тебя переполняет жалость к самому себе, когда даже в светлый и радостный момент жизни тебя не покидает мысль, что тебя обманывают, что тебе не воздали по заслугам и что ты самый обделенный и несчастный человек на земле. Из-за этой особенности характера не складывается твоя жизнь, страдают твои близкие, и ты остаешься один, потому что с "обидчивыми" тяжело ужиться. Я все это признаю, но ничего не могу с собой поделать.

Кстати, моя "обидчивость" никак не связана ни с какой идеологией, или мне только кажется, что не связана, потому как мои родственники страдали и от католиков, то есть несправедливость была скорее ниспослана с небес, и утешение они находили в шовинизме. К тому же речь идет о двадцатых-тридцатых годах прошлого века, об "ориентальном" Сараеве, где на самом краю римского христианства бушевал кровавый антагонизм, где люди искренне уверовали в то, что евреи распяли Христа и что православные — в основном раскольники, схимники, не знающие Бога.

Мой бедный прадед, твердолобый выходец из Лики, проигравший в пух и прах счастье и благополучие семьи, и не подумал взять вину на себя, а свалил всю ответственность за свои невзгоды на евреев и православных. Первые подняли руку на Сына Божьего, а другие отобрали у него дочь, что уж тут говорить?

## V

Бабушка Штефания полюбила сараевского просветителя, совладельца частной школы, в которой, кроме других предметов, преподавали буддийское учение. Звали его Джордже Видович, и он свято верил в то, что общая грамотность сделает этот мир лучше. Вместе с братом Миленко они были завидными женихами межвоенного Сараева, особенно для девушек из бедных семей. Только вот Джордже, очевидно, не любил Штефанию. Подобные истории стары как мир: он быстро сошелся с ней, наградил ребенком и пропал из ее жизни.

Сараево — небольшой и компактный город, зажатый среди гор, поэтому испокон веков считается, что все тут друг

друга знают и каждый день встречаются. Но деду Джордже до конца жизни каким-то образом удавалось избегать встреч со Штефанией, а также с ее сыном, моим отцом Доброславом, хотя прожил мой дед до глубокой старости и умер в середине семидесятых.

Когда я думаю о Джордже, я испытываю к нему жалость, но при этом совсем не жалею отца, несмотря на то, что рос он без строгого мужского ока. Деду следовало бы быть в курсе того, по каким улицам его сын ходит в потемках. Я просто ощущаю живую боль своего отца, вызванную еще и тем, что Сараево такой небольшой и компактный город.

## VI

Обманутая и брошенная бабушка Штефания с началом войны дождалась лучших, праведных времен. Будучи человеком глубоко верующим и городской активисткой, плюс к этому хорваткой до мозга костей, она умудрялась все свои жизненные унижения спрятать за разговорами о королевстве "пришлого свинопаса" Карагеоргиевича и находить в этом утешение. И, разумеется, ее крайне обрадовало то, что в апреле 1941 года, как раз на католическую Пасху была провозглашена независимая Хорватия, которая расширилась до Сараева и далее на Восточную Боснию[1]. Предполагаю, что это стало главным событием в ее жизни. Не всем выпадает такое везение. Прямо как в полной чудес сказке о Золушке, где тыквы превращаются в кареты, а мыши в белогривых скакунов.

Я часто размышляю о тех днях 1941 года — начиная со школьной скамьи, когда я прочел все, что можно было найти в библиотеках об Анте Павеличе и его державе. Что в то время чувствовала бабушка Штефания, чем она занималась, с кем говорила? О чем она думала, когда еще до прихода немецких войск и усташей в город, местная шпана, цыганята из Горицы, — не страшная ли это ирония? — громила и грабила синагогу? Стояла ли она неподалеку, наблюдая за всем этим? И

1. 10 апреля 1941 года в Загреб вошли немецкие войска, и было провозглашено Независимое Хорватское Государство (НХГ). От имени его лидера, Анте Павелича (1889–1959), торжественно объявил об этом историческом событии ветеран усташского движения Славко Кватерник. Произошло это в Страстную пятницу, и загребские газеты писали: "Провидение Господне в согласии с решительными действиями наших союзников способствовало тому, что сегодня, накануне светлого Воскресения Христова, воскресло и наше Независимое Хорватское Государство... все, что верно в христианстве, стоит на стороне немцев".

где она была, когда крушили витрины сербских лавок? Бросила ли она и свой камень вместе с другими погромщиками?

Ответственность за Холокост — это общая, коллективная ответственность. Раскаяние за геноцид НХГ над сербами, евреями и цыганами также общая, коллективная ответственность. Нести ее должны те, кто тогда был хорватом, их дети, внуки и правнуки, все и всегда, без разбора, — были ли они фашисты или антифашисты, были ли их близкие убиты вместе с сербами, евреями и цыганами. По другую сторону от общей, коллективной ответственности — коллективная безответственность. Но существует еще и нечто другое, лежащее в области семейных отношений, — семейные истории, воспоминания, легенды, то, о чем люди пишут и размышляют. Говорят, что зло, или склонность к нему, не передается генетически, но унаследовал же я непреходящую обидчивость от бабушки Штефании — значит, и тут существует живая, кровная связь, преемственность.

Вот родился я с дефектом нижней челюсти, над исправлением которой потом годами трудились сараевские ортодонты, значит, и физический недостаток, и отсталость в умственном развитии передаются из того времени, ведь что-то оказало влияние на мою бабушку Штефанию и заставило ее радоваться разгрому синагоги.

В этом смысле моя ответственность другая. Она имеет особую подоплеку.

Штефания Ергович активно включилась в движение усташей через женские и молодежные объединения. Она жила по правилам своего времени в полном согласии с модой и господствующей идеологией, когда, скажем, в обеспеченных семьях Сараева — выходцев из Загреба — укрепились идеи, "импортированные" из Германии от нацистской партийной элиты. Речь идет об усыновлении детей-сирот, и неважно, кто были их родители — четники, партизаны или просто пострадавшие от союзнических бомбардировок. Несмотря на бедность, Штефания взяла себе одну девочку, притом отнюдь не по велению доброго сердца. Она просто отчаянно боролась за то, чтобы вновь стать частью того класса, к которому относилась в недолгий период, когда ее отец выиграл целое состояние в лотерее. А может, она никогда не забывала свой короткий роман с бонвиваном Джордже.

Думая о ней, я всегда думаю и о себе.

Штефания Ергович негативно повлияла на мое общественное и классовое самосознание. Я всегда ощущаю неловкость, когда попадаю в элитное, изысканное общество, например, на открытие выставки или на премьеру спектакля,

особенно, если мне выказывают церемонное уважение. Но мне легко и просто с социально деклассированными элементами. В то же время, постоянно думая о ней все эти годы, я настолько "вошел в образ", пытаясь чувствовать и мыслить, как она, что сегодня перед светящимся чистым экраном компьютера легко могу сыграть усташа, хорватского "маленького человека", который уже в следующей мизансцене признается, что готов ради идеи убить даже такого покровителя злочинств, как Макс Лубурич[1]. В тексте и сюжете моего сценария будет психологическое и эмоциональное оправдание его поступков. Со мной что-то похожее случается. Но когда создаешь новый характер и пробуешь войти в образ, к примеру, пытаешься думать и чувствовать как жертва усташей или рядовой антифашист из 1941 года, творческий процесс идет гораздо тяжелее, неуверенно и непредсказуемо. И в этом тоже, как и в моем раннем интересе к прочтению всего, связанного с НХГ, – влияние и заслуга бабушки Штефании.

## VII

Моего отца, семнадцатилетнего гимназиста, в начале апреля 1945 года остановил на улице партизанский патруль, когда он возвращался из школы. Его мобилизовали, втолкнули в товарняк, а потом в грузовик и отправили в Карловац, где произошла кровавая и ненужная схватка, типа той, что за несколько месяцев до этого была на Сремском фронте, там пролегала последняя линия обороны НХГ, известная в усташской пропаганде, как черта Звонимира.

Отец никогда об этом не рассказывал.

Впрочем, я никогда не говорил с ним о его жизни.

Все, что я о нем знаю, рассказано другими. Он отвечал улыбкой на любой вопрос, обнимал так крепко, что у меня похрустывали ребра, стискивал мне предплечье, отчего у меня потом долго не сходили синяки, а мама и бабушка думали, что я подрался в школе. До конца жизни он был гораздо сильнее меня. Однажды в луна-парке, чтобы пофасонить перед мамой, он ударил молотом по "измерителю силы", зазвонил колокол, заморгала разноцветная иллюминация, грянул туш, а мне в руки пролился дождь из мятных леденцов – в качестве награды самому сильному человеку на свете. Их было четыре-пять ки-

1. Макс Лубурич – усташский офицер, комендант концлагеря, организованного усташами в Ясеновце – на территории Хорватии, неподалеку от Книна.

лограммов, но я не хотел ни с кем делиться, это были леденцы моего отца, они долго не кончались, пока через пару лет не слиплись в единую липкую массу и к моему ужасу, несмотря на горькие слезы, были выброшены в мусорную корзинку. Одна конфетка все же приклеилась ко дну ящика, и я хранил ее вплоть до начала войны, а после не знаю, что с ней стало.

Все свои душевные силы отец бросил на то, чтобы оградить себя от моих вопросов о своей жизни.

В то же время он охотно отвечал на все другие: откуда берутся дети, как возникает рак, что такое аборт, кто такие гомосексуалисты — мужчины, которые вместо женщин любят других мужчин, говорил он, и тогда я спросил, могу ли и я однажды стать одним из них?

В то время, когда я задавал подобные вопросы, было мне лет пять-шесть. Отец радовался, что я не спрашиваю о другом, поэтому с энтузиазмом, несмотря на мой возраст, рассуждал о том, о чем обычно цивилизованные родители с дошколятами не говорят.

Не знаю, что было с ним дальше, когда прорвали Звонимирову черту, был ли он в том подразделении, которое гнало *банду* к словенской границе, а потом до Австрии? Возможно, был. Сколько раз, перерывая стопки книг в библиотеке, вчитываясь в дневники членов партизанских отрядов, я пытался проследить военный путь отца в надежде где-нибудь обнаружить его имя или увидеть на фотографии. Я неуклонно продвигался по направлению к Словении и Австрии, туда, где брали в плен, а потом расстреливали в лесах и оврагах, где нашими партизанами творились зверства по образу и подобию Катыни. Потом эти цифры в новой хорватской историографии достигнут мифических значений — будто партизаны тогда убили и вырезали целый хорватский народ, — по численности чуть ли не больше того хорватского народа, который остался в живых.

Первый раз на материалы о Блайбурге[1], и Крестном пути, и послевоенных массовых ликвидациях партизанами врагов народа — усташей, патриотов, белогвардейцев, четников — я внезапно наткнулся в сараевской народной и университетской библиотеке, где изучал личность и деятельность Анте

1. Блайбург — город в Южной Каринтии (Австрия), где с 18 мая по 2 июня 1945 г. многие рядовые и младшие командиры хорватских формирований сдались югославским партизанам, чему способствовали и британские части, принимавшие участие в этой акции. Англичане не сомневались в том, что угрозы Тито по поводу аннексии Каринтии вполне могут стать реальностью. Павеличу, членам правительства НХГ и усташским главарям удалось скрыться. Через некоторое время многие из них оказались в Аргентине, Австралии, США, Испании и других странах.

Павелича. Случилось это летом 1983 года, мне было семнадцать лет, родня была рада, что их "ученик" так рано увлекся книгами и образовательным процессом, и по блату мне удалось получить доступ в здание библиотеки и разрешение рыскать по всем стеллажам и укромным уголкам этого учреждения. Родня ошибочно считала, что от этого не будет никакого вреда, — уж пусть лучше читает, чем пьет или, не дай Бог, пристрастится к наркотикам.

Непросто описать, что чувствовал в те первые посттитовские и довольно либеральные, но все еще социалистические годы невинный и неподкованный в идеологическом смысле юноша, когда он прочел о том, как партизаны убивали безоружных людей. Конечно, это вражеская пропаганда, по-другому и быть не может, но эта "ложь" все-таки застревает в тебе, и ты никак не можешь от нее отделаться, а говорить на эту тему ни с кем не смеешь, потому как понимаешь, что не успеешь и глазом моргнуть, как "загремишь на нары", если кто-то узнает, что ты, пусть и в библиотеке, читал вражескую дезинформацию.

Был ли отец там, в Словении и Австрии в 1945-м?

Я не мог об этом не думать. Карловац ведь недалеко. Освобождая страну, большинство воинских формирований двигалось именно в этом направлении. Короче, убивал ли мой отец? Вероятно, да, он же был на войне. Ему было всего семнадцать, и он учился на одни пятерки, в той же самой Первой гимназии, в которую потом пошел и я, правда, мои успехи были гораздо скромнее. Скорее всего, его и других ребят его возраста разместили в какой-нибудь брошенной казарме или еще где-то.

Знаю, что демобилизовали его под конец лета.

В Сараево он вернулся полуживой и больной сыпным тифом.

Бабушка Штефания поначалу не хотела впускать его в дом, ведь он ушел с партизанами убивать хорватов. Он лежал в постели и стонал, а она говорила, пусть лучше умрет. Как в каком-нибудь эпосе — деталь, почти не встречающаяся в литературе и совершенно невероятная в реальной жизни, она не хотела подать сыну стакан воды, а его непрестанно мучила жажда. В тот момент две сестры Штефании уже находились в лагере беженцев в Италии, откуда собирались, само собой, не без помощи одного священника, эмигрировать в Аргентину. Третья сестра, Паулина Славка, была монашенкой в монастыре в Сараеве. Четвертая несла на себе груз домашнего хозяйства, а вот для пятой, тети Милы, наконец настали лучшие времена, поскольку теперь она уже могла не бояться, что нагрянут усташи и бросят дядю Буду в какой-нибудь Ясеновац.

Штефания и три ее сестры больше не решались публично оплакивать НХГ. Четвертая, Паулина Славка, верила в Бога и пыталась защитить своих сестер от них самих, а пятая, тетя Мила, запомнит НХГ, как вместилище всяческого зла.



Для многих других представителей того поколения НХГ было скорее абстрактной идеей, а вовсе не страной. Павелич сумел воодушевить людей, его модель общественных и семейных отношений существенно отличалась от той, что была выстроена в нацистской Германии. Наш южный балканский менталитет — совсем другой: немцы гораздо сдержаннее в проявлении эмоций, мы же горячи и порой агрессивны. В отличие от Германии, в которой злодеяния были поставлены на промышленно-бюрократический конвейер, в НХГ все было на артельно-ремесленном уровне.

Жертв у нас могло быть и больше, и в соответствии с максималистскими критериями послевоенной югославской пропаганды их было даже недостаточно. В Ясеновце, к примеру, уничтожено не семьсот тысяч человек, как говорилось в учебнике истории для восьмого класса, а всего лишь немногим больше сотни тысяч, то есть если прибегать к уравнениям "демонической математики" — раз в семь меньше.

Кустарность усташских фабрик смерти, с одной стороны, выглядит не так жутко по сравнению с нацистскими, потому как, попросту говоря, было ликвидировано гораздо меньше людей, а с другой стороны, ведь у любой артели подход к делу — всегда отличный от промышленного, это ручная работа, в нее вложены эмоции отдельных мастеров, их знания, устремления и инициатива, которая порой превосходит ожидаемый результат. Так что преступления усташей действительно имеют множество отличий от нацистских — они гораздо изощреннее.

И у наших обычных почтенных граждан, которые всего лишь наблюдали за злодеяниями, связи с НХГ гораздо более прочные, чем у обычных немцев с нацизмом в Германии. Освенцим был тайной, о которой в Берлине и Мюнхене не имели представления. Немцы, конечно, замечали, что у них бесследно пропадают соседи, и должны были понимать, что их исчезновение означает только одно — смерть, но в отличие от хорватов, они не знали, ГДЕ умирают их соседи, а о Ясеновце все знали всё.

Может, в той артельно-ремесленной природе усташского злодейства и скрывается причина, из-за которой даже спустя шестьдесят пять лет хорваты с большой неохотой и контробвинениями включаются в разговор о местном Холокосте и геноциде.

У них всегда виноват кто-то другой: немцы ли, которые принесли нацизм в Хорватию, как американцы кока-колу, а у несчастных хорватов не было выбора, поэтому и кока-колу стали пить и нацизм применять на практике; или вина лежит на англичанах, которые в 1945 году в Австрии, на поле близ Блайбурга, предали усташей, бросив на произвол судьбы, а потом обвинили их в нацизме и в своих СМИ десятилетиями, вплоть до наших дней, раскручивали ложь о злодеяниях усташской державы и местного хорватского нацизма. Впрочем, мы же знаем, что ни нацизма, ни усташской державы, как таковой, вовсе не было, а хорваты в течение всей войны только и делали, что молились и вместе с архиепископом Алоизием Степинацем[1] спасали евреев, хоть и не понимали толком, от чего, от какой такой погибели должны были их спасать. Еще можно свалить вину на коммунистов, сербов, югославов и прочих к ним приближенных, они ведь только и знают, что все преувеличивают и рассматривают события, не принимая во внимание ни время, ни исторический контекст. Вот и на события семидесятилетней давности они смотрят как на вчерашний день, но разве может сегодняшнее поколение держать ответ за то, чего оно не совершало, да и наших дедов и прадедов, скорее всего, злобно оговаривают.

В те зимние дни 2010 года, когда умирал мой отец, и чуть позже, когда его могилу припорошило снегом, вероятно, последним перед приходом весны, не так-то легко было найти взрослого хорвата, нормального, без отклонений в развитии и психике, готового включиться в обсуждение специфического, кустарного хорватского фашизма, и так, чтобы ваш собеседник ни разу бы не отклонился от основной темы разговора, не переведя его на другие малые народы с их разновидностями фашизма, например, на сербов, куда уж ближе, ведь и они такие же бедные, несчастные и недалекие, потому так легко и переняли моду из Германии.

## VIII

Отец не умер от сыпного тифа. Он выжил и простил свою мать. Не до конца, правда, потому как ни тогда, ни после не

1. Алоизий Степинац (1898–1960) – в 1934 г. был назначен папой Пием XI епископом Загреба. Был ярым националистом и противником режима Тито в послевоенной СФРЮ, в 1946 г. был арестован и приговорен к шестнадцати годам заключения в тюрьме Лепоглава, спустя пять лет был переведен под домашний арест.

смог приблизиться к тому состоянию души, в котором мог бы ее простить. Ведь она всегда и во всем была права. Не знаю, как он пришел к этому и опасался ли он за нее, я ведь не мог с ним об этом поговорить, а если и пытался поговорить, то только с теми, кто его знал, или с другими людьми, испытавшими это чувство безграничной любви и сердечной привязанности. Но после нескольких первых фраз мои собеседники уже начинали сыпать педагогическими постулатами, психиатрическими терминами или же цитатами из Пауло Коэльо, и я делал вывод, что ответа на мой вопрос нет и быть не может.



Если бы он был не таким сильным, если бы он не обнимал меня каждый раз, когда я приставал к нему с расспросами, наверно, я смог бы попытаться понять то, что ощущает больной сыпняком сын, которого родная мать готова со свету сжить за идеологическое несогласие.

Этот эпизод не особенно трогал меня в эмоциональном плане. Я рассказываю об этой истории, как будто она случилась с чужим отцом. Для меня сейчас это уже скорее драматургическая коллизия, даже скажем, судоку, но не больше. Пробуя превратить ее в авторский текст, я не раз оказывался перед неразрешимой проблемой. Как написать об этом, чтобы не впасть в патетику ранней соцреалистической послевоенной прозы? В конце концов, как подступиться к этой теме, чтобы не вызвать сомнения в правдивости истории?

В нашем литературном наследии — а никакого другого не существует, когда мы говорим о культуре и языке, — нет эпического произведения о злодействе матери и о том, как революционная идеология разбросала членов семьи по разным сторонам баррикады.

Случалось, брат убивал брата, чувство братства у нас на этом и основано: не убей Каин Авеля, мы бы понятия не имели, для чего нужны братья. Любая "наша" война за последние пятьсот лет была *братоубийственная.* В самой сути братоубийства — трагичный аспект. Иначе наши войны были бы — говоря языком астрологов — исключительно позитивно аспектированы. И люди не были бы братоубийцами, а делились бы только на жертв и мучеников.

И вот тут наше наследие, как литературное, так и историческое, обрывается. Сцена, где мать винит умирающего сына за то, что он предал Бога и Отечество, не возможна по определению. Человеческий разум не в состоянии принять это. Вот и мой отец поначалу не мог с этим смириться, потому как в его ближайшем окружении такое не могло произойти больше ни с кем.

Как часто, смотря предлинные фильмы Бергмана, скажем, "Персону" или "Молчание", я жалел о том, что Бог обде-

лил меня подобным талантом, что не наградил даром мистификатора, какой был у великого шведа, потому как имей я хоть малую толику этого дара, я бы превратил историю о тифе в потрясающую театральную постановку с двумя главными действующими лицами: матерью и сыном. Спектакль бы не завершился, а зрители не могли бы покинуть зал до тех пор, пока не поймут до конца мотивации поступков главных героев — той, что обвиняет полуживого, мечущегося в бреду сына в национальном предательстве и приверженности коммунизму, и того, кто не в состоянии принять эти обвинения.

Жаль, что я не Бергман. Однажды зимой я видел в Стокгольме диких уток, плавающих среди административных зданий.

Сам эпизод с умирающим сыном и матерью никогда не брал меня за живое и не вызывал у меня чувство стыда и желания найти людей, чтобы поговорить с ними обо всем, так как знал, что у отца могут быть неприятности. Вот если б я смог написать об этом повесть или даже роман, непременно бы это сделал, потому что отец в нем сумел бы разглядеть и свою жизнь. И все остальные, посвященные в историю с тифом, тоже догадались бы, что писал я об отце.

В этом и состоит мера моей свободы в литературе по отношению к отцу: я брал события из его жизни, которые касались его лично, или легко угадываемые черты его характера, вплетал их в некую другую, порой совсем чужую судьбу, в которой его жизнь уже переставала быть его собственной. Так мне удавалось общаться с ним, беседовать и задавать ему вопросы, но гораздо чаще этим способом я сводил с ним счеты, давая ему понять через мои наполовину вымышленные истории, что он слабак и в общем ничего из себя не представляет, раз лишил меня возможности по-настоящему быть ему сыном.

Отец бы прочитал книгу, потом позвонил бы мне и похвалил. Он сказал бы мне все, что ему наговорили другие о моей новой книге, все, что он вычитал о ней в газетах или услышал в телевизионной программе и не высказал бы ни единого замечания. Даже если вдруг у него и возникли бы какие-то вопросы, скорее всего, это касалось бы только стиля. Или же какой-то эпизод мог показаться ему слишком затянутым или какой-то персонаж чересчур уж выписанным.

Помнится, он сказал мне недавно, что надо написать о Сребренице[1]. Это больная тема, сказал он, и никто из *них* об

1. Сребреница — населенный пункт в Боснии, печально известный по массовой расправе сербов над мусульманами в самом конце войны 1995 г.

ЭТОМ не напишет, как ЭТО того требует. Пиши о Сребренице, пока есть силы, все остальное может подождать.

И хотя не так уж занимал меня его тиф, но влияние на меня он имел безусловное. А на отца как раз это не оказало влияния. О тифе я впервые услышал незадолго до войны 1991—1995 годов. Это была одна из семейных историй об усташах, и для меня она стала еще одним поводом, чтобы задуматься о той самой ответственности. Усташи в моей жизни были в стенах нашего дома. Я не мог ни прогнать их, ни сказать, что тема меня не трогает, и захлопнуть дверь, как перед бродячими торговцами с их чудесными миксерами и средствами от морщин.



## IX

28 ноября 1945 года в Сараеве Военный суд Шестой армии завершил процесс над Иваном Чондричем и Франьо Шлафхаузером, а также еще двадцатью гражданами — священниками, монахинями и простыми людьми, — преимущественно католиками, обвиненными в попытке свержения власти и сотрудничестве с незаконными формированиями усташей, которые еще прятались по лесам Боснии.

Судебный процесс приурочили к католическому Рождеству, а родня и друзья подсудимых перешептывались, что их близким ставят в вину всего лишь пение молитв, таких как "Райская дева, королева хорватов". Их обида была огромной. И еще большим был их страх.

Правосудие вершилось открыто, хотя и под контролем, — зал никто не должен был покидать или входить в него во время заседания суда. Присутствие на подобных процессах даже членов семьи расценивалось в то время как проявление сочувствия контрреволюционерам и вражескому стану.

Лучше всех это противостояние описал, прибегая к аллегориям, Меша Селимович в романе "Дервиш и смерть". Расспрашивая о судьбе заточенного в темницу брата Гаруна, дервиш Ахмед Нуруддин бросает вызов государству и общественному порядку.

На заседании суда прокурор спросил Франьо Шлафхаузера, что он думает о Поглавнике[1]. Католическому священнику было двадцать шесть лет, родился он в Доньем Чевляновиче в семье железнодорожника-кувераша[2], служил капелланом в Зенице.

1. Поглавник — глава НХГ Анте Павелич.
2. Кувераш (от *нем.* Koffer — чемодан) — так пренебрежительно называло коренное население Боснии всех пришлых из других краев.

Закончил францисканскую гимназию в Високом, а богословскую в Сараеве. К моменту ареста он успел пробыть в священниках неполных два года. На вопрос прокурора он ответил совершенно спокойно, без надрыва: "Анте Павелич был хороший человек. Пока власть хорватов не вернется в Боснию до берегов Дрины, не будет мира в этих краях".

Франьо Шлафхаузер и Иван Чондрич были приговорены к смертной казни и расстреляны. Под церковными сводами в Сараеве и Зенице судачили о том, что им посулили помилование, если они откажутся от сана и женятся. Но они не согласились.

Люди верили в подобные россказни. Странный и необъяснимый католический андерграунд. Как объединяет нас всех эпическое стремление к самопожертвованию, в котором принцип важнее головы на плечах.

Среди осужденных, правда в самом конце списка, оказались Мария Ергович, которую приговорили к пятнадцати месяцам лишения свободы и принудительным работам, а также Штефания Ергович, получившая шесть месяцев заключения вместе с принудительными работами.

# Чарльз Бернстин

## *Военные истории*

Стихотворение

*Перевод с английского* Яна Пробштейна

Война — продолжение прозы другими средствами.

Война дает вам возможность никогда не извиняться.

Война — логический итог моральной правоты.

Война — способ разрешения конфликтов для людей с замедленным эстетическим развитием.

Война — медленный челн в рай и поезд-экспресс в ад.

Война — либо неумение общаться, либо решительный отказ от общения.

Война — первое средство, к которому прибегают негодяи.

© Charles Bernstein, 2003
© Ян Пробштейн. Перевод, 2011
Редакция благодарит Чарльза Бернстина за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации его стихотворения на страницах журнала.

Война — законное право бессильных сопротивляться всесильным.

Война — наваждение, точно так же как мир — иллюзия.

"Война прекрасна потому, что объединяет ружейный огонь, канонаду, прекращение огня, благоухание и вонь гниенья в одну симфонию"[1].

"Война — решение, как сделать то, что должно быть сделано"[2].

Война не подтверждает правоту ее противников.

Война — это другие.

Война — пятимильная прогулка по кладбищу в одну милю.

Война — способ природы сказать: "Я же вас предупреждала".

Война — предоставление возможностей.

Война — это "японизированный кусок бывшей нью-йоркской надземки с шестой авеню"[3].

Война — это основа справедливости и гарант свободы.

Война — разбитые мечты патриота.

Война — медленная смерть идеализма.

Война — реальная политика стариков и жесткая реальность для молодых.

Война — прагматизм с нечеловеческим лицом.

1. Из "Манифеста футуристов" Ф. Т. Маринетти. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Цитата из эссе "Композиция как объяснение" Гертруды Стайн.
3. Аллюзия на стихотворение Э. Э. Каммингса "Платон говорил...": платон говорил / ему; он не хотел / поверить (иисус говорил / ему; он ни за что / не мог поверить) <...> ...наконец / японизированный кусок / бывшей нью-йоркской / надземки с шестой авеню / угодил ему по башке / и втемяшил. Перевод В. Британишского. Речь идет о том, что японцы закупили старый металл, переплавили его на снаряды и стреляли ими в американцев во Второй мировой войне.

Война для государства — то же, что отчаяние для человека.

Война — конец пути для тех, кто все потерял.

Война — это стихотворение, боящееся своей тени, но яростное по форме.

Война — это мужчины, превращенные в сталь, а женщины — в пепел.

Война — жертва истины, так же как истина — жертва войны.

Война — это переодевание нагих.

Война — опиум для политиков.

Война изменяет статистику заболеваемости и смертности.

Война — это поэзия без музыки.

Война — это мир, предавший богатства земли.

Война — как горилла за телетайпом: не всегда это лучший выбор, но иногда единственный из возможных.

Война — лихорадка, питающаяся кровью.

Война — не более чем расширение понятия "*танатос*".

Война — способ старшего поколения исправить ошибки молодости.

Война — моральна, мир — этичен.

Война — наивысшее развлечение.

Война — сопротивление плоти.

Война — способ капитализма испытать пределы своих возможностей.

Война — неизбежный продукт классовой борьбы.

Война — тетушка технологии.

Война — оправдание для множества плохих антивоенных стихов.

Война — право угнетаемых.

Война — неустаревающая новость[1].

Война — главное оружие революции, никогда не достигающей своей цели.

Война платит за тех, кому нечего терять.

Война — сюрреализм без искусства.

Войну нельзя выиграть, в ней можно выжить.

Война — две кривды, затмившие правду.

Война — забвение разума во имя принципа.

Война — жертва во имя идеала.

Война — надругательство над реальностью.

Война несправедлива, даже когда справедлива.

Война — месть мертвых живым.

Война — месть по ошибке.

Война — плач ребенка в черном, женщины в красном, мужчины в голубом.

Война — это бессилие.

Война — это сырье.

Война — это объявление борьбы одного государства с другим и необъявленное насилие государства над собственным народом.

Война — не порок при защите свободы; примиренчество — не добродетель при необходимости самозащиты.

1. Аллюзия на "Азбуку чтения" Эзры Паунда: "Литература — это неустаревающая новость".

Война — злейший враг деспотизма.

Война — лучший друг деспотизма.

Война — решение, но какой проблемы?

Война — это лошадь, взнуздавшая всадника.

Война — неадекватный символ человечества.

Война — лучший способ раздувать тлеющие угли древней вражды.

Война — это борьба за сердца и умы бессердечных и неразумных.

Война — это история, рассказанная победителями.

Война — это гибель цивилизации в борьбе за цивилизацию.

Война — цель, которая оправдывает посредственность.

Война — это внедорожник для всех папаш-болельщиков и общественниц-мамаш.

Война затевается богатыми, но платят за нее бедные.

Война — это качественная альтернатива телешоу "Вы ни бельмеса не знаете: секреты кухни с Майклом" и "Фактор страха: как жениться на незамужней"[1].

Война — это не метафора.

Война лишена иронии.

Война — откровенность открытых действий.

Война — игра в шахматы, вырезанные из человечьей плоти.

1. Видоизмененные названия популярных телешоу. "Фактор страха" — подлинное название шоу, вторая часть — издевка над такими шоу, как "Незамужняя" и "Как выйти замуж за миллионера". Выражение "You don't know Jack" означает: "Вы не знаете разговорного языка" (жаргона) и одновременно подразумевает Майкла Джексона.

Война — тактическое насилие ради стратегического доминирования.

Война — деятельность на международном поприще, призванная отвлечь от безразличия к внутренним проблемам.

Война — загнанный дьявол.

Война — наша единственная надежда.

Война — наше наследие.

Война — наше достояние.

Война — наше право.

Война — наша обязанность.

Война оправдана, только когда она прекращает войну.

Война не заканчивается, даже если она закончена.

Война всегда рядом.

Война — это ответ.

Война — здесь.

Война — вот она.

Война — это настоящее.

Война — это мы.

# Марион Ингрэм

# *Операция "Гоморра"*

Эссе

*Перевод с английского* Екатерины Филатовой

Летом 1943-го в Гамбурге стояла на редкость сухая и жаркая погода. Мы тогда жили втроем на Хассельбрукштрассе в квартире на пятом этаже: мама, маленькая Рената и я. Мне было восемь лет, и я всегда уважала и слушалась старших. Но однажды, в конце июля, мама велела мне кое-что сделать, а я не послушалась, и до конца своих дней буду счастлива, что не выполнила ее просьбу. Она сказала мне отвезти Ренату к моей двоюродной сестре Инге на другой конец города, и ждать там. Мы отправились в путь. Я страшно радовалась, что иду по улице сама, без взрослых, да еще и присматриваю за сестрой. Прохладный соленый ветер с Северного моря усыпил Ренату, так что я спокойно катила серую плетеную коляску с такими большими колесами, что ручка доходила мне аж до подбородка. И вдруг я развернулась и побежала домой. У мамы что-то случилось. Она проплакала почти всю ночь, а почему, не сказала.

Я вспоминаю тот день и думаю о том, как многого тогда не знала. Не знала, что немецкие чиновники уже внесли наши имена в списки на отправку в концлагерь; что офицеры военно-воздушных сил Великобритании уже изучали план Гамбурга по

© 2006 by Marione Ingram. Reprinted by permission of the author
© Екатерина Филатова. Перевод, 2011

аэрофотоснимкам; что бомбардировщики уже разгонялись на взлетных полосах Восточной Англии. Всему этому суждено было стать частью моей жизни в самом ближайшем будущем.



Я открыла дверь квартиры и замерла. Мама, скорчившись, лежала на полу перед кухонной плитой. Газовые горелки шипели, словно злобные гуси. На мамином платье желтела шестиконечная звезда, а значит, помощи ждать было неоткуда. Многое изменилось в нашей жизни, шел 1943 год, и людям, что могли бы выручить меня, давно заткнули рты.

Стараясь не дышать, я за руки дотащила маму до столовой, но там дело застопорилось — одежда цеплялась за ковер. Я сняла штору, открыла форточку, в комнату и наши легкие ворвался наконец воздух. Мама лежала скорее на спине, чем на боку, — бледная, веки опущены, рот чуть приоткрыт, — но, кажется, все-таки дышала.

Я села на пол, подставила ей под голову свои колени и попыталась сообразить, что делать дальше. Внизу, у дверей, где осталась коляска, захныкала сестра. Я побежала за Ренатой и положила ее на пол рядом с мамой в надежде, что крики голодного младенца приведут ее в чувство. Не помогло. Я подсунула маме подушку и пошла искать для нас с Ренатой еду. Нашла несколько картофелин, налила в кастрюлю воды, чиркнула спичкой. Вспышка, громкий хлопок, запахло паленым волосом. Я не сдавалась, с третьей или четвертой попытки горелка зажглась. Сварив и размяв картофелины, я накормила Ренату, переодела и уложила в кровать, на которой мы спали все втроем, когда отец был в отъезде.

Год назад нас было четверо, но отцу удалось пристроить среднюю дочь, Хельгу, в семью на ферму под Гамбургом. У Хельги были светло-русые волосы, зеленые глаза и бледное лицо. Она не очень отличалась от других городских детей, которых отправили за город к родственникам, чтобы уберечь от бомбежек. Отец не был евреем. Он служил в люфтваффе в Бельгии, но не боевым пилотом, а в составе командования по снабжению при рейхсминистре Геринге — именно это ведомство вполне прилично кормило немцев за счет оккупированных стран. Папу завербовали бойцы штурмового отряда. Они избили его до полусмерти, отшибли почки и предложили выбор: поступить к ним на службу или умереть вместе с еврейкой-женой и детьми. Работа давала отцу возможность подкармливать нас, так что мы не умерли с голоду, когда отменили продовольственные карточки. Папа и его брат, Эжен Эйстрахер, были активными членами Сопротивления (хотя я и не вполне понимала тогда, что это означает). Дядя служил в окку-

пированной Франции и предпочел самоубийство допросу и пыткам в особом отделе СС — "отрядах Вознесения". В свой последний приезд папа рассказывал, что гестапо устроило обыск в его комнате в Брюсселе. Мама считала, что именно из-за Эжена гестапо (где она отчитывалась каждую неделю) заинтересовалось нами больше, чем другими евреями.



В ту ночь я перенесла Ренату с кровати на пол, уложила ее на две подушки, укрыла их с мамой ситцевой простыней и легла рядом. Бомбежки наш сон не нарушали, но я часто просыпалась и проверяла, не пришла ли мама в сознание. Утром она, наконец, открыла глаза. Мама плакала, обнимала и целовала Ренату.

Вскоре пришла Инга, дочь сводного брата отца, ее родители держали продуктовую лавку. А еще они прятали еврейку, что свидетельствовало об их мужестве и твердости убеждений.

Инга взбежала к нам на пятый этаж и никак не могла отдышаться.

— Я так за вас волновалась, — сказала она, — но раньше прийти никак не могла. Наша квартирантка получила вчера приказ явиться в пункт отправки в концлагерь. Пока мы были в магазине, она попыталась покончить с собой.

Вот теперь я все поняла. Мама вытерла слезы и показала Инге повестку: через пять дней мы должны были прийти в парк Моорвайде. Оттуда уже увезли в концлагерь всех наших теток, дядьев, дедушек, бабушек, двоюродных братьев и сестер, как и почти всех остальных евреев Гамбурга. Мама рассказала сестре, как хотела спасти детей, как попросила меня отвезти Ренату к Инге и как попыталась свести счеты с жизнью. Она надеялась, что ее найдут мертвой, и власти успокоятся. Инга молча взяла маму за руки. Женщины долго сидели рядом и смотрели друг другу в глаза, будто искали в них что-то. Я заваривала чай, а они разговаривали. Власти отключили нам телефон. Инга пообещала при первой же возможности сообщить отцу о том, что нас отправляют в лагерь. Уходя, она забрала Ренату с собой.

Той ночью было слишком жарко даже для последней недели июля. На горизонте полыхали зарницы, но дождя не было, не чувствовалось даже малейшего дуновения ветерка. Мы легли спать вскоре после захода солнца. Я устала и с удовольствием устроилась у мамы под боком. Из-за духоты я никак не могла заснуть, да еще мама ворочалась, тяжело дышала и вскрикивала во сне, может, из-за того, что надышалась газом, а может, это известие об отправке в лагерь так ее расстроило. Я и сама ужасно переживала, так что, когда через час завыла сирена, я все равно не спала.

И почти сразу же здание содрогнулось от взрыва. Стены, потолки и окна затряслись, нас осыпало штукатуркой и осколками стекла. Лампы и картины разбросало по комнате. Воздушная волна от второй бомбы сорвала с петель входную дверь, снесла лепнину, подоконники и оконные рамы, опрокинула столы и книжные шкафы. За окном встала стена огня, и третий взрыв прогремел как будто прямо в голове. Кровать ударило о противоположную стену и перевернуло.

Я никак не могла прийти в себя. Очень хотелось в туалет по-маленькому, но страшно было терять время — я не знала, что с мамой. В воздухе белым облаком висела штукатурная пыль, полы стали скользкими от разбитого стекла. Я пописала на смятые тряпки, при этом умудрившись удержаться на ногах и не замочить штанишек. Мне показалось, что в другом углу то же самое делала и мама. Я попыталась докричаться до нее, но кругом выли бомбы и гремели взрывы. Через огромную дыру, что раньше была окном, было видно, как на балконы соседнего здания сыплется белый фосфор. Некоторые куски падали на столы, и там светились и тлели, будто ужин инопланетян. В свете языков пламени виден был каждый цветок герани на балконах. Пока я искала обувь, в крышу нашего дома угодила зажигательная бомба. Я нашла одну туфлю, а мама вторую. Не в силах произнести ни слова, мы обнялись, ощупали друг друга, убедились, что все цело, и осторожно спустились по заваленной обломками лестнице во внутренний двор.

Мы укутали головы одеялами, словно огромными шалями, и побежали к тяжелой металлической двери в подвал, служивший бомбоубежищем. Мама подобрала раструб огнетушителя и стучала им по двери, пока не открыли. Выглянул наш сосед в каске, блокляйтер[1] Видерман.

— Что вам здесь надо? — строго спросил он.

Вместо ответа раздался оглушительный взрыв. Видерман захлопнул дверь. Мама снова постучала, и голова герра Видермана опять появилась в проеме. Мы попытались протиснуться внутрь.

— Вы обязаны нас пустить! — кричала мама. — Наш дом разбомбили! Мы погибнем на улице!

На койках в бомбоубежище лежали и сидели люди. Несколько человек поднялись и подошли к двери. Один из них, человек-морж, бородатый, усатый и растрепанный, поднес фонарь к маминому лицу.

— Евреи! — закричала какая-то женщина. — Евреи! Проклятые евреи!

1. Блокляйтер — домоуправ. (*Прим. перев.*)

Голос был не молодым и не старым, и в нем не было даже намека на сострадание. В нем поочередно прозвучали удивление, возмущение и, наконец, ярость. Женщина что-то еще говорила, но взрывы заглушили ее речь. Я очень надеялась, что хоть остальные нам посочувствуют; все-таки из бункера рев снаружи казался не таким страшным. Но тут начала кричать фрау Видерман. Она требовала, чтобы муж вышвырнул нас вон. Правила запрещали пускать в убежища евреев, а Видерман был здесь представителем власти и отвечал за всех.



— Тебя будут судить! — кричала она. — О семье подумай!

— Подумай о нас, папочка! — заплакала их дочь Моника, моя бывшая подружка. Она прижимала к груди любимую куклу и отворачивалась от меня, как будто боялась, что я отберу игрушку. — Подумай о нас!

— Слушай своих! Гони этих евреев! — Это заговорил мужчина с фонарем. Он был пьян, и от него пахло шнапсом.

— Их отправят в лагерь через два дня, — сказал герр Видерман. — Я сам видел приказ.

— Тем более надо их вышвырнуть, — заключил человек-морж.

Герр Видерман обернулся, чтобы указать нам на дверь, но мама опередила его. Она умоляла его и всех остальных оставить в бункере хотя бы меня. Как ни странно, некоторые смягчились, только вот мне совсем не хотелось оставаться без мамы. К счастью, мягкосердечные были в меньшинстве.

— Это все евреи-большевики виноваты! — зарычал кто-то хрипло. — Они всех нас продали. И англичанам подсказали, где бомбить.

Мысль показалась мне любопытной, но мама сказала, что это смешно.

— Мой муж служит в люфтваффе, — кричала она. — Он приезжает со дня на день. Вы за это ответите!

Разъяренная толпа требовала выгнать нас немедленно. Фрау Видерман пихнула мужа, и тот распахнул дверь. Но мама не вышла, а, наоборот, протиснулась еще дальше.

— Вы ответите... — еще раз вскрикнула она, и в убежище стало тихо. Мама молча смотрела на соседей, и глаза ее сверкали в свете фонаря обидой и гневом. Она больше не боялась — наоборот, почти торжествовала. Зато в глазах тех, что смотрели на нас из темноты, читался страх — они словно поняли, что, отказав нам в помощи, навлекли на себя проклятие. Очередной взрыв потряс здание. Мама спокойно наклонилась ко мне и заботливо поправила на мне одеяло. Герр Видерман попытался вытолкнуть ее, но она резко высвободилась и взяла меня за руку. Мы вышли на улицу. Дверь за нами с лязгом захлопнулась.

Ложный рассвет осветил небо на юго-востоке, подрумянив мамины щеки и окрасив стены домов на нашей стороне улицы в огненно-красный цвет. Сквозь проемы выбитых окон было видно, как оранжевое и желтое пламя танцует на фортепьяно, пожирает книжные шкафы и лижет стойки кроватей. Вдоль Хассельбрукштрассе несся горячий шквал, по пути склоняя почти к самой земле деревья и срывая с них ветви и листья. Огонь подбирался и к нашим одеялам. По-прежнему палили зенитные пушки и ощупывали небо лучи прожекторов, но бомбы вроде бы стали взрываться реже. Ниже по улице из-под тротуара бил почти метровый фонтан воды. Сюрреалистичная картина. Через арку мы снова вернулись во внутренний дворик. Из-под крыши дома, совсем рядом с нашими окнами, вылезли розовые языки пламени, похожие на лепестки тюльпана.

Мы увидели пожарных и обрадовались, потому что обычно они не выходили из укрытия, пока не закончится воздушный налет. Пожарные размотали шланг, но напора не было. После бомбежек в воскресенье и понедельник подачу воды удалось возобновить, но сегодня первые же бомбы повредили водопроводные магистрали, отсюда и фонтаны вроде того, который мы только что видели.

Несколько пожарных на другой стороне улицы пытались открыть металлическую дверь подвала-бомбоубежища ломом, а один сидел на вершине длинной лестницы и пробивал дыру в крыше соседнего дома. Мы боялись приближаться к ним — они могли на нас донести, — но я все же подошла и расслышала, как один кричал другому, что дым от огня в соседнем здании проник в убежище через тоннель. Я представила себе, какой ужас переживают те, кто задыхается в бомбоубежище, и на секунду даже порадовалась, что осталась на улице. Наконец дверь бомбоубежища удалось открыть. Пожарные начали выносить людей на улицу. И тут снова раздался ужасный вой, потом оглушительный грохот взрывов — началась новая волна бомбежек. В небе кружили "ланкастеры" и "галифаксы". Огромная бомба упала так близко, что у меня едва не лопнули барабанные перепонки, и стена здания рядом с убежищем рухнула. Мы в ужасе закричали: пожарный, тот, что пробил дыру в крыше, упал вместе с лестницей прямо в огонь.

Бомбы рвались одна за другой. Почти все пожарные бросили угоревших и побежали в свой бункер. Еще один взрыв, и двое из тех, что остались, попали под град осколков и камней. Один упал навзничь на чье-то тело, извлеченное из убежища, а второй скорчился на тротуаре и закричал, зажав руками пах. Двое пожарных вернулись за раненым товарищем и понесли

его к бункеру. Большинство пострадавших от дыма лежали там же, где их и положили, — на газоне вдоль дороги, — но некоторые пытались идти вслепую, кашляя, хватаясь за деревья и фонарные столбы, чтобы не упасть. Мы залегли в желобе для отвода воды. Двое или трое побежали вслед за пожарными. Неподалеку прогремел очередной взрыв, мы встали и пошли за ними, надеясь, что нас пустят в их бомбоубежище. Мы бежали вниз по узенькому переулку между стенами огня и вскоре оказались на просторной деловой улице. Бункер пожарных находился на другой стороне, метрах в пятидесяти, но кругом летали горящие головешки, а ветер несся по улице с такой силой, что я чуть не свалилась в огонь. Мама за руку подтащила меня к себе. Мы повернули обратно и едва успели спрятаться за угол, когда между нами и бункером пожарных разорвалась еще одна бомба, и в стену, за которой мы припали к земле, полетела шрапнель.

Отдышавшись, мы снова помчались вперед, больше всего на свете желая оказаться как можно дальше от огня и гремящих вокруг взрывов. Мы выбирали улочку, которую, казалось, пропустили бомбардировщики, и прятались в арке или подъезде, но повсюду рядом с нами вспыхивали языки пламени. Мы старались держаться подальше от бомб, но натыкались то на огромные воронки, то на груды раскаленных кирпичей и горящих досок. Мы пробовали пробираться через завалы, но чаще разворачивались и шли в обход. Кругом ревел ветер и бушевало пламя. Тяжелее всего было на широких улицах, идущих от озера Альстер. Потоки горячего воздуха и гари неслись по ним с немыслимой скоростью, унося все, что не было закреплено. Районы Хамм и Хаммербрук уже час как превратились в паровозную топку.

Мы спрятались у входа в подвал, но вскоре и до него добралось пламя. Стало ясно, что оставаться здесь дальше нельзя: на тротуар падали обломки здания. Сквозь рев ветра и грохот взрывов прорывался треск огня. Я так боялась! Если мы останемся, нас завалит камнями, а если рискнем выйти на улицу — сгорим. Мама никак не могла решить, сидеть нам здесь или уходить. Когда бомбы стали падать реже, она молча завернула меня в одеяло, словно мумию. Мне было трудно дышать, я закашлялась. Мама взяла меня на руки и медленно двинулась по улице, закрывая собой от ветра. Она прижималась к стенам, чтобы нас не сдуло, и, наконец, добралась до менее опасного переулка.

Измученные, мы с трудом забрались в неглубокую воронку с лужей на дне. Ноги еле двигались, кожа покрылась волдырями, из носа и ушей текла кровь. Воронка находилась во дворе

кирпичного особняка, некогда, очевидно, прекрасного, с эркерами и башенками. Теперь от него остались лишь дымящиеся руины. Мама намочила в луже одеяло и укрыла нас обеих. Ужасных взрывов стало как будто меньше, хотя поблизости упала не одна сотня зажигательных бомб. Некоторые попали в развалины домов всего в пятнадцати метрах от нас. Чуть дальше по улице в административное здание угодил снаряд с фосфором. Фосфор горел и стекал с этажа на этаж. Казалось, будто кто-то спускается по лестнице, всюду по пути включая свет. Не успел фосфор добраться до земли, как из окон верхних этажей уже показалось пламя.

Женщина с младенцем на руках бежала по улице. За ней спешил молодой человек, одетый в форму гитлерюгенда — ботинки, шорты и рубашку цвета хаки. Я решила, что они выбрались из разрушенного бомбоубежища — возможно, из того самого, в которое мы хотели попасть с самого начала. Женщина была примерно того же возраста, что и мама. Огонь опалил ее платье и косы, а ниже талии она была почти совсем голая. Юноша спортивного телосложения, казалось, с трудом держался на ногах. Я решила, что горячий ветер, который с воем несся по улице, вот-вот оторвет его от земли. Миновав нас, он вдруг почему-то перешел на шаг. Между движениями тяжелых, как свинец, ног, словно в замедленной съемке, успевало пройти несколько секунд, а руки он вытянул в стороны для равновесия. Я не сразу догадалась, что и он, и женщина идут по расплавленному асфальту. Женщина несколько раз поскальзывалась и опиралась на руку. Потом она стала медленно падать лицом вниз, и только в последний момент перевернулась на спину, прижимая ребенка к груди. Юноша попытался дотянуться до нее, но сам поскользнулся и упал, потом встал и опять упал, снова встал и снова упал. Казалось, их крики слышны были даже сквозь чудовищный грохот. Я спряталась за край воронки, зажмурилась и закрыла уши руками.

Мама полезла наверх. Я очень боялась, что она попытается спасти ребенка. Но горячий ветер обжег ей лицо и загнал обратно. Мы лежали на дне воронки под одеялом, яростные порывы ветра раздували огонь, становилось все жарче. В удушливой темноте перед моими глазами снова и снова вставали женщина и парень из гитлерюгенда, корчащиеся в расплавленном асфальте. Вдруг я поняла, что задыхаюсь, словно рыба на суше. Как бы глубоко я ни вдыхала, воздуха все равно не хватало. Когда дышать стало совсем нечем, я высунула голову из-под одеяла. В воздухе кружили горящие бревна, поленья и доски. Миллионы искр исчертили

небо над головой. Не думая ни о чем, я широко раскрыла рот и постаралась вдохнуть как можно глубже. Грудь сразу же закололо острыми иголками, я осознала свою ошибку и снова в ужасе припала к земле. Закрыла глаза, и мне показалось, будто мы лежим между рельсами, а над нами с грохотом мчится бесконечный поезд — с такой скоростью, что камешки из-под колес секут по лицу.



Я потеряла сознание, а когда очнулась, обнаружила, что дышать все еще больно, но взрывы прекратились, и ветер, хоть и по-прежнему раскаленный, дует не так сильно. Жара была невыносимая, и так же невыносимо хотелось пить. Останься мы в яме чуть дольше — пришлось бы пить зловонную воду из лужи на дне. Снаружи наступила зима: в воздухе летали белые хлопья пепла. Они казались такими соблазнительными, такими холодными, что хотелось высунуть язык и попробовать их на вкус. Но жгли они больно. Одеяло я оставила в яме, мы укрылись маминым и пошли, пригибаясь, чтобы горячий пепел не попадал в глаза.

И почти сразу увидели трупы. Мама осторожно подошла к женщине с ребенком и парню из гитлерюгенда. Они были мертвы, мама заслонила их от меня. Казалось, люди почти не высовывались на улицы во время бомбежки, и все же повсюду лежали тела. Некоторых просто разорвало осколками на части. Многие погибли в огне. Трупы в основном лежали лицом вниз. Огонь лишил их волос и одежды, опалил и раздул ягодицы, разодрал кожу в лоскуты. Да, это были люди, но сейчас они больше всего походили на огромные поджаренные сосиски. От запаха горелой плоти нас выворачивало наизнанку, рыдания подступали к горлу, но запасов воды в наших организмах не хватало ни на слезы, ни на рвоту. Я обняла маму и уткнулась лицом в ее платье.

Гонимые жаждой, мы решили добраться до канала Айльбек. Хотя до него было недалеко, всего шесть или семь домов, идти нам пришлось целый час. Сотни людей укрылись в воде, большей частью у дальнего берега. Канал обмелел — тем летом в Гамбурге почти не было дождей. Многие спасались от бомбежки на берегу и погибли. У тех, что захлебнулись в воде, лица покраснели и распухли. Слышались жалобные стоны, всхлипы и крики. Детский плач висел в воздухе, словно воздушный змей. На берегу кто-то пронзительно закричал, побежал по кругу, и прыгнул в воду.

Жители Гамбурга всегда переносили беды стоически. Иной раз они бормотали проклятья или даже громко ругались, но чаще переживали невзгоды молча, стиснув зубы. В то утро они кричали от боли.

Я прислушалась к тому, что кричали люди в воде. Многих обожгло фосфором. Он стремительно проникал в живую плоть и кости — и сжигал их, как сжигал здания, этаж за этажом. Судя по неестественным позам и выражению, застывшему на лицах погибших, они умерли в страшных мучениях. Оказалось, что фосфор переставал гореть под водой, но стоило только выйти на сушу, как он снова начинал жечь с прежней силой.

И опять объявили воздушную тревогу. Бомбардировщики приближались к Гамбургу, через тридцать минут они будут над городом. Над рекой пронеслась новая волна проклятий и стонов, но вскоре затихла — людям словно неловко стало жаловаться на судьбу, а может, они окончательно обессилели. Некоторые пошли в церковь — может, молиться, а может, хотели укрыться в подвале, кто знает. Большинство же, как и мы, остались у канала. Завыла вторая сирена — пятнадцать минут до города. Мама намочила одеяло. Мы сидели, опустив ноги в воду, когда прозвучал последний сигнал — самолеты над городом. Хорошо, что они прилетели так скоро, быстрее, чем ожидалось. Значит, это более легкие британские "москиты", а не "ланкастеры" и не американские "летающие крепости" — те могли стереть в порошок все, что еще оставалось на поверхности земли. Часа два мы лежали на берегу, вслушиваясь в жужжание "москитов". Задолго до отбоя воздушной тревоги нас с мамой стало рвать водой, которую мы пили из канала.

Куда идти? До улицы Брандсэнде, где находились Инга с Ренатой, было не добраться — солдаты оцепили весь центр рядом с городской ратушей. Один спасатель посоветовал идти в Штадтпарк. Там, по крайней мере, можно было спастись от огня и попытаться выехать из города. Мы прошли мимо универмага "Карштадт", он обрушился на два бомбоубежища для его сотрудников. Люди, которых вытащили из первого подвала, находились в полубессознательном состоянии, но не были ранены, а вот из второго помещения спасатели сотнями выносили погибших женщин и детей. Мама сжала мою руку, радуясь, что нас не было там во время налета.

В парке уже собрались тысячи беженцев. Полицейские и чиновники сажали людей на любой транспорт и отправляли из города, не особенно интересуясь, кто куда едет. Повсюду стояли детские коляски и прочие вещи; брошенные кошки и собаки носились друг за другом по парку.

Я была уверена, что мы останемся в городе, но, когда полицейский подтолкнул нас к кузову грузовика с брезентовым тентом, мама не стала выбираться из толпы. Водитель потре-

бовал денег, а на вопрос, куда мы едем, ответил лаконично: "На юг!" Так мы покинули город. Говорили, что британские войска обстреливают колонны беженцев, и весь следующий день мы держались подальше от дороги. Прятались во фруктовом саду и ели зеленые яблоки. Глотать эту твердую кислятину было трудно, но до чего же приятно! Мы с мамой набрали яблок, сколько смогли унести, и, когда нас высадили в баварской деревне Хоф часа в два ночи, наши запасы еще не иссякли. Пока нас селили в комнатке над таверной у ручья с форелью, я уже совсем засыпала.

Следующие дни почти стерлись из моей памяти — помню только, что было больно дышать и есть. Мама стала для меня спасителем, настоящим героем. Она обманула гестапо, дала отпор нацистам в бомбоубежище. Она провела меня по улицам, на которых гремели взрывы, и ни разу не выпустила моей руки.

Затем мы получили весточку от отца. Мама говорила с ним по телефону. Он приехал в Гамбург на следующий день после нашего отъезда и остановился у Инги на Брандсэнде. Британцы совершили еще один массированный воздушный налет на город, но Рената и Инга и вся ее семья остались живы. Отец договорился, чтобы мы спрятались на ферме Мари Пимбер — той самой женщины, у которой жила моя младшая сестра Хельга. Фрау Пимбер, как и многие другие люди — большей частью это были коммунисты или бывшие коммунисты, — помогала отцу и другим членам Сопротивления. Прятать евреев фрау Пимбер не особенно горела желанием, ведь это преступление каралось смертной казнью, но детей у нее не было, и она так привязалась к Хельге, что считала ее своей дочерью. Оказавшись перед выбором — потерять Хельгу или пустить нас пожить на ферме (отец еще обещал ей заплатить), — фрау Пимбер согласилась.

Прошло два года. Война закончилась. Через две недели, после того как 8 мая 1945 года была подписана капитуляция, отец приехал за нами на ферму, и мы вернулись в Гамбург. Несколько месяцев мои родители просматривали официальные и неофициальные списки выживших и встречали возвращавшихся беженцев на вокзале. Отец хотел работать в центре помощи беженцам и перемещенным лицам и просился добровольцем к англичанам. Он знал языки и культуру стран, из которых приезжали люди. Британский офицер отказал ему, потому что отец был женат на еврейке.

Мы избежали смерти и были так рады этому, что потусторонний мир гамбургских развалин был для нас скорее тлею-

щим раем (которым видели наш некогда прекрасный город другие люди), чем чистилищем. Несколько лет мы провели в страхе, прячась от всех и каждого. Теперь я прыгала по разгромленным улицам, улыбалась британским солдатам и показывала им большой палец. Мне так хотелось объяснить им, что я не как все, что Уинстон Черчилль — мой герой, что я рада их приходу, что все каким-то чудом выжившие евреи надеются на их защиту.

После бомбежек я до ужаса боялась пожаров. При звуке сирены сердце мое начинало отчаянно колотиться, и, даже когда все стихало, дрожь долго не унималась. Мне было не по себе в закрытых помещениях. Еще я боялась лифтов, тоннелей, подвалов и комнат без окон. Я знала, что тысячи детей погибли или получили увечья во время бомбежек Гамбурга, возможно, их было даже больше, чем казненных евреев. Я ненавидела убийство так яростно, что не всегда могла себя контролировать.

И в то же время благодаря страшной бомбардировке Гамбурга летом 1943-го мы с мамой смогли избежать лагеря смерти. Мы жили рядом с эпицентром огненного шторма, и потому власти, которые должны были отправить нас в Аушвиц, сочли нас погибшими. Благодаря тому, что соседи не пустили нас в бомбоубежище, я не сгорела заживо. Два года спустя я улыбалась британским солдатам, мне хотелось, чтобы горожане видели мою радость, и одновременно я побаивалась того, что будет, как только томми соберут вещи и уедут домой. В Гамбурге осталось всего около сотни евреев; семнадцать тысяч погибло или уехало.

Многим гамбургцам наверняка было стыдно за причиненные Германией страдания. Им неудобно было смотреть на фотографию груды детских ботинок в лагере смерти. Отец разрыдался, когда увидел этот снимок. Он положил огромную руку мне на плечо, а мама закричала и чуть не задушила в объятиях Ренату. Но большинство людей слишком озлобили военные невзгоды, им не было дела до чужих несчастий — к тому же их приучили ненавидеть евреев. Каждая семья в Гамбурге кого-то потеряла, и больше всего людей погибло за те десять дней операции "Гоморра" — от 45 до 70 тысяч мирных жителей. Долгое время многие горожане жили среди развалин, ночуя в холодных подвалах. Возможно, под пеплом разрушенного города и тлели искры раскаяния, но на улицах, в магазинах и школах Гамбурга люди говорили только о тяготах жизни в побежденной стране.

# Александр Стесин
# “*Вернись и возьми*”

## Часть II[1]

### 1

— American? Красный Крест? Нет? Все равно аквааба[2], мы тебя ждали, — тараторит фельдшер, уступая мне место. — Видел толпу пациентов в приемной? Все эти люди ждут тебя!.. Ну, до завтра, — и, перекинув халат через спинку стула, направляется к выходу.

— Но мне никто так и не объяснил толком, что к чему...

— А чего объяснять-то? — фельдшер оборачивается в дверях, делает суровое лицо. — Есть лекарство от мар-лярии, есть амоксицирлин. Что еще? Больных будешь вызывать вот по этому списку. Ничего сложного!

В этот момент из-за спины фельдшера, в узком проеме между косяком и дверью, появляется миниатюрная женщина с тремя детьми. Женщина явно рассчитывает прошмыгнуть в кабинет мимо фельдшера, но тот резко подается вбок и, прижав ее всем своим весом, рявкает себе под мышку:

— Хван на афрэ уо? Оби афрэ уо?[3]

— Докета на уафрэ...[4]

— Докета дье, нэни абрэ. Кочвен коси сэ эбефрэ уо, уэй?[5]

— Дээби, ме сеэсеи хо[6], — вмешиваюсь я.

Фельдшер удивленно оглядывает меня и, сердито причмокнув, вваливается обратно в кабинет — видимо, решив, что, хотя сложного ничего и нет, оставлять меня без присмотра все же не стоит. Заняв свое прежнее место (для меня нашелся другой стул), фельдшер небрежно машет пациентке, которая, впрочем, и без его команды

© Александр Стесин, 2011

1. Окончание. Часть I — “ИЛ”, 2011, № 2.
2. Добро пожаловать.
3. Кто тебя вызывал? Тебя кто-нибудь вызывал?
4. Доктор вызывал...
5. Доктор занят. Иди и жди, когда тебя вызовут, поняла?
6. Нет, я готов.

уже переступила через порог и теперь — за неимением третьего стула — переминается у входа, окруженная голопузым выводком.

— О'кей, бра, шеше бээби атена асэ. Уамманье?[1]

Женщина подталкивает к "следовательскому" столу свой детсад: речь пойдет не о ней, а о них. Сама же заходит с другой стороны и, наклонившись, пускается в объяснения — скороговоркой и шепотом. Здесь так принято. О симптомах болезни, даже если это обычный насморк, пациент сообщает врачу на ухо. Даже если рядом нет никого, кто бы мог (а уж тем более захотел) подслушать.

...То же самое торопливое бормотание я услышу два дня спустя, когда, гуляя по городу после окончания работы, встречу ее на улице. Тсс... Тсс... Мистер... Уокае ме анаа?[2] Я рад встрече: как-никак она — моя первая пациентка в Эльмине. Вернее, не она, а ее двухлетний Айзек, которому я с торжественным видом выписывал рецепт на таблетки от малярии. Теперь Айзек спит в цветистом платке у нее на спине, а еще двое — мальчик и девочка — шлепают рядом. И теперь, следуя за мной по всему городу, она будет повторять одно и то же — сначала весело, потом все более уныло и неотвязно, в то время как я буду улыбчиво делать вид, что не понимаю, хотя что уж тут непонятного: Айзек три дня ничего не ел, эком дэ но паа[3], вот она и просит мистера помочь, предлагая взамен "услуги"... Но я буду цепляться за свое непонимание, буду врать себе, пока наконец не сдамся и не попытаюсь откупиться от стыда несколькими купюрами. Но, получив деньги, она не исчезнет, а наоборот — еще настойчивей станет тянуть меня куда-то домой, где ждут обещанные услуги. И тогда я шарахнусь от нее: "Дээби, дээби, менхийя..."[4], и внезапно проснувшийся Айзек дернется от мушиного укуса, чудом удерживаясь в наспинной люльке.

Клиника, где я оказался в качестве врача без границ, находилась по адресу: Трансафриканская магистраль, дом три. Дом четыре принадлежал семье Обенг, у которых я, как и другие волонтеры, приезжавшие до меня, снимал комнатушку — с доплатой за наличие вентилятора и кровати. Остальные дома, расположенные вдоль этой тихой улицы с громким названием, не были пронумерованы, так что любой из них мог бы запросто стать первым домом на Трансафриканской магистрали, если бы хозяевам взбрело в голову обзавестись соответствующей табличкой. Но вопрос о первенстве не интересовал домовладельцев; на тесно сгрудившихся жи-

1. О'кей, заходи, найди себе, где сесть. На что жалуешься?
2. Ты меня помнишь?
3. Он очень голоден.
4. "Нет, нет, мне это не нужно..."

лищах красовались вывески иного толка. Парикмахерская "Иисус". Магазин электротоваров "Сила Господня". Травяная аптека "Бог в помощь". Каждая лачуга размером с дачный сарай служила одновременно жилым домом и помещением для бизнеса, торговой точкой. Вся улица (да что там улица — весь город, а то и вся страна) выглядела как одна бесконечная барахолка или коммунальный коридор, где что только не выставлено на всеобщее обозрение. Чего только не увидишь среди сугробов хлама по краям грунтовой дороги — от нижнего белья до холодильников; от картонных колонн и прочей бутафории, выкрашенной под мрамор, до завернутых в банановые листья батончиков кенке[1]; от облицовочной плитки до лупоглазых автомобильных передков, похожих на отрубленные головы океанских чудищ.

Разрыв между вывеской и действительностью мог быть сколь угодно велик. Так, над входом в хижину, крытую плетенкой из пальмовых листьев, могло быть крупно выведено "Автопарк" или "Библиотека". Название ни к чему не обязывает, обязательно лишь воззвание. Бензоколонка "Аминь", продмаг "Аллилуйя". "Дже Ньяме"[2]. "Энье маходэйн"[3]. В рыбацком городке Эльмина, насчитывавшем около двадцати тысяч жителей, действовало более сотни церквей — и всего одна поликлиника.

Каждое утро начиная с семи часов женщины, навьюченные больными детьми и предметами розничной торговли (дитя — на спине, товар — на голове), занимали очередь у окошка регистратуры. К половине девятого очередь превращалась в толпу, и те, кто еще час назад стоял в двух шагах от цели, незаметно оказывались в задних рядах. Оттесненные внезапным наплывом, они вставали на цыпочки, чтобы издали заглянуть в недосягаемое окошко. Убедившись, что в окошке по-прежнему пусто, издавали причмокивающий звук, выражавший крайнее недовольство. "Куафье! Эдьен на уоном джуэне хо? Уово аниву? Уово kommon sensa?"[4]

Фельдшер Бен — тот, что толковал мне про "марлярию" — испарился в первый же подходящий момент, бросив с порога заведомое "меба сеэсеи"[5]. Только его и видели. Теперь я делил кабинет с тетушкой Бретой, молодящейся толстухой с

1. Блюдо из ферментированной кукурузной муки; употребляется в качестве гарнира к рыбе с перечной подливкой.
2. "Только благодаря Господу".
3. "Не своими силами".
4. "Паскудство! Что они там себе думают? Есть у вас совесть? Есть у вас здравый смысл?"
5. "Сейчас приду".

безостановочной мимикой и волосами, заплетенными в мелкие косички. Медсестра с тридцатилетним стажем, Брета вышла на пенсию три года назад, а еще через год вернулась в клинику на добровольных началах.

— Врачей-то у нас нет, — объясняла она, виновато разводя руками.

— То есть как нет?

— А вот так. Нету, и всё. Одни фельдшера да медсестры. Нам еще три года назад обещали прислать доктора из Кейп-Коста, до сих пор ждем. Ну вот, теперь зато ты приехал.

— Это что же, я единственный врач на всю Эльмину?

— Ампа, папá. Уо нкоаа[1].

Мы сидели за одним рабочим столом, друг напротив друга, и тянули медкарты из общей стопки. Основная часть доставалась Брете: за то время, которое требовалось мне для осмотра одного пациента, Брета успевала осмотреть пятерых. Иногда она обращалась ко мне за консультацией.

— Папá!

— Тетя Брета!

— Имеется пациент со свинкой... Амоксициллин?

— Почему амоксициллин? Зачем?

— Ама ти но...[2]

— Но ведь свинка — вирусное заболевание.

— А-а... Ну и что тогда, артеметер[3]?

Время от времени до окружной администрации доходили слухи о печальных последствиях бретиной "терапии". Однако, администрации было недосуг разбираться, а сама Брета сокрушалась, но не теряла веру в свое призвание. Все, чего ей недоставало по части медицинских познаний, она добирала воспитательской работой. Гроза чумазых школьников, вечно врывавшихся в кабинет без почтительного "мепаачеу"[4], и нерадивых мамаш, вечно обращавшихся за помощью на три дня позже, чем следовало, Брета нравоучительствовала urbi et orbi[5], то и дело срываясь на крик, стуча кулаком по столу или хватаясь за стоявшую рядом швабру. Разумеется, в этих эскападах было немало игры на публику, но рано или поздно поборница чистоты нравов и вправду выходила из себя, распалялась не на шутку — зачастую без всякого повода. "Буэ уэнум

1. Именно так, папа. Только ты.
2. От свинки...
3. Антималярийный препарат.
4. В данном контексте: "с вашего позволения".
5. Городу и миру. Здесь: всем и каждому (*лат.*).

нэ каса!"[1], — орала Брета, отчего страдавшая заиканием школьница заикалась еще больше, а ее подбородок, отчаянно дергавшийся в речевых потугах, дрожал всё мельче — вот-вот заплачет.

— Тетя Брета, хватит!

— Извини, папá, не хотела тебя пугать.

В те благословенные минуты, когда Брета не бушевала и не выставляла провинившихся пациентов за дверь, она преимущественно жевала. "Брета дье, опэ лайф, оди нэнум"[2], — подтрунивала медсестра-практикантка Абена, которая и сама-то была всегда не прочь подкрепиться. Каждое утро, пока долготерпеливая очередь виляла растущим хвостом перед окошком регистратуры, эти двое запирали дверь кабинета и с церемониальной неспешностью выставляли принесенный из дому завтрак: оладьи из бобовой муки или пряную кашу со странным названьем "Том Браун". По пятницам Брета стряпала также "бриби соронко"[3], а однажды — по случаю дня рождения Абены — приготовила даже праздничное "ато" из толченого ямса с пальмовым маслом, яйцом и вяленой рыбой: ганский эквивалент именинного пирога. Извлекая из сумки многочисленные кульки и промасленные свертки, она превращалась в сущую Пульхерию Ивановну: казалось, ничто на свете не доставляет ей большего удовольствия, чем закармливать нас с Абеной своими деликатесами. "Фа какра био, папа, вунху брибья тэсэ уэи уо Америка, о-о..."[4]

Переход реальности на другой язык повергает в состояние, схожее с нарушением внутренних часов в организме, — в точности, как переход на другое время. Все происходит в несколько замедленном темпе, фиксируется отчасти. Ты идешь по улице или сидишь в придорожном чоп-баре среди людей, вокруг которых клубится туман непонятной речи. Ты привыкаешь к этой пелене, постепенно перестаешь ее замечать и поэтому не сразу понимаешь, в чем дело, когда однажды в пелене обнаруживается прореха, внезапный участок ясности.

Кажется, весь фокус в том, чтобы заучивать не отдельные слова, а целые пласты речи. Запоминать и воспроизводить непривычную для европейского уха просодию; обживаться в пространстве тонального языка, где "мо!джа" означает "кровь", а "мо!джа!" — "вы оставили". Осваивать диалоги, сплошь состоящие из поговорок. Увлекательный мир идиом. Взять хотя бы телесные фразеологиз-

1. "Открой свой рот и говори!"
2. "Брета у нас живет от души, ест от пуза".
3. "Кое-что особенное".
4. "Возьми еще немножко, папа, в Америке-то небось так не накормят..."

мы, которые используются здесь для обозначения абстрактных понятий, составляют основу словообразования. Существительное "анидасоо" ("надежда") происходит от выражения "Мэни да со сэ", означающего "Я надеюсь, что...", а в дословном переводе – "Мои глаза легли на то, что..." Слово "анивуо" ("стыд") – от "Мэни аву" ("Мои глаза умерли", то есть "Мне стыдно"). Таким образом, стыд – "мертвоглазье". Смелость – "тяжелогрудье", жадность – "горькобрюшье", печаль – "забывчивосердье". Мировосприятие проступает сквозь повседневную речь, как монетный профиль – сквозь штриховку на тетрадном листе.

Этот опыт адаптации у меня – третий по счету. В одиннадцать лет я эмигрировал с родителями в Америку, в двадцать один – отправился корчить из себя свободного художника в Париж, а сейчас мне тридцать один. Никакого корня тут не извлечь – разве что узнаваемость ощущения, связанного с погружением в новый язык. Точнее сказать, в безъязычье.

## 2

Фельдшер Бен не вернулся ни через два дня, ни через три недели. Его загадочное исчезновение прошло почти незамеченным, как это часто бывает в Африке, где люди давно привыкли к засилью необъяснимого. Припоминали или воображали, что припоминали, будто накануне отлучки Бен кого-то о чем-то предупредил. То ли, что едет в Кумаси проведать племянника, то ли, что решил вернуться в родную Нигерию. Во всяком случае, рассуждали коллеги, если б случилось неладное, нам бы наверняка уже было о том известно.

Как бы то ни было, следы медицинской деятельности Бена, ни в чем не уступающей знахарству тети Бреты, продолжали обнаруживаться повсюду. Так, однажды утром приемная огласилась победоносным кличем "Эбэуо ммофра!"[1] и на мой стол легла "путевка в жизнь" в виде замусоленной справки из центральной лаборатории Такоради-Секонди. При ближайшем рассмотрении справка оказалась свидетельством о высокой оплодотворяющей способности ее обладателя. "Семенная жидкость в норме". Заключение размашистым почерком.

– Что ж, это прекрасная новость. Скажите, а у вас были причины подозревать обратное?

– Мепаачеу, аанэ[2]. Понимаете, мы с женой три раза делали ребенка, и все три раза был выкидыш. Мы подумали, что

1. "У нас будут дети!"
2. Уважительная форма утвердительного ответа (дословно: я прошу вас, да).

это "окобайе"[1], так что, когда у нас родился Кофи, мы сделали надрезы, как положено. Но Кофи мы тоже не удержали, он умер через неделю, а в следующий раз опять был выкидыш. Тогда мы пошли к доктору Бену, и он направил меня на анализ... Ньяме адом[2], Ньяме адом, теперь все будет хорошо.



Историй было много, одна абсурдней и трагичней другой — сплошное раздолье для новоиспеченного медика, желающего почувствовать себя спасателем и экспертом. Врач без году неделя, я с удовольствием приноровлялся к интонации просвещенного "большого брата".

— Тетя Брета!

— Папá!

— Вчера вечером к нам поступил пациент по имени Джозеф Обимпэ. Вот его медкарта. Вы принимали этого пациента?

— Принимала, папá.

— Интересный случай. Годовалый ребенок отправил в рот целую упаковку родительского слабительного. Со всеми вытекающими последствиями.

— Точно, папá. Последствий вытекло много.

— Вот-вот. Мне казалось, в таких случаях первым делом ставят капельницу и вводят физраствор. Вы ввели физраствор, тетя Брета?

— Мепаачеу, доктор, в нашей аптеке не было физраствора. Но я дала ему метронидазол.

— Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Метронидазол — антибиотик, его назначают при кишечных инфекциях. Разве у нашего пациента наблюдаются признаки кишечной инфекции?

— Наблюдается понос... Уако тойлет.

— Но ведь мы-то знаем, из-за чего "уако тойлет". Знаем, тетя Брета?

— Знаем, доктор. Из-за слабительного.

— Так с какой стати мы прописываем ему метронидазол?!

Тетя Брета виновато улыбалась. Брета Одоом, годившаяся мне в матери, не обижалась на мой начальственный тон и

1. "Окобайе" — ребенок-дух (дословно: возвращенец), раз за разом умирающий при родах или во чреве матери. В семьях, потерявших больше чем одного ребенка, новорожденному делают вертикальные надрезы на щеках. Считается, что меченый okobaye уже не сможет вернуться в мир духов и будет вынужден остаться среди живых. В Эльмине часто можно встретить людей с характерными шрамами на лицах: живое свидетельство высокой детской смертности.
2. Слава Богу.

не напоминала о том, что не дале как на прошлой неделе я пропустил язву Бурули, приняв ее за ожог... Все они улыбались, признавали свое невежество, благодарили приезжего доктора за преподанный урок. И продолжали упорно верить в то, что малярия вызывается избыточным употреблением в пищу маниоки, а вовсе не плазмодиевой инфекцией. Продолжали направлять на анализы семенной жидкости и прописывать метронидазол. "А ведь соглашаются же, благодарят... Прикидываются дурачками. А на самом деле, это они нас держат за дураков, — заключил врач-педиатр из Канады, с которым я разговорился однажды в автобусе по пути из Аккры. — Ничего не меняется и никогда не изменится..."

Но канадец ошибался. В их готовности благодарить и соглашаться не было ни тени лукавства. Однако то, что белокожему представляется содержанием, для африканца — всего лишь форма. То, что кажется неизменным, может измениться в любую минуту самым непредвиденным образом. Незащищенность — руководящий принцип, фундамент, на котором строится жизнь со всеми ее поверьями и вековой инертностью. Это свойство климата, изначальная данность окружающей среды. Аборигены Эльмины продолжали гнуть свою линию, потому что, поменяв одно, надо было бы поменять и все остальное, и никакой заморский светоч не смог бы дать им гарантию, что столь кардинальные изменения приведут к улучшению, а не наоборот.

После работы я шел гулять по поселку, останавливаясь у каждой хижины, откуда меня окликали по имени полузнакомые люди.

— Ий, доктор Алекс! Вуко хэ? Уопэ адиди бриби? Уопэ сэ мепам адье ама уо?[1]

Никто не одинок, все охвачены заботой и сплетней. Никогда не запираемые двери лачуг выходят в общий двор, где женщины стряпают еду на углях или стирают нарядные платья в сточных канавах. Пятилетние дети таскают младших братьев-сестер на спине, и никто не боится отпустить ребенка гулять одного, потому что весь мир состоит из родни, из дядюшек и тетушек, всегда готовых прийти на помощь (или отшлепать чужое дитя, как собственное, если дитя нуждается в воспитании)... При этом потомство заводят "с запасом" — из расчета, что выживут не все, дай Бог, если половина. Что ни день, из близлежащих селений слышится узнаваемый

1. Куда идешь? Хочешь поесть? Хочешь, я сошью тебе наряд?

клич говорящих барабанов: "Ммара! ммара!" Барабаны предупреждают мертвых, что среди них произойдет рождение...

В одной из хижин мне сшили африканский костюм, в другой — рубаху и батакари[1]. Радушные хозяева угощали супом из улиток абунобуну, супом из окры, супом из земляных орехов. После трапезы гостя принято приглашать в дом для подробных бесед о том, о сем; в моем случае — для обоюдной вежливости и неловкого молчания. Уставясь в тарелку с супом, я думал о той Африке, которую выбрал себе в качестве мечты чуть ли не на первом курсе мединститута. О мечте, притягательной своей несбыточностью; устремленной в неведомое пространство... И вот я здесь.



Базарная площадь в преддверье джуа[2], утреннее столпотворение: женщины с грудными детьми, проповедники и колдуны, козы, куры, прочая живность. Посреди площади, прямо на земле лежат мальчик и девочка. "Доктор Алекс, бра ха!" — одна из торговок подзывает меня и показывает на детей. Что-то с ними не то — не взглянешь, доктор? Слезящиеся полузакрытые глаза, учащенное дыхание, толстый оранжевый налет на языке... Куда смотрит их мать? — Не мать, а матери, они у них разные. — От базарной толпы отделяются две женщины с товарными подносами на головах.

— Сколько времени они у вас так лежат?

— Мепаачеу, нна ммьенса. Эйе бонэ?[3]

— Да, очень серьезно. Эсе сэ моко клиник сеэсеи ара. У меня сейчас срочный вызов, но я вернусь не позже, чем через час, и буду ждать вас в приемной. Слышите, я буду ждать вас в клинике через час. Эйе бонэ па-па-па-па-па-па![4]

— Ибэба, ибэба[5], — энергично кивают женщины. Скорее всего, не придут.

Прежде чем вернуться в клинику, мы с Абеной должны нанести визит в цирюльню на противоположном конце площади: это и есть мой срочный вызов. Пятнадцатилетняя девочка, подмастерье парикмахерши, жалуется на маточное кровотечение... Сегодня утром у нее случился выкидыш, после того как тридцатидвухлетний сосед, от которого она и забеременела, переусердствовал, удовлетворяя свои мужские потребности. Повитуха применила "народное средство" — видимо, что-то вроде спорыньи, — но кровотечение не прекратилось, и старшая парикмахерша, озаботившись здоровьем

1. Просторное платье, распространенное в северной части страны.
2. Базарный день.
3. Три дня. Это серьезно?
4. Это очень-очень серьезно!
5. Мы придем, мы придем.

подопечной, послала за доктором. В больницу они не хотят, но на лечение на дому согласны. "Лечение" — это сильно сказано. Изотонический раствор, эргометрин и антибиотик — минимум того, что предписывает современная медицина, и максимум возможного здесь. Умелая Абена помогает провести гинекологический осмотр, проверяя сохранение частей плода в полости матки, пока за васильковой ширмой мылится мыло и пенится пена, продолжаются бритье и стрижка.

## 3

На фоне однообразных халуп, сколоченных из трухлявых досок, крытых толем пополам с соломой или ржавым листовым железом, обнесенное штакетником бунгало "Суматра-хаус", принадлежавшее Фрэнцису и Люси Обенг, казалось если не королевским дворцом, то как минимум особняком колониального наместника. Дед Люси, выстроивший этот коттедж с полвека назад, был видным общественным деятелем, внесшим немалый вклад и так далее, о чем свидетельствовал кенотаф[1] посреди участка. Половина дома сдавалась внаем приезжим медикам. Вторая половина была отведена под музей, посвященный африканским солдатам-вольнонаемникам, сражавшимся в голландской Ост-Индии в середине XIX века. Цена входного билета — пять ганских седи — была умеренной: в коллекции имелось достаточно интересных экспонатов, включая старинные дагерротипы, рукописи и даже чучело дикого индонезийца в натуральную величину. Тем не менее за все время моего проживания в "Суматра-хаус" не побывало ни одного посетителя.

Чтобы не терять форму, попечительница музея проводила экскурсии для своей трехлетней дочки Юнис, а заодно и для меня. Раз за разом я слушал про вольнонаемников, про историю фантсе, прошедшую через руки португальских работорговцев, голландских золотоискателей и наконец английских миссионеров-колонизаторов. Про двух принцев, Квези Боаче и Кваме Опоку, отданных на откуп европейцам.

Их увезли в Голландию, чтобы сделать из них голландцев. Но Кваме Опоку, сколько он там ни жил, все грустил по дому. Его дыханье ломалось, как у нас говорят. И в душе у него все было пере-

1. Надгробный памятник в месте, которое не содержит останков покойного, своего рода символическая могила.

вернуто вверх дном, как в доме, где побывал грабитель. И тогда голландцы решили отправить его домой. Возвращается Кваме в Эльмину, и как раз в этот день умирает король Ашанти. Кваме пишет к обаахема[1] в Кумаси[2], что вот он вернулся и готов занять трон. Но тут выясняется, что он, пока жил в Голландии, разучился говорить на чви. А тот, кто не знает языка, как он может стать королем? И обаахема отвечает: "Ты — наследник престола, но прежде чем ты предстанешь перед старейшинами, ты должен вспомнить родной язык". И дает ему срок. Но Кваме живет в эльминской крепости, окружен одними аброфоо[3] — где ему вспомнить чви? И когда он понял, что не сможет вернуться в Кумаси, он покончил с собой и теперь похоронен у нас в Эльмине...

А Квези Боаче, он — не то, что Кваме Опоку. Все, о чем он мечтал, это стать европейцем. Он ел их еду, носил одежду, и его душа была радостью. Он и вел себя как голландский принц. Но Боаче — это ганский принц, не голландский. И когда прошло достаточно времени, голландцы сказали: "Ты — ганский принц, возвращайся к себе на родину". А Квези-то уже знал все, что случилось с его братом, он им говорит: "Не хочу, чтоб со мной случилось то же, что с Кваме, не хочу возвращаться, мое место здесь". И голландцы не знали, что с ним делать, и в конце концов они дали ему участок земли на Суматре и отправили его туда. Там он и умер...

Иногда слушателей оказывалось больше: как и во всех относительно благополучных африканских домах, у Обенгов постоянно обреталась стайка "своих". "Свои" не были родственниками (родственники тоже были, но, будучи занятыми собственной семейной жизнью, навещали значительно реже); это были полуслучайные люди в поисках домашнего очага, зашедшие на огонек и оставленные в качестве домашней прислуги. Со временем они становились почти частью семьи. Двенадцатилетняя Филомена помогала Люси на кухне и заботливо присматривала за Юнис. Четырнадцатилетний Дэниел выполнял "мужскую" работу по дому. Он мечтал играть на электрооргане в какой-нибудь большой церкви. Каждый вечер он упражнялся на детском пианино, которое подарили Юнис на день рождения.

Старшим из домочадцев был сторож Кваме. Ни чви, ни английского он не знал, говорил исключительно на фантсе[4]. Я с

1. Царица-мать, возглавляющая совет старейшин, в чьи обязанности входит назначение нового короля.
2. Столица королевства Ашанти.
3. Белые люди.
4. Фантсе, чви-ашанти, чви-аквиапем — аканские языки, соотносящиеся друг с другом примерно, как русский, украинский и белорусский.

трудом понимал его речь, все эти "дз" и "тс", свойственные местному выговору и не свойственные чви-ашанти. По возрасту он был скорее дедушка Кваме, но никто его так не называл. Называли Кваме Большой (в противоположность студенту-медику, который тоже носил имя Кваме — Кваме Маленький). Учитывая комплекцию сторожа, это прозвище звучало вполне издевательски. Беззубый и безволосый доходяга в джинсовом комбинезоне на голое тело, он появлялся к ужину, но есть никогда не ел, а досиживал до того момента, когда подавали еду, после чего тихо уходил и уводил детей. Детей было двое — мальчик и девочка, улыбчиво-молчаливые, как он сам. Некоторое время назад жена Кваме неожиданно бросила семью (говорили: сошла с ума, сбежала в другой город, видимо, прихватив, что было). С тех пор Кваме Большой ночевал на крыльце у Люси. Кто-то из моих предшественников подарил ему противомоскитную сетку; сторож подстилал ее вместо циновки и укладывал на нее детей. Сам он спал прямо на бетонном полу, под грохот "проповеднического" радио, которое врубал на полную громкость перед тем, как улечься.

Чем они питались, где и как жили в дневное время, Бог весть. Как вообще живут люди изо дня в день? Чужая жизнь — потемки, особенно там, где электричество отключают каждые пять минут. "Уж лучше бы отключили насовсем! — сетует в камеру местный житель по имени Данква или Менса, эпизодический, но обязательный персонаж ежевечернего выпуска новостей. — Уж лучше бы отключили насовсем. По крайней мере, тогда мы могли бы срезать провода электропередач и разжиться хорошей медной проволокой!" В некоторых деревнях именно так и делают... За один прошлый год было зафиксировано несколько сотен смертельных случаев.

Раз или два в доме появлялись и вовсе посторонние люди, калики перехожие, обращавшиеся к хозяйке на неповторимом пиджин-инглиш:

— Ий, сестра, мой меньшой и я-то, мы пойдем путь поедем. Сам что знаю сказать, сестра, что состряпай нам, оу, поедем возьмем в дорогу.

— Я что думаю, брат, что состряпаю будет скоро, — отзывалась Люси, ничуть не удивляясь вторжению незнакомцев.

Как истинная африканка, Люси Обенг понимала время по-своему — в каком-то интуитивном смысле. Кажется, за всю свою сознательную жизнь она ни разу не сверилась с часами. Время было неделимым потоком, где каждодневные события и дела — встретить Юнис из школы, приготовить обед, сделать задание по биологии (курсы корреспондентского обучения) — естественным образом перетекали из одного в другое. Надо ли гово-

рить, что, живя таким образом, Люси никогда не спешила и никуда не опаздывала. Но что в данном контексте может означать фраза "будет скоро"? Нюансы временных понятий заложены в языке, и тут у ашанти закручено похлеще, чем у любого Бергсона. Так аканское слово "da" имеет два значения: 1) день, 2) никогда. При удваивании гласной получается слово "daa", которое означает "всегда" или "каждый день". Итак, "da" или "da bi da" — это "никогда", а "daa" — "всегда". При этом "da bi" (где "bi" — неопределенный артикль) означает "когда-нибудь", а "daabi" — "нет". Взаимопроницаемость "да" и "нет", "когда-нибудь" и "никогда", вся эта диалектика — не больше чем часть обыденной речи. И далее: можно выстроить целый синонимический ряд слов, означающих "вечность" (daapem, beresanten, afeboo) или указывающих на отдаленное будущее (da bi, daakye, akyire). А вот слова, означающего "скоро", в языке чви просто не существует, и носители языка вставляют английское "soon", если вообще оперируют этим понятием.

Незнакомцы размещались на кухне и принимались ждать обеда. Узнав, что я из Америки, приступали к расспросам:

— Нам говорили, что в Америке стариков отправляют в отдельные дома, где их никто не навещает. Это правда?

— Как вам сказать...

— У нас такого бы не случилось. Здесь стариков почитают. Это связано с нашей религией.

— С христианством?

— Нет, с той, которая была раньше. Знаешь историю про старуху и Бога?

— Вы имеете в виду — про старуху, которая толкла фуфу[1]? — Эту сказку я когда-то слышал от Наны. В незапамятные времена небо было близко, Бог был рядом. И вот старуха-прародительница стала толочь фуфу и, орудуя пестиком, то и дело задевала Бога, живущего этажом выше. Некоторое время Бог мужественно терпел эти тычки, но в конце концов не вытерпел и переехал на верхние этажи. С тех пор до него не достучаться.

— Уайе адье, вуним ньинаа![2] — одобрил мои познания неожиданно появившийся на пороге хозяин дома. — До нашего африканского Бога не достучаться, но старость близка к Переходу, а значит — к Нему. Овуо ачверье баако мфоро. Слышал такую пословицу? А? Я говорю: Овуо ачверье баако мфоро. Лестница смерти не рассчитана на одного. Уходящий наделяет готовностью всех живых.

1. Ганское национальное блюдо.
2. Молодец, всё знаешь!

Фрэнцис Обенг был учителем младших классов. По утрам, разбуженные чем свет истошным кукареканьем соседского кокоопаньин[1], мы начинали параллельные сборы: я — в больницу, он — в школу. Он — розги и туго набитый портфель, я — стетоскоп и справочник инфекционных заболеваний. Он — в накрахмаленной белой рубахе и джинсах "Вранглер", я — в относительно белом халате, опрысканном противокомариной дрянью. Засим вышагивали по бездорожью мимо киосков "Tigo", "MTN" и "Vodafone" (когда-нибудь, когда процесс культурной глобализации выйдет на финишную прямую, фотопейзажи Америки, Африки и Европы будут отличаться друг от друга названиями телефонных компаний, чьи рекламные лозунги узурпируют жизненное пространство).

Школа представляла собой длинную деревянную постройку с крупными незастекленными проемами, нечто среднее между бараком и беседкой. В классной комнате, на самом видном месте, висел плакат с изображением персонального компьютера; основные части были помечены жирными стрелками. Вот монитор, вот процессор, вот клавиатура. Данный рисунок был единственным способом ознакомить учеников с анатомией ЭВМ, так как шансы увидеть этого зверя вживую были крайне невелики. Впрочем, отсутствие компьютера — дело двадцатое. В педагогическом инструментарии не хватало и других, куда более доступных вещей. Ни карты с глобусом для будущих путешественников, ни колбочек с чашками петри для юных натуралистов. Ни стандартных учебников как таковых. Попросту говоря, в школе не было ничего. Или почти ничего. Что-то, наверное, все-таки было.

Стены, парты, школьные формы — все было выкрашено в коричневый и желтый. Выбор цветов был не случаен: что-то, связанное с символической расцветкой *кенте* или с иероглифами *адинкра*. Ганские традиции — это клубок, который запросто не распутать: любая цветовая гамма соответствует какому-нибудь ритуальному танцу; танец отсылает к одной из многочисленных пословиц; пословицу не понять, если не знать того или иного эпизода из истории ашанти...

"Мысль африканцев устанавливает равновесие между всеми вещами посредством системы символов. Цепь символов ведет нас путем гармонической игры оттенков и неуловимых



1. Дословно: куриный старейшина.

переходов от арфы к тканью, от одежды к слову творца, от демиурга к обломкам". Эту формулировку я вычитал у африканиста Марселя Гриоля. Она показалась мне точной, и я зачитал ее Фрэнцису. "Все верно, – подтвердил учитель, – я тоже недавно читал что-то такое: у белых развито абстрактное мышление, а у нас – символическое. Символ – это *сунсум*[1]!"



Фрэнцис любил *сунсум*, любил вести многочасовые беседы о духовном, ибо был не только преподавателем, но и пастором по совместительству. В этой второй ипостаси и видел свое истинное предназначение. Поэтому уроков в школе он почти не вел, от учеников требовал в первую очередь, чтобы те не мешали ему готовиться к вечерней службе. И, пока усмиренный розгами класс корпел над очередной "классной работой", пастор Обенг отлучался в учительскую, где размышлял, разглагольствовал, вопрошал о духе.

– ...Символ – это *сунсум*. Знаешь, что такое *сунсум*?

– Тень?

– Нет, тень – это *сунсумма*. А *сунсум* – это дух. *Сунсум* отличается от *сунсумма*, как *хонхом*[2] отличается от *хонам*[3]. Все дело в произношении.

– Юу-у, матэ[4].

– Уоатэ?[5] Тогда идем дальше. Дух – "сунсум", а душа – "кра".

– Матэ.

– Уоатэ?

– Матэ.

– Что ты услышал? *Сунсум* и *кра* – не одно и то же. *Кра* – это живая душа, а *сунсум* – проводник, через него *кра* появляется в мире. Про *сунсум* можно сказать, что он тяжелый или легкий, про *кра* так сказать нельзя. Можно сказать: "Его кра пахнет заботой, дыхание не может коснуться земли". Или вот пример: если я говорю о человеке, у него хороший сунсум, я говорю, что он добрый. А если я говорю, у него хорошая кра, это означает, что он удачливый. Уоатэ?

– Матэ.

– Что ты услышал? *Сунсум* – от слова "сум"[6]. Когда я засыпаю, мой *сунсум* покидает тело и идет, куда ему нужно. Он может поехать в другой город или встретиться с тем, кого больше нет. *Кра* остается и наблюдает издали. Поэтому я вижу

1. Дух.
2. Дыхание.
3. Тело.
4. Понятно (дословно: я услышал).
5. Ты услышал?
6. Тьма.

сны. *Сунсум* может уйти и вернуться, а *кра* — нет. Когда уходит *кра*, человеку не за что удержаться.

По вечерам, представ перед паствой харизматической церкви, школьный учитель перевоплощался в исступленного проповедника, и его сиплый голос, усиленный микрофоном, переполнял полуподвальное помещение сейсмическим клокотанием.

— Во имя Исус-са-а-а!!

— Аминь!!

— ...И-и-исус-са-а-а!

— Ампа!

— Я сказал: Иисус-с-са-а!

— Учи, апостол!

— А-аллилу-й-йя-а-а!

— ...Братья и сестры, сегодня я хочу представить вам нового прихожанина. Этот прихожанин — наш гость из Нью-Йорка, обруни[1]. Не просто обруни, а доктор обруни. Доктор Алекс. Он приехал сюда, чтобы лечить и молиться вместе с нами. Сейчас он скажет вам несколько слов...

Вот они, учительские замашки: неистребимое желание застать врасплох, вызвать к доске того, кто заведомо не готов... Я оглядываю толпу, и мой взгляд останавливается на участливой улыбке сторожа Кваме. Батюшки, и он здесь. Взяв микрофон, я мямлю что-то благодарно-невразумительное, но, по счастью, мой лепет немедленно утопает в нарастающей какофонии песнопений и заклинаний. Стуча в бубны, закатывая глаза и воздевая руки, прихожане заходятся в религиозном экстазе, ради которого и пришли. Особенно усердствует сторож, пляшущий из последних сил, то и дело машущий мне: "Давай с нами". Со стороны действо выглядит и звучит диковато, но вот мне начинает казаться, что я улавливаю мелодию, а еще через некоторое время — различаю слова и даже подпеваю сам. "Сэ мейарэ аа, ма мэ нко, ма мэ нко..." "Если я захвораю, дай мне уйти, дай мне уйти..."

...Врачевание в цирюльне заняло все утро, и я был уверен, что тетки с базарной площади, если и были в клинике, давно отправились восвояси. Однако: "Папа, тебя какие-то женщины спрашивали. Я им сказала, что доктора нет и им лучше прийти завтра. Но они сказали, что будут ждать. Мне кажется, они хотят, чтобы ты посмотрел их детей. С детьми плохо, папа, с мальчиком особенно. Я померила температуру — сорок один. Я их отвела в процедурную.

1. Иностранец, белый человек.

Ты уж ими там займись, а я тебя тут подменю". Спасибо, тетя Брета, спасибо, спасибо!

Эту партию, Энтони, я заранее не проигрывал, но кое-чему за время ночных дежурств от тебя научился. Во всяком случае, последовательность ходов в дебюте не вызывает сомнений. Первое: ввести физраствор, сделать инъекцию хинина, поставить свечи с парацетамолом. Второе: анализы крови на уровень гемоглобина и лейкоцитов, толстый мазок, тест Видала... Только что-то никто не торопится выполнять мои распоряжения. "Эсе сэ уооном чуа, докета, эдру но бо йе дэйн додо..." Сначала матери пациентов должны оплатить лечение, выкупить медикаменты. Но у матерей денег нет и быть не может. В конце концов, десять седи меня не разорят. Лаборант Кведжо отводит меня в сторонку.

— Доктор Алекс, я не собираюсь говорить тебе, что тебе делать, но у нас так не принято. Доктор не должен платить. Это нехорошо для тебя и для них, поверь мне.

— Верю, Кведжо, но, прости, в данный момент мне проще заплатить. Я заплачу, а ты, будь добр, проверь мазок и тест Видала.

— Нет, доктор Алекс, лаборатория закрыта. Пусть приходят завтра.

— Кведжо, я услышал и я благодарен тебе за совет. Но я предпочитаю заплатить. В том числе и лаборатории. Сколько я должен лаборатории, Кведжо?

Кведжо отворачивается и называет цену механическим голосом: пять ганских седи. Где пять, там и семь. Пока Кведжо угрюмо возится с анализами, я выкупаю две таблетки ципрофлоксацина (на случай, если это — брюшной тиф); о внутривенных антибиотиках в Эльмине говорить не приходится. "Это лекарство может помочь. Я прошу вас проследить, чтобы дети приняли таблетки и ни в коем случае их не выплевывали". Теперь узнать о переливаниях крови (на случай, если — малярия). У нас их не делают, это понятно, но что, если удастся связаться с Центральным госпиталем в Кейп-Кост. Через пять минут, не дозвонившись до госпиталя и вернувшись в процедурную, я застаю душераздирающую сцену насильственной кормежки: крошка от ципрофлоксацина размазана по недовольной рожице пациента. "Если брыкаются, значит выздоравливают", — подбадривает Абена.

Но брыкается только девочка; состояние мальчика ухудшается со скоростью состава, летящего под откос. После хинина и двух литров физраствора, он даже не открывает глаз, только еле-еле морщится в ответ на болевые стимулы. Все это время одна из медсестер зудела о зряшности наших стараний, и теперь в моей голове впервые проносится мысль о том, что старуха, возможно, права; и одновременно с этой мыслью мать мальчика начинает рыдать —

видимо, и она только что поняла. "Ты сама во всем виновата, — срывается Абена, — раньше надо было думать!"

Посыльный приносит листок с результатами анализов: "Заражение плазмодием, паразитемия 4+. Гемоглобин 6.5 г/дл". Это значит: без переливания крови — пиши пропало. До Центрального госпиталя черта с два доберешься, к тому же у меня заканчиваются деньги, на такси не хватит. "Что же у вас, авураа или как мне вас величать, совсем ни копейки? Одеты вроде прилично. Неужели нет ни гроша для собственного ребенка? Или вы настолько привыкли, что белый доктор все устраивает и оплачивает? Да как вам не стыдно, в конце концов?" Мать ребенка безденежна и безутешна. Не вполне понимая, что делать дальше, я покупаю еще литр физраствора, ампулу хинина и запас жаропонижающего.

— Двенадцать ганских седи, — с расстановкой произносит аптекарь.

— В прошлый раз было десять!

— В прошлый раз хинин был местного производства. Но тот хинин закончился, остался только импортный. Двенадцать ганских...

— Да я понимаю, что не нигерийских!

— Оставь, я заплачу, — неожиданно вмешивается Кведжо.

## 5

"Неудивительно, что вас это удивляет", — говаривал один мой знакомый из прошлой жизни. Удивление неудивительно. Удивительна забывчивость, позволяющая за какой-нибудь месяц привыкнуть к тому, что годами казалось невероятным. К тропическим зарослям и проселочной дороге, вымощенной кокосовыми скорлупками. К львиноголовым гекконам со стреляющими языками, шныряющим по дому в качестве питомцев. К больничному приему — по пятьдесят пациентов в день: тиф, малярия, дракункулез... К тому, что есть полагается руками, точнее правой рукой, из общей миски, а спать — на циновке. К руинам колонизации и отсутствию канализации.

К тому, что гостеприимство обозначается словом *ахохойе*, которое дословно переводится как "здесь-бытие". К этому "здесь-бытию" на краю света, где сосед в разноцветной пижаме и феске может в любой момент нагрянуть с визитом и, ни слова не говоря, развесить белье у тебя во дворе или состряпать себе еду на твоей плите из твоих же продуктов. Где в три часа ночи раздается петушиная побудка, а в шесть утра — дискант соседских "лазутчиков": по традиции младшему в семье надлежит начать день с обхода всех хижин в округе, спра-

виться о здоровье каждого из соседей и, вернувшись домой, представить подробный отчет. Где "болезни духа" лечат снадобьем из обезьяньих костей, а уж если и это не помогает, жители деревни снаряжаются в многодневный поход и, по очереди взваливая больного на спину, тащат его за тридевять земель — в ближайший медпункт.

К послеобеденным историям Люси и проповедям Фрэнциса, к обязательным сказкам про паука Анансе, которые могли затянуться на два часа, а при участии студента-медика Кваме Бремпонг — и на все четыре. Никто, включая маленькую Юнис, не относился к этим сказкам серьезней, чем Кваме. Его серьезность была сочетанием исследовательской въедливости с простодушной впечатлительностью. Если бы не медицина, из него мог бы выйти хороший этнограф-африканист.

Кваме приехал из штата Нью-Джерси по той же волонтерской программе, что и я. "Как, еще один Кваме?" — удивилась Юнис. И правда: к моменту прибытия американского гостя в доме Обенг уже имелся не один, а целых два Кваме — сторож на крыльце и принц на музейном портрете. С принцем Кваме Опоку американского Кваме роднил не только субботний день рождения[1], но и определенные факты биографии. Подобно легендарному тезке, Кваме Бремпонг был уроженцем Кумаси, вывезенным из страны в детском возрасте; и, так же как Опоку, всю жизнь мечтавший о *санкофа*, американский Кваме прибыл в Эльмину, чтобы найти свои корни и заново выучить родной язык.

Для ганцев он был *обруни бибини* — чернокожий обруни, африканский неафриканец. Каждый год сотни, если не тысячи, таких же чернокожих обруни совершают паломничество в нищий городок на побережье Гвинейского залива, где в 1482 году была построена первая в Африке невольничья крепость. Пять с половиной веков спустя, эта крепость никого не пугает; воображению приходится как следует потрудиться, чтобы приблизить ужас исторического контекста. В прохладном небе над бастионом носятся стрижи. По левую руку виднеется дикий пляж, разлетающиеся брызги огромных волн. По правую руку — причал и рыбацкий поселок, за которым начинается сама Эльмина, кажущаяся отсюда столь живописной. Рыболовные сети, шхуны и пироги, красно-бурая латеритная почва. Запах дыма и жареной кукурузы. Детвора гоняет в футбол, пока те, кто постарше, режутся в шаш-

1. Именем Кваме называют мальчика, родившегося в субботу.

ки или чинят допотопный "фольксваген". Местные ловкачи встречают заморских братьев у крепостной ограды, предлагают экскурсии, продают брелки и подвески с мемориальной надписью: *Форт Эльмина 2010 – в память об участи, что постигла наших предков.* Я сфотографировал сувенир крупным планом, но покупать не стал, то есть повел себя, как подобает обруни. Кваме лишь покачал головой и двинулся дальше.

Администратор клиники, смешливый и жуликоватый мистер Кооси, определил новоприбывшего волонтера ко мне в "отделение" (до этого отделение состояло из меня и Абены).

— Раз обруни, два обруни, — сказал Кооси, прихахатывая, — теперь вы сможете говорить по-английски, сколько вам влезет!

— Адэн? Ибэка фантсе[1], — гордо ответил я.

— Чале, ше, обруни фитаа йи сисиуо![2] — захохотал администратор, изо всех сил тряся безответного Кваме.

Все общение в клинике происходило на чви, и именно это обстоятельство послужило нам с Кваме поводом для дружбы. Можно сказать, что мы нашли общий язык, которого оба не знали — каждый по-своему. За год, проведенный среди ганцев, я научился довольно бегло изъясняться на аканском наречии, но стоило местному жителю немного ускорить темп речи, как я моментально терял нить беседы. У Кваме все было наоборот: родители всю жизнь говорили с ним на чви, а он, как и большинство эмигрантских детей, отвечал по-английски. В результате он абсолютно все понимал и решительно ничего не мог сказать. Получился идеальный тандем: я переводил с английского, Кваме — на английский. Местный житель глядел на нас, как на цирковое чудо, и издавал гортанное "Ий!", выражавшее крайнее удивление.

По вторникам все лавки в городе закрывались в полдень — обычай, связанный с культом бога воды, почитавшегося наравне с "И-и-сус-са-а". Закрывалась и клиника, но рабочий день на этом не заканчивался: наша помощь была востребована в другом учреждении, именуемом в народе "домом отдыха". Учреждение находилось в поселке Анкафул на расстоянии тридцати километров от Эльмины.

Около часу дня по Трансафриканской магистрали проезжала маршрутка (*тро-тро*); из окна с пассажирской сторо-

1. Зачем? Мы будем говорить на фантсе.
2. Смотри, пацан, как этот белый тебя надул!

ны высовывался голый по пояс подросток и выкрикивал пункт назначения: "Анкафул, Анкафул, Анкафул!!!" Салон *тро-тро* был забит настолько, что, казалось, еще одно тело смогло бы войти сюда разве что в расчлененном виде. Тем не менее, место всегда находилось — где-то между старичком с козой на руках и другим старичком, обнимающим телевизор. Более того, на протяжении следующих тридцати километров маршрутка продолжала останавливаться на каждом углу и подбирать пассажиров. Подросток-заправила собирал проездную плату, показывая размер тарифа на пальцах одной руки, как будто беспрестанно играя в "камень-ножницы-бумагу". При этом другая его рука сжимала гнилую веревку, на которой держалась пассажирская дверь.

Дорога шла у самого берега, огибая участки, засаженные арахисом и маниокой, бугорки окученного ямса, укрепления из песчаника и гальки. Два шелестящих звука — звук прибоя с одной стороны и отдаленный шум шоссе на Аккру с другой — сливались в единый всепроникающий шелест.

— Всё далеко, — сказал Кваме, — хотя и кажется очень знакомым.

— Привыкнешь. Тебе-то сам Бог велел. Через месяц будешь, как рыба в воде.

— Хм... У моего отца такая поговорка есть: "Как рыба в воде, только в кипящей..."

— Это потому что тропики. Жарко.

— Разве? По-моему, сегодня терпимо.

— Да нет, это шутка была: в кипящей воде, потому что в тропиках... Ладно, проехали.

— А-а, ну да... — Кваме прислонился к стеклу. — Нет, все-таки знакомого мало... Я смотрел один фильм, не помню, как он назывался. Там главному герою отшибло память, но никто из его близких об этом не догадывается. Просто человек возвращается в прежнюю жизнь, принимает в ней участие, подстраивается под ожидания родных, никого и ничего при этом не узнавая.

— Конечная остановка! — Подросток-заправила отпустил веревку, спрыгнул со своего облучка и принялся помогать высаживающимся пассажирам.

...Очевидно с таксистом, подъехавшим к дверям клиники и утвердительно кивнувшим в ответ на мою безумную просьбу отвезти нас в Центральный госпиталь (а почему не на луну?), договорился Кведжо. Или Абена. Что не я, это точно. Я лишь тупо перетряхивал и перехлопывал все карманы — нет, не звякает. Брезгливо помор-

щившись, таксист сделал успокоительный жест рукой: в следующий раз заплатишь.

В машине мальчику полегчало — то ли подействовала дополнительная доза хинина, которую я, вопреки правилам дозировки, ввел перед выездом, то ли просто ненадолго "отпустило", как это обычно бывает при малярии. Во всяком случае, он уже не так смахивал на постояльца морга, что значительно усложнило мои переговоры с дежурной по приемному покою.

**Я.** Этому пациенту срочно требуется переливание крови.

**Она.** Вы прекрасно говорите на чви!

**Я.** Спасибо. Вот результаты из нашей лаборатории. Как видите, откладывать нельзя.

**Она.** Впервые вижу обруни, который так здорово знает чви! Нет, вру, у одной моей приятельницы был шурин из Германии, он тоже неплохо говорил на чви. Но это понятно: у него была ганская жена. Вы тоже женаты на ганке?

**Я.** Вы что, меня не слышите?

**Она.** И-и, да это же новичок, свежая рыбка! Откуда же тогда такой чви?... Вы не волнуйтесь, доктор. Больной в надежных руках. Мы сделаем все, как Вы сказали.

Я ей не верю. И не только ей. Или я не видел, как безденежная мать доставала из сумочки новый мобильный телефон? Ладно, пойду погуляю по территории госпиталя, а через час вернусь проверить.

Через час дежурная сидит, где сидела, а ребенок лежит на тех же носилках, где я его оставил. Единственное, что изменилось в обстановке за время моего отсутствия, — это уровень шума: к дежурной пришла подруга, а к мальчику прилетели мухи, и теперь они жужжат в унисон.

— Скажите, Вы собираетесь делать ему переливание?

— Конечно, собираемся. Сейчас принесут капельницу, и сразу будем делать.

— В таком случае, скажите мне, пожалуйста, какая у него группа крови и кто будет донором?

— Да что вам от нас нужно? — дежурная переходит на английский. — Вы приезжаете в нашу страну — зачем? Я знаю зачем. Вы печетесь об африканском ребенке, для вас он — символ, и, если он выживет, это будет вашей победой. Я это понимаю, но мы — не те, с кем вам надо бороться... Сейчас почти восемь вечера, прием посетителей окончен. Вы не работаете в этой больнице и должны уйти. Если хотите, можете прийти за своей победой завтра утром. Начиная с восьми часов.

Дежурная сдержала свое слово; через несколько дней шестилетнего Квези Овусу-Боатенга, окончательно выздоровевшего, выписали из больницы.

От остановки "Поселок Анкафул" до самого поселка добрых пять километров. Этот отрезок пути закрыт для любого транспорта, кроме двухколесного и парнокопытного. В благоприятное время года, между харматтаном и сезоном дождей, иной смельчак на внедорожнике нет-нет да отважится попытать удачу — и вот деревенские сорванцы уже несутся навстречу с праздничным улюлюканьем: результат автозабега им известен заранее.

Какой-то остроумец окрестил это место "Невозвращенцами" ("Нкоамма"), прикрепив к стволу раскидистого дерева одум картонный указатель: "Нкоамма ко уэним тээ"[1]. Смысл названия открывается не сразу, а метров через сто, когда из тропического чернолесья выплывает глинобитное здание с двухярусной окраской: темный низ, белый верх. Это здание — детдом, а название — отсылка к традиции. К легенде о детях-духах *окобайе*, сиречь возвращенцах; к обычаю ограждать новорожденного от болезней с помощью ритуальной скарификации. Увы, никаких *окобайе* со шрамами на щеках — символом родительской заботы — здесь не увидишь. Наиболее распространенные среди детдомовцев имена — Йэмпэу (Тебя-не-хотели) и Адийэа (Тот-кому-горевать). Это они, Йэмпэу и Адийэа, бросаются навстречу редкому автомобилю в надежде сбыть товар (жвачки, брелки, печенье, питьевая вода), с которым их каждый день отправляют в мир — после или вместо занятий. Это они сидят по краям дороги возле разнообразной завали, выставленной на продажу. Впрочем, не только они. Сверстники из близлежащих деревень промышляют тем же самым.

Это "лесные" деревни: по мере удаления от побережья тропический лес становится все гуще, все больше растений, имеющих название только на чви и на латыни. Здесь начинаются джунгли, в которые почти не проникает свет и поэтому, пока находишься в них, жары не чувствуешь, но пот течет в три ручья. Деревенские целители знают этот лес как свои пять пальцев. Если продолжать на север, экваториальные леса сменятся саванной, пальмы — баобабами и деревом ши, корнеплодные культуры — просовыми, зеленый цвет, — песком сахель, прямоугольные постройки ашанти — круглыми саманными домиками и суданской архитектурой песочных мечетей, христианство — исламом, английский язык — французским. Если продолжать на

1. "Невозвращенцы: следовать прямо".

север, говорил Фрэнцис, можно никогда не вернуться. Фрэнцис Обенг — не из деревни, но и он при желании мог бы водить экскурсии по джунглям не хуже иного колдуна-травника. Вот дерево *очвере*, чья кора используется для лечения астмы; вот *шейн-шейн*, чью кору дают жевать при родах (деревенский вариант окситоцина). Вот *прекесе*, испытанное средство от гипертонии. Вот целебный гриб *домо*, растущий на масличной пальме. Вот шерстяное дерево, спальное дерево, дерево-ночь... Вот первозданная глушь и африканская теодицея, переложение Божественной комедии на местный язык: "...Вскоре я очутился на окраине леса, и тьма этого леса была богом".

Мы ночевали в лесных деревнях пару раз, когда процедуры в "доме отдыха" чересчур затягивались и последнее *тро-тро* на Эльмину отчаливало без нас. Коммерсанты мал мала меньше окружали новоприбывших обруни и обруни-бибини, за версту распознав сговорчивых покупателей. Я машинально нащупывал бумажник, хотя опыт жизни в Африке уже неоднократно показывал: здесь не Европа; несмотря на невообразимую нищету, в Гане, как правило, не воруют. Двери домов и машин не запирают. Так что можно наконец ослабить оборону карманов. Но привычка — вторая натура; и кошелек несколько раз выпадал из кармана — именно из-за моего беспрестанного нащупывания. Тогда за спиной раздавались оклики: "Мистер, мистер, эйе уо деа...[1]" Дети возвращали мне оброненное богатство и торговля поделками продолжалась.

Выходило, что без свистульки за пять седи, без сувенирной ракушки, подписанной "To our American friends", и без пожертвований в пользу несуществующей футбольной команды нам не уйти. То, что футбольная команда — разводка чистой воды, не было секретом даже для самого легковерного обруни. Но когда пострел от горшка два вершка вдохновенно рассказывает о своей футбольной мечте и просит ничтожного вспомоществования для осуществления оной, сама природа, сама генетическая память, пропитанная "бременем белого человека", подсказывает облагодетельствовать дитя. В конце концов, не затем ли ты и приехал, чтобы умиляться, раскошеливаться и вновь умиляться? Другое дело, когда просителем оказывается переросток по имени Бенджамин, знакомый по предыдущим визитам в эту деревню. Вот он окликает меня, как будто видит впервые, и — все тот же немудрящий зачин: "My name is Benjamin. What is your name?" Мое имя ему нужно, чтобы, улучив минуту, когда я отвернусь, начертать его фломастером на

1. "...это твое..."

непременной ракушке, а затем извлечь уже готовый сюрприз из кармана рубахи. "To our American friend Alex". Пять ганских седи. Этот трюк сработал и в прошлый раз, и в позапрошлый. Но сегодня меня не разжалобишь.



— My name is Benjamin. And what is yours?

— Ме дин дэ обиара[1].

— What is your hobby? — продолжает Бенджамин. Но и эту преамбулу я уже слышал: сейчас заведет про футбольную мечту.

— Кусэ, Бенджамин, энне на ми сика суа[2].

— But what is your hobby? — не унимается "футболист", продолжая говорить со мной по-английски, так же демонстративно, как я с ним — на чви. — What is your hobby, my brother?

— Ме соно дае сэ мебейе футболер, нансо мехийя сика би...[3]

Бенджамин останавливается, смотрит на меня взглядом затравленного животного и достает из кармана ненадписанную ракушку: "На, возьми, это подарок, деньги мне не нужны..." — "Бенджамин, я не могу взять у тебя эту ракушку. Понимаешь, у меня действительно нет при себе ни копейки..." — "Это подарок, обруни, я хочу, чтобы ты его взял. Хочу, чтоб ты взял". — "Хорошо, Бенджамин, если тебе от этого будет легче..." Легче не будет.

Топоним "Невозвращенцы" имел отношение не только к воспитанникам детского приюта. Дорога в Анкафул, ближайшая родственница "голодной дороги" Бена Окри, обнаруживала еще два социальных института: психиатрическую лечебницу и режимную территорию. Последняя, хоть и была окружена забором с колючей проволокой, охранялась скорее для виду. Считалось, что за заключенными присматривает божок-надзиратель, неизменно заставляющий беглецов возвращаться. На самом же деле, никто и в мыслях не держал устроить побег, так как бежать арестантам, по правде сказать, было некуда. Семья и община ни за что не примут назад человека с судимостью, даже если он был осужден без вины. Можно окопаться в джунглях, жить чужаком в одной из бесчисленных деревень. Но условия проживания в тюрьме мало чем отличаются от свободы в лачуге с кровлей из шифера и голой землей вместо пола.

И вот "невозвращенцы" всех мастей — узники в синих робах, охранники в хаки, детдомовцы в чем мать родила — выходят на дорогу, чтобы купить-продать что-нибудь съестное

1. Меня зовут никак.
2. Извини, Бенджамин, у меня сегодня нет денег.
3. Я мечтаю стать футболистом, но для этого мне нужно немного денег...

или поглазеть через ограду на неприступное зодчество: поместье-не поместье, санаторий-не санаторий... Несколько одноэтажных корпусов по периметру территории с ухоженным двориком в центре. По легенде, популярной среди детдомовцев, там живут "офри на онву дэбида"[1].

— Ты знаешь, что альбиносы никогда не умирают?

— Врешь!

— Нет, не вру. Они не умирают, а просто исчезают. Никто никогда не видел мертвого альбиноса!

"Мека нокра, омфи му, ммом оту йера"[2], — слышалось всякий раз, когда я шествовал мимо крутолобого Йэмпэу и большеглазой Адийэа, своим появлением снова подтверждая их догадку, что "там живут альбиносы". Они провожали меня до ворот, все стараясь заглянуть внутрь. Что там внутри? Ни подглядеть, ни подслушать. Белокаменную стену, тянущуюся вдоль ограды, прорезают сводчатые проходы, забранные косой деревянной решеткой. Это и есть пресловутый "дом отдыха": первый и едва ли не единственный в стране лепрозорий.

Рабочий день в лепрозории начинался с обхода — не пациентов, а медицинского персонала во главе с угрюмцем исполинского роста по имени Доктор Брюс-Таго. Этикет общения в закрытом учреждении требовал поздороваться с каждым из членов коллектива, от лаборанта до специалиста по изготовлению протезов, и уж затем предстать перед главным, дабы испросить у него разрешение приступить к работе. Гигант Брюс-Таго мрачно кивал или просто отворачивался в знак согласия. Сама работа была вполне рутинной: проверять дозировку дапсона, следить за нормальным заживлением раны после ампутации. Проводить осмотр и назначать лечение, не выходя из оцепенения, которое овладевало мной тотчас по прибытии в Анкафул. Больные, одетые в униформу болотного цвета (тот же покрой, что и у арестантской одежды), таращились из-под лимонного тюля противомоскитных сеток. Львиные лица, скрюченные конечности, нескончаемая тишина. Надо поспешить, чтобы управиться с работой до темноты. Выйти на свет и звук.

Звук доносился из соседней деревни и принадлежал ударному инструменту, точнее целой группе ударных инструментов. Первой его услышала Абена, сопровождавшая нас с Кваме во время поездок в Анкафул.



1. "Бессмертные альбиносы".
2. "Правду говорю, они не умирают, а просто исчезают".

— Хэ! — возмутилась Абена. — Скоро Бакачуэ, а они в барабаны бьют!

— Бакачуэ?

— Праздник такой. У нас за месяц до Бакачуэ вводят запрет на стук. Нельзя бить в барабаны и толочь фуфу после шести вечера. А эти, вишь, расшумелись, как будто не знают. Хэ!

— А что это за ритм? *Асафо?*

— Не, это *атумпан.* Говорящие барабаны.

— А о чем они говорят, ты не знаешь?

— Не знаю. Я их язык плохо понимаю.

О говорящих барабанах, предназначенных для коммуникации на больших расстояниях, я знал из научно-популярной литературы, но не подозревал, что это искусство практикуется до сих пор. Барабанщик использует сложную систему ритмических фраз, имитируя интонации и фонемы человеческой речи. Существует даже канон стихотворных текстов, сочиненных специально для *атумпана.*

Выйдя на звук, мы оказались свидетелями настоящего театрального действа. Ряженые танцоры, перкуссионный ансамбль, говорящий барабан, повествующий о событиях из истории племени. Но самым удивительным был состав участников: среди актеров, как и среди зрителей, были только дети. Более того, этот самодеятельный театр автономной республики ШКИД не только не предполагал участия взрослых, но и исключал саму возможность их присутствия: впервые за все время моего пребывания в Гане, на *обруни* не обратили ни малейшего внимания.

В девяносто пятом году мы жили на окраине Олбани, в двух шагах от богемной кофейни "Кафе Долче", куда я отправлялся чуть ли не каждый вечер — разумеется, с целью писать стихи. Стены кофейни были украшены причудливыми геометрическими узорами; в них всегда можно было уткнуться невидящим взглядом, напуская на себя творческую отрешенность. Пялиться в стенку в поисках повода, часами разглядывать зигзаги и перекрестья. Жизнь — бессюжетна, это да, но человеку, желающему убедить себя в обратном, легко найти подтверждение в мелочах. И вот случайность перестает быть случайной, потому что через пятнадцать лет странствующая медсестра Нана Нкетсия будет втолковывать мне смысл этих пиктограмм, которые окажутся символами "адинкра". И настенные декорации из далекого "Кафе Долче" всплывут в памяти и выйдут на первый план, как будто в них и вправду кроются ответы на все вопросы, включая те, которые так и не удосужился сформулировать.

...Пиктограмма в форме квадрата, заполненного ромбовидными клетками в семь рядов, называется "Фие ммосеа" ("Щебень двора"): "Если твои стопы в крови от щебня, это щебень с твоего двора".

Пиктограмма в форме двух якорей, слитых воедино. Это "Ако-ко найн" ("Куриная лапка"): "Когда курица топчет свой выводок, она не желает им смерти".

Четыре раскрытых глазка "Матэ масиэ": "Что услышал, то сохранил".

Узор из концентрических ромбов внутри квадрата "Ани брэа": "Как глаза ни красны, огню в них не вспыхнуть".

Панцирь жука, обрамленный двумя лепестками ("Одо ньира фиэ куайн"): "Любовь помнит дорогу домой".

Птица, пытающаяся дотянуться клювом до собственного хвоста; в клюве у птицы яйцо ("Санкофа а йенчи"): "Если забудешь, вернись и возьми, это не стыдно".

Два зерна фасоли, повернутые друг к другу ("Ньяме бриби во соро"): "Господь, если тайну хранишь в небесах, дай мне сил дотянуться".

## 7

Ночью я почувствовал все, что положено чувствовать в начале (горечь во рту, покалывание в конечностях), но не сразу понял, в чем дело. До этого мне везло и, уверовав в чудодейственность профилактики, я счел себя вне опасности, несмотря на то, что весь предыдущий месяц "болотная лихорадка" косила жителей Эльмины почти поголовно: сезон дождей был в разгаре. С усилием проглоченный комок спускался по пищеводу, распухая загрудинной тяжестью, пока не превратился в сгусток боли в области солнечного сплетенья, как при ударе под дых. Я приподнялся до полусидячего положения — боль начала спадать. Ньяме адом, обойдется.

К утру малярия уже вовсю хозяйничала в организме. Меня прошибал пот и знобило. Горячечные лилипуты, вооруженные ударными инструментами, трудились на костоломной ниве, бурили череп. Но все это было ничто по сравнению с уютной всепоглощающей летаргией. Любое движение казалось непосильным, а главное, совершенно ненужным трудом. Будь что будет, пусть стучат молоточки, ползут мурашки и красные кровяные тельца лопаются, как мыльные пузыри. Тело чувствует боль, но *сунсум* отправляется спать, идет, куда ему нужно, пока *кра* наблюдает издали, ибо не вправе вмешиваться, и у меня не хватит воли, чтобы открыть глаза и дотянуться до сумки, в которой лежат припасенные впрок таблетки.

Я буду спать, изредка выныривая на звук барабана "ммара! ммара!", но вскоре этот саундтрек сменится чем-нибудь из хип-лайф, хит-парадными Дэдди Лумба, Ар-Ту-Бис, или Офори Омпонса, напоминающими о чоп-баре возле Эльмина Джанкшн, где мы заседали с Кваме и Абеной, потягивая пиво "Star" под сиреневое мигание цветомузыки.

Манврэ фри нэ мфенсэрэ тумм,
Анаджо сунсумма тэнтэйн,
Тэсэ нкае анкаса кумм
Канеа а эво абонтэйн...

О заправке "Shell", где отоваривались водой и телефонными картами, и заправщик Баду всякий раз говорил, что запишется ко мне на прием, не потому что был болен, а просто так — чтобы доктору было приятно. О девушках из Такоради со смешными именами Love и Charity, учившихся в университете Кейп-Коста по специальности "поставщик продуктов питания", тайком расспрашивавших меня про семейное положение Кваме и посылавших ему записки с намеком на матримониальные планы. О другом чоп-баре, где справляли день рождения Абены, а потом гуляли по ночному Кейп-Косту с ней и ее подругой Пэт, покупали келевеле[1] у уличных торговцев, и навстречу нам шли молодые люди, тоже парами или кучками и, сливаясь с этим народным гуляньем, я испытывал чуть ли не подростковый трепет, как в пятом классе, когда дружба с сердцеедом Костиком обернулась возможностью "гулять с девчонками", с Юлькой Жарковской и Ксюшей Султановой, салютуя автомату с газировкой, бочке с квасом и остальной атрибутике ностальгии-точка-ру. Как давно это было? И на каком языке? С некоторых пор друзья и соседи по московскому детству в моих снах оказываются англоязычными, а люди из нынешней жизни — наоборот. И тем и другим не хватает слов, и, погружаясь в безъязычье, память призывает на помощь мотив, музыкальную паузу, бред моментальной рифмовки.

...Обиа нтена ха, ме кра.
Мату квайн ашеше ми ньйом.
Нантэ йи, адамфо, ко бра.
Ка чре ме сэ ибэшья бьйом...

1. Закуска из жареных бананов с имбирем и арахисом.

Вечер наступает внезапно: в шесть часов не было и намека на угасание, а к семи уже окончательно стемнело. В этом особенность экватора. Резкость световых переходов. Между тем время суток, чей свет ассоциируется у меня с Эльминой, — это именно сумерки. Воздух, переполненный детскими голосами, запахом дыма, однообразным ритмом песта, толкущего фуфу, кудахтаньем кур. "Кейп-Кост, Кейп-Кост, Кейп-Кейп-Кейп-Кейп!" — выкрикивает зазывала, высунувшись из проезжающего мимо *тро-тро*. "On your mark! Get set! Go!"[1], — командует телевизор, транслирующий спортивное соревнование. "Аномаа! Кесье! Кроу!"[2], — вторят дети, занятые катанием велосипедного обода с помощью палки. Пахнет пальмовым маслом, сушеной рыбой, забродившей кукурузной мукой. Со стороны залива собираются тучи.

"Какая завтра у нас ожидается погода?" Пожимает плечами: "Очена на эбеше..."[3] Прогноз погоды — это "для беленьких", так же как беспрестанное фотографирование жизни. Так же как и туризм. Если африканец отправляется в другую страну, то только в качестве переселенца. Любой отъезд — надолго, если не навсегда. Отсюда — столь щепетильное отношение к ритуалу сборов и проводов, ко всему, что с этим связано.

И отсюда же, возможно, безошибочная логика словообразования: существительное "nkerabea" ("судьба") происходит от глагола "kera" ("прощаться") и в дословном переводе означает "способ прощаться" или "место для прощания". Смещение тонов производит смысловое смещение: если "kera" (интонация на понижение) — это "прощаться", то "kera!" (восходящая интонация) — это душа. А само существительное "nkera" ("прощание") при аналогичном смещении превращается в "nkera!" ("послание", "весть"). Все зависит от модуляции голоса, от судьбы, вобравшей прощание и весть, и душа восходит к прощальному глаголу, восклицает "Прощай!" на птичьем языке чви.

Тропический воздух кажется непреодолимым. Как будто все время дышишь предвестьем грозы или предчувствием лихорадки. Все дело в незащищенности, стало быть, в свободе. Свобода — угроза момента. Взгляд, брошенный туда, где тебя не будет. Как бы *санкофа* наоборот. Это в детстве казалось: можно избежать чего угодно, если только заранее четко представить себе, как оно будет. Где то, чего с самого начала ждешь и боишься? Ближе и ближе. Притом, что нигде.

1. "На старт! Внимание! Марш!" (*англ.*)
2. Птица! Большая! Ворона!
3. "Вот завтра и узнаем..."

...Энкрайн, мафа уо тро-тро
На маше уо чале уаче.
Тена йи, м'абрабо фофро.
Мэсанба, ме до, дааче.



* * *

– Долго я спал?

– Куда уж дольше, – Нана прикрепляет пакет с физраствором к торшеру в моей бриджпортской квартире. – Эк тебя развезло... Хорошо хоть вовремя догадался позвонить Оникепе.

– Разве я звонил?..

Вместо ответа Нана достает из кармана сложенный вчетверо лист бумаги; развернув, демонстрирует его на манер иллюзиониста. Прижимает к листу ладонь, обводит ее фломастером, как это делали в детстве, и, положив лист – рисунком вниз – мне на грудь, поясняет: "Грелка".

*2009–2010*

# Марио Варгас Льоса

# *Похвала чтению и литературе*

*Нобелевская премия, 2010*

Нобелевская лекция

*Перевод с испанского*
Максима Коробочкина

Я научился читать в пятилетнем возрасте — моим наставником был брат Юстиниан из школы де Ласаля в боливийском городе Кочабамба. И это самое важное, что случилось со мной в жизни. Сегодня, почти через семьдесят лет, я отлично помню то волшебство, с которым слова с книжных страниц превращались в образы, обогащая мою жизнь и ломая барьеры времени и пространства. Вместе с капитаном Немо я преодолел двадцать тысяч лье под водой, плечом к плечу с д'Артаньяном, Атосом, Портосом и Арамисом противостоял интриганам, замышлявшим недоброе против королевы во времена хитроумного Ришелье, перевоплотившись в Жана Вальжана, брел по парижским катакомбам с бесчувственным телом Мариуса на спине...

Чтение превратило мечты в жизнь, а жизнь в мечты: целая литературная вселенная оказалась на расстоянии вытянутой руки от мальчишки, которым я тогда был. Мать рассказывала, что первые мои "пробы пера" представляли собой продолжение прочитанных мною книг, потому что мне было жалко расставаться с героями или не нравилась концовка. Пожалуй, этим же, сам того не сознавая, я занимался всю жизнь: продолжал во времени — по мере взросления и старения — те истории, что наполнили мое детство восторгом и приключениями.

Как бы я хотел, чтобы здесь, сегодня, присутствовали моя мать — женщина, которую трогали до слез стихи Амадо Нерво и Пабло Неруды, — и дедушка Педро с ог-

© Mario Vargas Llosa, 2010
© Максим Коробочкин. Перевод, 2011

ромным носом и сверкающей лысиной, так хваливший мои стихи, и дядя Лучо, столь энергично призывавший меня отдаться телом и душой писательскому ремеслу, хотя в то время и в том месте литература весьма скудно вознаграждала своих служителей. Всю жизнь рядом со мной были такие люди — люди, любившие и ободрявшие меня, в минуты сомнения заражавшие меня своей верой. Благодаря им и, конечно, собственному упрямству да толике везения я мог посвящать почти все свое время страсти, пороку, чуду писательства, созданию параллельной жизни, где мы можем найти убежище от бед, жизни, превращающей невероятное в естественное и естественное в невероятное, разгоняющей хаос, преобразующей уродство в красоту, продлевающей минуту до вечности, преодолевающей саму смерть.

Писать — дело непростое. Когда воображаемые истории превращались в слова, замысел рассыпался на бумаге, идеи и образы тускнели. Как вновь вдохнуть в них жизнь? К счастью, рядом всегда были мастера, наставники, примеры для подражания. Флобер научил меня тому, что талант — это железная дисциплина и долготерпение. Фолкнер — тому, что форма (стиль и структура) способна возвысить и обогатить сюжет. Марторель, Сервантес, Диккенс, Бальзак, Толстой, Конрад, Томас Манн — тому, что масштаб и размах в романе не менее важны, чем отточенность стиля и четкая проработка сюжетных линий. Сартр — тому, что слова — это дела, что роман, пьеса или рассказ в определенные моменты и при благоприятных обстоятельствах способны изменить ход истории. Камю и Оруэлл — тому, что литература, лишенная нравственности, бесчеловечна, а Мальро — что героизм и эпос в наши дни возможны точно так же, как во времена аргонавтов, "Одиссеи" и "Илиады".

Если бы в этом выступлении мне нужно было назвать всех писателей, которым я чем-то обязан — многим или малым, — их тени погрузили бы нас во тьму. Им нет числа. Они не только поделились со мной секретами мастерства рассказчика, но и побудили меня исследовать человека во всей его бездонной глубине, восхищаться его подвигами и ужасаться его жестокости. Они были моими лучшими друзьями, из их книг я понял, что и в самых худших ситуациях всегда есть надежда, а жить стоит хотя бы потому, что, не живя, мы не могли бы читать и придумывать истории.

Временами я задумывался: не солипсистская ли роскошь писательское ремесло в таких странах, как моя, где и читателей не так уж много, где столько людей бедны и неграмотны, где столько несправедливости, где культура — это привилегия единиц. Эти сомнения, однако, не смогли сбить меня с пути: я продолжал писать даже в те времена, когда большую часть времени приходилось тратить

на то, чтобы заработать на жизнь. Думаю, я поступил правильно, ведь если бы для того, чтобы литература расцвела, обществу надо было сначала достичь высокого уровня культуры, свободы, благосостояния и справедливости, ее просто бы не существовало. Но благодаря литературе, благодаря сознанию, которое она порождает, стремлениям и желаниям, которые она вдохновляет, и разочарованию в действительности, которое мы испытываем, возвращаясь из путешествия в прекрасное царство фантазии, цивилизация сегодня не так жестока, как в те времена, когда сказители только начали очеловечивать жизнь своими выдумками. Без хороших книг, которые мы прочли, мы были бы хуже, чем мы есть, — бóльшими конформистами, менее беспокойными, более послушными, а духа сомнения — этого локомотива прогресса — не существовало бы вовсе. Чтение, как и писательство, — это протест против неполноты жизни. Когда в плодах воображения мы ищем то, чего не хватает в жизни, мы говорим, не произнося этого вслух и даже не сознавая, что жизнь, как она есть, не утоляет нашей жажды абсолютного — основы человеческого существования — и она должна быть лучше. Мы даем волю фантазии, чтобы как-то прожить те многие жизни, которые нам хотелось бы иметь, когда в нашем распоряжении лишь одна.

Без воображения мы меньше осознавали бы значение свободы для того, чтобы существование было сносным, и то, в какой ад превращается жизнь, когда ее топчет ногами тиран, идеология или религия. Пусть те, кто сомневается, что литература не просто погружает нас в мечту о красоте и счастье, но и предупреждает нас об опасности любых форм угнетения, зададутся вопросом: почему все режимы, стремящиеся контролировать поведение граждан от колыбели до могилы, настолько ее боятся, что вводят репрессивную цензуру, и так настороженно следят за независимыми писателями? Они делают это потому, что осознают, как опасно позволять воображению вольно бродить по страницам книг, понимают, какой крамолой становятся "выдумки", когда читатель сравнивает выраженную в них — и сделавшую их возможными — свободу с обскурантизмом и страхом, что ждут его в реальном мире. Выдумывая свои истории, писатель — хочет он этого, или нет, понимает или нет — распространяет недовольство: ведь он показывает, что мир несовершенен, а жизнь, рожденная фантазией, богаче повседневности. Если этот факт укореняется в сознании и восприятии граждан, ими становится труднее манипулировать, они с меньшей готовностью принимают ложь жандармов и тюремщиков, уверяющих, что за решеткой живется лучше и спокойнее.

Хорошая литература строит мосты между народами и, заставляя нас радоваться, горе-

вать или удивляться, объединяет нас, несмотря на барьеры языков, убеждений, привычек, обычаев и предрассудков. Когда большой белый кит уносит с собой в пучину капитана Ахава, в сердцах читателей поселяется один и тот же страх, независимо от того, живут ли они в Токио, Лиме или Тимбукту. Когда Эмма Бовари глотает мышьяк, Анна Каренина бросается под поезд, Жюльен Сорель поднимается на эшафот, когда горожанин Хуан Дальманн из борхесовского "Юга" выходит из таверны в пампе на улицу, где его ждет бандит с ножом, когда мы понимаем, что все жители Комалы (родной деревни Педро Парамо) мертвы, читатель — верит ли он в Будду, Конфуция, Христа или Аллаха, или считает себя агностиком, носит ли он пиджак с галстуком, бурнус, кимоно или пончо — содрогается одинаково. Литература рождает братство в многообразии, стирает границы между людьми, созданные невежеством, идеологиями, религиями, языками и глупостью.

У каждого времени свои кошмары. Наше время — это эпоха фанатиков, террористов-смертников: породы, пришедшей из далекой древности, убежденной, что убивая, они попадают в рай, что кровь невинных смывает оскорбление, нанесенное племени, исправляет несправедливость и заменяет ложную веру истинной. Каждый день по всему миру бессчетное число людей становится жертвами тех, кто считает себя обладателями истины в последней инстанции. Когда рухнули тоталитарные империи, мы верили, что теперь в нашей жизни воцарятся гармоничное сосуществование, мир, плюрализм и права человека, что Холокост, геноцид, агрессия и истребительные войны остались в прошлом. Но этого не случилось. Пышным цветом расцвели новые формы варварства, вдохновляемые фанатизмом, а распространение оружия массового поражения не дает нам забыть о том, что любая горстка безумных "искупителей" может однажды спровоцировать ядерный катаклизм. Мы должны сорвать их планы, противостоять им, победить их. Их немного, хотя эхо их преступлений разносится по всей планете, а внушаемые ими кошмары наполняют нас ужасом. Мы не должны позволить себя запугать тем, кто хочет отнять у нас свободу, которую мы обретали на протяжении всей истории цивилизации. Нам надо защитить либеральную демократию: при всем своем несовершенстве она по-прежнему воплощает в себе политический плюрализм, сосуществование, терпимость, права человека, уважение к критике, законность, свободные выборы, сменяемость власти — все то, что выводит нас из дикости и приближает к той прекрасной, идеальной жизни, что рисует литература, жизни, которой нам не суждено достичь и которую мы можем заслужить, лишь придумывая ее, перенося на бумагу,

читая о ней. Противостоя убийцам-фанатикам, мы защищаем наше право на мечту и воплощение мечты в реальность.

В молодости, как и многие писатели моего поколения, я был марксистом и верил, что социализм покончит с эксплуатацией и социальной несправедливостью, усиливавшейся тогда у меня на родине, в Латинской Америке и во всем "третьем мире". Для меня процесс разочарования в этатизме и коллективизме, превращения в либерала и демократа, каковым я являюсь — стараюсь быть, — был долгим и трудным. Он проходил постепенно под влиянием таких эпизодов, как превращение революционной власти на Кубе, к которой я поначалу относился с энтузиазмом, в копию вертикальной советской модели; рассказы диссидентов, которым удалось избежать колючей проволоки лагерей; вторжение стран Варшавского договора в Чехословакию; а также под влиянием таких мыслителей, как Раймон Арон, Жан-Франсуа Ревель, Исайя Берлин и Карл Поппер, благодаря которым я изменил отношение к демократической культуре и открытому обществу. Эти мастера подавали пример дальновидности и гражданского мужества в те времена, когда западная интеллигенция в результате легкомыслия или конъюнктурности, казалось, полностью поддалась чарам советского социализма или, что еще хуже, влиянию кровавого шабаша китайской "культурной революции".

Ребенком я мечтал когда-нибудь оказаться в Париже, потому что, очарованный французской литературой, был убежден: если я буду жить там, дышать тем же воздухом, что и Бальзак, Стендаль, Бодлер, Пруст, это поможет мне стать настоящим писателем, а оставшись в Перу, я так и буду "литератором по выходным". И действительно, Франции и французской культуре я обязан неоценимыми уроками: например, что литература — это не только вдохновение, но в такой же степени дисциплина, труд, упорство. Я жил там, когда были еще живы и творили Сартр и Камю, во времена Ионеско, Беккета, Батая и Чорана, драматургии Брехта и фильмов Ингмара Бергмана, Национального народного театра Жана Вилара и "Одеона" Жан-Луи Барро, "новой волны" и "нового романа", блестящих выступлений Андре Мальро и, пожалуй, самого грандиозного зрелища тогдашней Европы — пресс-конференций и речей "громовержца" генерала де Голля.

Но больше всего, пожалуй, я благодарен Франции за то, что она помогла мне открыть для себя Латинскую Америку. Там я понял, что Перу — это часть гигантского сообщества, объединенного историей, географией, общими социально-политическими проблемами, определенным образом жизни и великолепным языком, на котором оно говорит и пишет. В

те самые годы это сообщество рождало новую, мощную литературу. Во Франции я прочел Борхеса, Октавио Паса, Кортасара, Гарсиа Маркеса, Фуэнтеса, Кабреру Инфанте, Рульфо, Онетти, Карпентьера, Эдвардса, Доносо и многих других. Их произведения обновили испаноязычную литературу, и благодаря им Европа и многие другие регионы мира узнали, что Латинская Америка — это не только перевороты, опереточные диктаторы, бородатые партизаны, маракасы, мамбо и ча-ча-ча, но и идеи, художественные формы, образы, не только экзотические, но и говорящие на общечеловеческом языке.

С тех времен и до сегодняшнего дня Латинская Америка — не без сбоев и ошибок — прошла немалый путь, хотя, как говорится в одном из стихотворений Сесара Вальехо, "hay, hermanos, muchísimo que hacer" ("братья, еще так много предстоит сделать"). У нас стало гораздо меньше диктаторских режимов — если не считать клоунских популистских псевдодемократических систем, как в Боливии и Никарагуа, они сохранились только на Кубе и в Венесуэле, объявившей себя ее преемницей. Однако в остальных странах континента демократия работоспособна, пользуется поддержкой народа, и впервые в нашей истории в Бразилии, Чили, Уругвае, Перу, Колумбии, Доминиканской Республике, Мексике, практически во всей Центральной Америке и правые, и левые привержены законности, свободе критики, выборности и сменяемости власти. Это верный путь, и, если Латинская Америка не свернет с него, будет бороться с ползучей заразой коррупции и продолжит интеграцию с внешним миром, она наконец превратится из "континента будущего" в континент настоящего.

Я никогда не чувствовал себя чужаком в Европе — да и собственно нигде. Везде, где я жил — в Париже, Лондоне, Барселоне, Мадриде, Берлине, Вашингтоне, Нью-Йорке, Бразилии, Доминиканской Республике, — я ощущал себя как дома. Я всегда находил "логово", чтобы спокойно жить, работать, узнавать что-то новое, мечтать, находил друзей, книги и сюжеты. Мне не кажется, что непреднамеренное превращение в "гражданина мира" как-то ослабило мои "корни", мою связь с родиной — ведь перуанские впечатления по-прежнему питают меня как писателя и всегда появляются в моих книгах, даже если их действие происходит далеко от Перу. Думаю, напротив, долгая жизнь за пределами страны, где я родился, лишь укрепила эту связь, позволяет яснее ее видеть и рождает ностальгию, способную отделить главное от второстепенного, поддерживающую живость воспоминаний. Родину любишь не по обязанности: как и любая другая любовь, это спонтанный зов сердца вроде того, что объединяет

возлюбленных, родителей и детей, или друзей.

Перу всегда во мне, потому что там я родился, вырос, сформировался, пережил тот опыт детства и юности, что определил мою личность, мое призвание, там я любил, ненавидел, радовался, страдал и мечтал. То, что происходит там, волнует, трогает или возмущает меня больше, чем все, что случается где-либо еще. Здесь нет моей воли, моего желания — это просто так и есть. Некоторые соотечественники обвиняли меня в предательстве, и я чуть не лишился гражданства, после того как в период последней диктатуры призвал демократические страны мира ввести дипломатические и экономические санкции против режима — за что я выступал в отношении любых диктатур любых мастей — Пиночета, Кастро, талибов в Афганистане, имамов в Иране, апартеида в ЮАР или армейских сатрапов в Бирме, которая теперь зовется Мьянмой. И я снова поступлю так же завтра, если — да не допустят этого судьба и перуанцы — моя страна снова станет жертвой переворота, который погубит нашу хрупкую демократию. Это был не поспешный, эмоциональный поступок обиженного человека, как полагали некоторые писаки, привыкшие мерить других собственной мелочной меркой. Я исходил из убежденности, что диктатура — это абсолютное зло для любой страны, источник жестокости и коррупции, что она наносит глубокие раны, которые очень долго не заживают, отравляет будущее нации, создает пагубные привычки, сохраняющиеся на целые поколения вперед и тормозящие возрождение демократии. Поэтому с диктаторскими режимами надо без колебаний вести борьбу всеми имеющимися у нас средствами, включая экономические санкции. Прискорбно, что правительства демократических государств, вместо того чтобы подать пример другим, встав плечом к плечу с теми, кто, как организация "Дамы в белом" на Кубе, венесуэльская оппозиция, Аун Сан Су Чжи или Лю Сяобо, смело противостоят диктатурам в своих странах, часто начинают расшаркиваться перед их мучителями. Эти мужественные люди, борясь за свою свободу, борются и за нашу.

Мой соотечественник Хосе Мария Аргедас назвал Перу страной "смешения всех кровей". Лучшего определения не найти. Мы именно таковы, и именно это живет внутри любого перуанца, хочет он того или нет: совокупность традиций, рас и верований, состоящая из четырех основных частей. Я с гордостью ощущаю себя наследником доиспанских культур из Наска и Паракаса, создавших ткани и одеяния из перьев, керамику мочика и инков, хранящуюся в лучших музеях мира, построивших Мачу-Пикчу, Чиму, Чан-Чан, Куэлап, Сипан, гробницы в Эль-Брухо, Эль-Моль и Ла-Луна, и испан-

цев, что вместе с седлами, шпагами и лошадьми принесли в Перу Грецию, Рим, иудео-христианскую традицию, Ренессанс, Сервантеса, Кеведо, Гонгору и чеканный язык Кастилии, смягченный Андами. А вместе с Испанией к нам пришла и Африка с ее силой, ее музыкой и ее кипучим воображением, еще больше обогатив многообразие Перу. Стоит копнуть чуть глубже, и мы поймем, что Перу, как "Алеф" Борхеса, — это весь мир в миниатюре. Какая потрясающая честь для страны — не иметь идентичности, потому что в ней слились все идентичности!

Конечно, завоевание Америки — как и любое завоевание — было жестоким и кровавым, и эта жестокость, несомненно, заслуживает критики. Но при этом мы часто забываем то, чего забывать не следует: люди, виновные в этих грабежах и преступлениях, — наши собственные прадеды и прапрадеды, испанцы, приплывшие в Америку и воспринявшие американский образ жизни, а не те их соотечественники, что остались на родине. Чтобы такая критика была справедливой, она должна быть самокритикой. Ведь двести лет назад, когда мы обрели независимость от Испании, те, кто пришел к власти в бывших колониях, не освободили индейцев, не исправили прежнюю несправедливость, а продолжали их эксплуатировать с такой же алчностью и свирепостью, как иноземные завоеватели, а в некоторых странах даже полностью или частично истребили коренное население. Скажем со всей прямотой: в течение двухсот лет освобождение индейцев было нашей и только нашей обязанностью, и мы ее не выполнили. Этот вопрос по-прежнему нерешен по всей Латинской Америке — стыд и позор для нас всех, без исключения.

Испанию я люблю не меньше, чем Перу, и мой долг ей столь же велик, как и моя благодарность. Если бы не Испания, я никогда не стоял бы на этой трибуне, никогда не стал бы известным литератором, и возможно, как многие мои менее везучие коллеги, оставался бы в той сумеречной зоне, где бродят писатели, которым не улыбнулась фортуна, которые не получают премии, чьи книги не издают и не читают и чей талант — слабое утешение! — возможно, когда-нибудь откроют для себя потомки. Все мои книги были изданы в Испании, там я получил отчасти незаслуженное признание, а друзья — Карлос Барраль, Кармен Бальсельс и многие, многие другие — заботились о том, чтобы мои истории нашли своих читателей. Кроме того, Испания дала мне второе гражданство в тот момент, когда я мог потерять первое. Я никогда не считал чем-то неестественным то, что я, перуанец, имею испанский паспорт, поскольку всегда рассматривал Испанию и Перу как две стороны одной монеты, и не только в отноше-

нии моей скромной персоны, но и в таких основополагающих вопросах, как история, язык и культура.

Из многих лет, что я прожил на испанской земле, мне ярче всего запомнились те пять, которые я провел в горячо любимой Барселоне в начале 70-х. Франкистская диктатура еще оставалась у власти, еще стреляла в людей, но к тому времени это была мумия в истлевших лохмотьях — она уже не могла, как раньше, контролировать общество, особенно в области культуры. В возведенной ею стене появлялись трещины и бреши, которые не в состоянии были залатать цензоры, и через них испанское общество впитывало новые идеи, книги, философские течения, художественные ценности и формы, прежде запрещенные как крамола. Ни один город не воспользовался этим началом либерализации больше и лучше, чем Барселона, и ни один не пережил такого идейного и творческого подъема. Барселона стала культурной столицей Испании: именно там надо было находиться, чтобы вдохнуть разлитое в воздухе ожидание свободы. В каком-то смысле она стала также культурной столицей Латинской Америки: многие художники, писатели, издатели и артисты из латиноамериканских стран либо обосновались в Барселоне, либо часто туда приезжали: именно там в наши времена надо было жить, если вы хотели быть писателем, поэтом, художником или композитором. Для меня это были незабываемые годы товарищества, дружбы, новых сюжетов, плодотворного труда. Подобно Парижу, Барселона была "Вавилонской башней", космополитичным, общечеловеческим городом, где жизнь и работа вдохновляли и где, впервые со времен Гражданской войны, сложилось братство испанских и латиноамериканских писателей, осознавших свою принадлежность к одной традиции, объединенных общим делом и уверенностью: конец диктатуры близится, и в демократической Испании культура будет играть главную роль.

Хотя не все ожидания полностью оправдались, переход Испании от диктатуры к демократии — один из образцовых для нашей эпохи примеров того, что, когда торжествуют здравый смысл и разум, а политические противники оставляют распри ради общего блага, результат может быть таким же чудесным, как на страницах романа в стиле "магического реализма". Путь Испании от авторитаризма к свободе, от отсталости к процветанию, от экономических контрастов и неравенства, свойственных "третьему миру", к "обществу среднего класса", ее интеграция в Европу и быстрое восприятие демократической культуры поразили весь мир и ускорили модернизацию страны. Для меня было крайне волнующе и поучительно наблюдать за всем этим вблизи, а по-

рой и изнутри. Я горячо надеюсь, что национализм — грозный недуг современного мира, да и самой Испании — не разрушит эту прекрасную сказку.

Я презираю национализм во всех его формах — провинциальную идеологию (скорее даже религию), близорукую и узколобую. Национализм сокращает интеллектуальные горизонты и таит в себе этнические и расовые предрассудки, ведь он провозглашает в качестве высшей ценности, нравственной и онтологической привилегии, такое совершенно случайное обстоятельство, как место рождения. Наряду с религией, национализм был причиной самых страшных кровопролитий в истории — таких как две мировые войны или нынешняя бойня на Ближнем Востоке. Именно национализм больше всего способствовал "балканизации" Латинской Америки, залитой кровью в бессмысленных битвах и спорах, растрачивающей астрономические средства на закупку оружия вместо строительства школ, библиотек и больниц.

Не следует смешивать зашоренный национализм и неприятие "чужаков", сеющее семена насилия, с патриотизмом — прекрасным благородным чувством любви к земле, где мы родились, где жили наши предки, где возникли наши первые мечты, к знакомому ландшафту природы, к любимым и событиям, превращающимся в указатели памяти и защиту от одиночества. Отечество — это не флаги, гимны и непререкаемые речи о безупречных героях, а горстка мест и людей, населяющих и окрашивающих меланхолией наши воспоминания, согревающих нас теплым ощущением того, что, где бы мы ни были, у нас всегда есть дом, куда можно вернуться.

Перу для меня — это Арекипа, где я родился, но никогда не жил, город, который я узнал из ностальгических воспоминаний матери, дедушки с бабушкой, тетушек, ведь весь мой семейный клан, как и положено настоящим арекипеньос, носил Белый город с собой в своих бесконечных скитаниях. Это Пьюра, город посреди пустыни с мескитовыми деревьями и многострадальными осликами, которых во времена моей молодости пьюранцы с грустноватым изяществом называли "вторые ноги", где я узнал, что детей не приносят аисты, а делают парочки, занимаясь ужасными вещами, которые церковь считает смертным грехом. Это школа Сан-Мигель и театр "Варьете", где я впервые увидел на сцене написанную мной коротенькую пьесу. Это угол улиц Диего Ферре и Колумба в районе Мирафлорес в Лиме — мы называли его "счастливым кварталом", — где я сменил короткие штаны на брюки, выкурил первую сигарету, научился танцевать, влюбляться и открывать сердце девушкам. Это пыльная, пульсирующая энергией редакция газеты "La Crónica", где в шестнадцать лет я впервые заступил на пост с оружием — профессией журна-

листа, которая, наряду с литературой, стала моим ремеслом на всю жизнь, и, вместе с книгами, позволила мне жить полнее, лучше узнать мир, встречаться с мужчинами и женщинами из всех стран и всех классов, прекрасными, хорошими, плохими и ужасными людьми. Это Военная академия имени Леонсио Прадо, где я узнал, что Перу — не маленькая "крепость" среднего класса, где я жил до сих пор в затворничестве и безопасности, а громадная, древняя, озлобленная страна, где царит неравенство, страна, сотрясаемая со всех сторон социальными бурями. Это подпольные ячейки организации "Кахиде", где мы — горстка студентов Университета Сан-Маркос — готовили мировую революцию. И еще Перу — это мои друзья по Движению за свободу, с которыми мы три года, среди терактов, отключений электричества и политических убийств, защищали демократию и культуру свободы.

Перу — это Патрисия, моя кузина со вздернутым носиком и неукротимым нравом, на которой мне посчастливилось жениться сорок пять лет назад: она до сих пор терпит мои мании, неврозы и вспышки раздражения, помогающие мне писать. Без нее моя жизнь уже давно распалась бы в яростном вихре, а Альваро, Гонсало, Моргана и шестеро внуков, продлевающие нашу жизнь и придающие ей радость, не появились бы на свет. Она делает все и все делает хорошо. Она решает проблемы, управляет хозяйством, наводит порядок среди хаоса, отгоняет журналистов и назойливых людей, защищает мое время, принимает решения о встречах и поездках, пакует и распаковывает чемоданы, она столь великодушна, что даже упреки превращает в величайший комплимент: "Марио, ты только писать и умеешь!"

Но вернемся к литературе. Райское детство для меня не книжный миф, а реальность, в которой я жил и которой наслаждался в большом семейном доме с тремя верандами в Кочабамбе, где вместе с двоюродными братьями и школьными друзьями я разыгрывал приключения Тарзана и героев Сальгари, и в префектуре Пьюра, где на чердаках гнездились летучие мыши — безмолвные тени, наполнявшие звездные ночи этой жаркой земли ощущением тайны. В те годы писательство было игрой, которой восхищалась моя семья, очаровательным занятием, дарившим мне аплодисменты, мне — внуку, племяннику, безотцовщине, ведь мой папа умер и отправился на небеса. Он был высоким красивым мужчиной в военно-морской форме, и его фото стояли у меня на ночном столике: перед сном я молился этим снимкам, а потом целовал их. Как-то утром в Пьюре — от этого я, кажется, до сих пор не оправился — мать призналась мне, что этот сеньор на самом деле жив. И в тот самый день мы должны были отправиться в Лиму жить вместе с ним. Мне

было одиннадцать, и с этого момента все изменилось. Я утратил невинность и познал одиночество, власть, взрослую жизнь, страх. Моим спасением были книги, хорошие книги, я укрывался в мирах, где жизнь была прекрасна, насыщенна, где одно приключение следовало за другим, где я снова обретал свободу и счастье. И еще я писал — втайне, словно предаваясь некоему неописуемому пороку, запретной страсти. Литература перестала быть игрой. Она превратилась в способ противостоять обстоятельствам, протест, бунт, избавление от нестерпимого, смысл жизни. С тех пор и по сей день всякий раз, когда я впадал в уныние и подавленность, оказывался на грани отчаяния, я окунался с головой в свой труд рассказчика, и он давал мне свет в конце тоннеля, становился той доской, на которой потерпевший кораблекрушение доплывает до берега.

Хотя это труднейшее дело, доводящее до кровавого пота, и заставляющее временами — как любого писателя — чувствовать себя на грани паралича, засухи воображения, ничто не давало мне такого наслаждения, как месяцы и годы кропотливого "строительства" истории с самых неопределенных истоков, с кладовой образов из прошлого, которые превращались в беспокойство, энтузиазм, грезы наяву и прорастали в проект, в решение попытаться сделать из взбаламученного облака фантомов связный рассказ. "Писательство — это образ жизни", — сказал Флобер. Да, именно образ жизни, жизни с иллюзиями, радостью, огнем, искрами, что рассыпаются у вас в голове, погоней за неуловимыми словами, которые нужно приручить, жизнь, в которой вы крадетесь по огромному миру, словно охотник за желанной добычей, чтобы насытить нарождающуюся мысль и укротить неутолимый аппетит каждой истории, которая, подрастая, желает пожрать все остальные. Когда еще только чувствуешь головокружение, вынашивая роман, и потом, когда он обретает форму и словно начинает жить своей жизнью: персонажи уже движутся, действуют, думают, чувствуют, требуют к себе уважения и внимания, и им больше невозможно навязывать поступки, или лишать их свободы воли, не убив их, не лишив историю убедительной силы, — эти ощущения и сегодня продолжают зачаровывать меня, как в первый раз. Они настолько ярки и ошеломляющи, словно ты занимаешься любовью с прекрасной женщиной днями, неделями, месяцами напролет.

Говоря о литературе, я уделил очень много внимания роману и очень мало — драматургии, еще одной из ее главных форм. Это, конечно, крайне несправедливо. Драма — моя первая любовь, с тех самых пор, когда в юности я увидел в Театре Сегуры в Лиме "Смерть коммивояжера" Артура Миллера, спектакль, переполнивший меня эмоциями, после которо-

го я лихорадочно начал писать пьесу об инках. Если бы в Лиме 50-х было театральное движение, я стал бы драматургом, а не романистом. Но его не было, и это все больше подталкивало меня к повествовательным формам. Тем не менее моя любовь к театру не угасла: она дремала, свернувшись калачиком в тени романов, напоминая о себе соблазном и ностальгией всякий раз, когда я видел потрясший меня спектакль. В конце 70-х не дававшая мне покоя память о столетней двоюродной бабке Мамаэ, в последние годы жизни прервавшей любую связь с окружающей реальностью, чтобы найти убежище в воспоминаниях и фантазиях, подтолкнула меня к тому, чтобы написать эту историю. И я сразу же почувствовал, что это должна быть история для театра, что только на сцене можно будет передать яркость и блеск чередующихся грез. Я писал эту пьесу с робким волнением новичка и испытал такое наслаждение, увидев ее на сцене с Нормой Алеандро в главной роли, что с тех пор несколько раз возвращался к этому жанру в перерывах между романами и рассказами. Следует также добавить: я никогда не думал, что в семьдесят лет сам поднимусь (спотыкаясь, конечно) на сцену в качестве актера. Эта безумная авантюра позволила мне впервые на собственной шкуре испытать то чудо, которым становится для всю жизнь писавшего выдуманные истории человека возможность воплотить на несколько часов выдуманный персонаж, пожить выдуманной жизнью перед зрителями. Я никогда не смогу сполна выразить благодарность моим друзьям — режиссеру Хуану Олле и актрисе Айтане Санчес-Гихон — за то, что они убедили меня разделить с ними эти фантастические впечатления (несмотря на панический страх, который я при этом испытал).

Литература — это ложное изображение жизни, но, тем не менее, она помогает нам лучше понять жизнь, ориентироваться в лабиринте, в котором мы рождаемся, бродим и умираем. Она помогает преодолеть те неудачи и огорчения, что приносит нам реальность, благодаря литературе мы можем хотя бы частично расшифровать тайнопись, которой представляется наше существование подавляющему большинству людей, — прежде всего тем, кто испытывает сомнения чаще, чем уверенность, и признает, что такие вещи, как трансцедентность, личное и коллективное предназначение, душа, смысл или бессмысленность истории, шараханье рационального знания из стороны в сторону, ставят нас в тупик.

Меня всегда завораживала мысль о том состоянии неопределенности, в котором наши предки — еще мало отличавшиеся от животных, ведь язык, позволяющий им общаться друг с другом, только-только появился — в пещерах, у костров, по ночам, дыша-

щим угрозой в виде молний, раскатов грома, рычания животных, начали придумывать и рассказывать истории. Это был решающий момент в нашей судьбе, поскольку с этих первобытных существ, собиравшихся в кружки, зачарованных голосом и фантазией сказителя, началась цивилизация — долгий путь, который постепенно превратил в людей и привел к идее самостоятельности личности, а затем оторвал индивида от племени, породил науку, искусство, закон, свободу, побудил нас добраться до самых глубин в исследовании природы, человеческого тела, космоса, полететь к звездам. Эти сказки, басни, мифы, легенды, впервые прозвучавшие словно новая музыка перед слушателями, напуганными загадками и угрозами мира, где все было неизведанно и опасно, должно быть, подействовали как прохладная вода, как тихий водоем на души тех, кто всегда был настороже, для кого существование состояло из еды, поисков укрытия от стихии, убийства и совокупления. С того времени, как они, вдохновленные сказителями, начали коллективно мечтать и делиться своими мечтами, они уже не были привязаны к "беличьему колесу" простого выживания, вырвались из водоворота отупляющих забот. Их жизнь стала мечтой, удовольствием, фантазией и революционным преодолением рамок, изменением, совершенствованием, борьбой за удовлетворение желаний и амбиций, пробуждавших в них воображаемую жизнь и любознательность, стремление разгадать окружавшие их загадки.

Этот непрерывный процесс обогатило появление письменности, когда рассказы стало возможным не только услышать, но и прочесть — они превратились в литературу, а значит, обрели вечность. Поэтому необходимо повторять вновь и вновь, пока новые поколения этого не усвоят: литература — больше, чем развлечение, больше, чем упражнение для ума, обостряющее восприимчивость и пробуждающее критический дух. Она абсолютно необходима для самого существования цивилизации, она обновляет и сохраняет в нас лучшие черты человека. Необходима для того, чтобы мы вновь не окунулись в дикость изоляции, и жизнь не свелась к прагматизму специалистов, способных проникнуть вглубь вещей, но оставляющих без внимания то, что окружает эти вещи, предшествует им и продолжает их. Чтобы мы, изобретающие машины, которые должны нам служить, не превратились сами в слуг и рабов машин. Она необходима потому, что мир без литературы был бы миром без стремлений, идеалов и непослушания, миром автоматов, лишенных того, что делает человека человеком — способности поставить себя на место другого, других, вылепленной из глины наших мечтаний.

От пещеры к небоскребу, от дубины к оружию массового поражения, от монотонности племенной жизни к эпохе глобализации литература — плод воображения — преумножала человеческий опыт, не позволяя нам поддаться летаргии, обреченности, уйти в себя. Ничто так не сеяло неуспокоенность, не будоражило наше воображение и желания, как "лживая" жизнь, которую мы, благодаря литературе, прибавляем к той, что у нас есть, и можем стать героями невероятных приключений, великих страстей, которые никогда не даст нам реальность. Литература — ложь, но она становится правдой в нас, читателях, преобразованных, зараженных стремлениями и благодаря воображению постоянно подвергающих сомнению серую реальность. Литература превращается в колдовство, когда дает нам надежду получить то, чего у нас нет, стать тем, кем мы не являемся, вести то невозможное существование, в котором мы, как языческие боги, чувствуем себя смертными и бессмертными одновременно, когда закладывает в нас дух нонконформизма и бунта, лежащий в основе всех подвигов, способствовавших снижению насилия в отношениях между людьми. Снижению, но не полному устранению, потому что наша история, к счастью, всегда будет оставаться неоконченной. Поэтому нам надо продолжать мечтать, читать и писать — ведь это самый эффективный из найденных нами способов облегчить наше смертное существование, победить коррозию времени и сделать невозможное возможным.

*Стокгольм, 7 декабря 2010 года*

# Александр Мелихов
# *Евросталинизм*

Эссе

В петербургском БДТ имени Товстоногова шиллеровский "Дон Карлос" идет с успехом прочным, но неоглушительным, поскольку оглушительной бывает только пошлость. А театр платить эту дань не желает, тем более что и мир Шиллера с самого начала задумывался как мир высоких страстей, противостоящий миру суеты. В этом мироздании даже канонический злодей Филипп Второй, которого гениально играет Валерий Ивченко, предстает бесконечно одиноким, тоскующим по элементарной человечности трагическим рабом своей католической химеры, убежденным, что доверчивость и милосердие губительны для властителя, ведущего Большую Игру в клубе (в клубке) великих держав. Такова природа трагедии — любой серьезный конфликт изображать как столкновение двух правд, а не как столкновение добра и зла.

Зато народный эпос, не менее величественно воссозданный Шарлем де Костером в "Легенде об Уленшпигеле", изображает Филиппа мерзким садистом, истязающим людей без всякой идеологии, из бескорыстной любви к истязаниям: еще ребенком, хилым уродцем, он сжигает невинную обезьянку, а взрослым правителем заставляет кошек "играть" на клавесине, прижигая им хвосты. Для эпического сознания усмотреть в личности врага какие-то человеческие черты означает искать ему оправдания, изменить своему народу.

Вот два главных метода исторической памяти — либо возвышать всех, либо предельно поляризовать друзей и врагов — в друзьях ни пылинки зла, во врагах ни искорки добра.

Наше интеллигентское сознание эпично. В наиболее чистом своем воплощении оно воображает Сталина бескорыстным садистом, творящим зло исключительно из ненависти к красоте и добру. В более же идеологизированной (например, солженицынской) версии Сталин — приглуповатый раб коммунистической химеры ("Учения"), стремящийся подчинить ей все страны и язы́ки без всякой выгоды для собственного государства. На этом отечественном фоне особенно интерес-

© Александр Мелихов, 2011

но рассмотреть, каким виделся вождь мирового пролетариата его выдающемуся младшему современнику – Джорджу Оруэллу, мечтавшему послужить этому самому пролетариату, хотя бы и ценой жизни, в Испании, сражаясь в рядах наиболее последовательной компартии POUM (Partido Obrero de Unificacion Marxista – Объединенная марксистская рабочая партия). У Оруэлла не было причин ненавидеть Сталина за уничтожение и притеснение наших кумиров, он наверняка не слышал имен Вавилова, Мандельштама, Платонова; ни он сам, ни его близкие никоим образом не участвовали в борьбе за власть в Стране Советов и нисколько не пострадали от сталинских репрессий – Оруэлла волнует отнюдь не судьба советской интеллигенции, более всего волновавшая ее самое и ее наследников, но именно, без дураков, борьба за освобождение рабочего класса. То есть он судит Сталина именно как преданный служитель коммунистической химеры.

И его возмущало прежде всего то, что Сталин этой химере *изменил*: "Коммунистическое движение в Западной Европе началось как движение за насильственное свержение капитализма, но всего за несколько лет оно выродилось в инструмент внешней политики России". Политики вполне традиционной – поиска сильных союзников, способных дать отпор потенциальному агрессору, при очень слабой озабоченности их идеологической окраской. Иными словами, по мнению Оруэлла, договоры с капиталистическими державами во имя единого антифашистского фронта сделались для Сталина важнее международного рабочего движения – он предал коммунистическую грезу во имя государственных интересов Советской России. Оруэлл использует даже страшное клеймо из коммунистического словаря – оппортунист!

Мало того, сталинские ставленники из Коминтерна ради умиротворения своих капиталистических союзников были готовы расправиться (и расправлялись – Оруэлл сам едва унес ноги) с теми, кто оставался верен делу рабочего класса! Тем не менее как истинный интеллектуал Оруэлл сильнее ненавидит даже не тех, кто расправлялся, находясь на передовой исторической борьбы, а тех, кто оправдывал измены и расправы, сидя в безопасной Англии, – "людей, духовно раболепствующих перед Россией и не имеющих других целей, кроме манипулирования британской внешней политикой в русских интересах". Он называл их рекламными агентами России, солидаризирующимися с русской бюрократией, готовыми во вторник считать гнусной ложью то, что еще в понедельник было безоговорочной истиной.

"Пришел к власти и стал вооружаться Гитлер; в России стали успешно выполняться пятилетние планы, и она

вновь заняла место великой военной державы. Поскольку главными мишенями Гитлера явно были Великобритания, Франция и СССР, названным странам пришлось пойти на непростое сближение. Это означало, что английскому и французскому коммунисту надлежало превратиться в добропорядочного патриота и империалиста, то есть защищать все то, против чего он боролся последние пятнадцать лет. Лозунги Коминтерна из красных внезапно стали розовыми. 'Мировая революция' и 'социал-фашизм' уступили место 'защите демократии' и 'борьбе с гитлеризмом'". Однако самым поучительным во всех этих метаморфозах для Оруэлла было то, что именно в антифашистский период молодые английские писатели потянулись не к демократическому, но к коммунистическому антифашизму.

И причины этого были, как всегда, не материальные, но психологические, экзистенциальные — желание слиться с чем-то могущественным, долговечным и несомненным. "Вот оно, все сразу — и церковь, и армия, и ортодоксия, и дисциплина. Вот она, Отчизна, а — года с 35-го — еще и Вождь. Вся преданность, все предубеждения, от которых интеллект как будто отрекся, смогли занять прежнее место, лишь чуточку изменив облик. Патриотизм, религия, империя, боевая слава — все в одном слове: Россия. Отец, властелин, вождь, герой, спаситель — все в одном слове: Сталин. Бог — Сталин, Дьявол — Гитлер, Рай — Москва, Ад — Берлин. Никаких оттенков. 'Коммунизм' английского интеллектуала вполне объясним. Это патриотическое чувство личности, лишенной корней".

Упиваясь обретением этих корней, ученики начинают воспевать убийства, возносясь даже выше своих учителей. "Мы добровольно повышаем шансы смерти, / Принимаем вину в неизбежных убийствах" — об этих строках Одена из поэмы "Испания" Оруэлл отзывается следующим образом: "Так мог написать только человек, для которого убийство — фигура речи, и не более. Лично я не мог бы бросаться такими словами с легкостью. Мне довелось во множестве повидать убитых — не погибших в бою, а именно жертв убийства. И у меня есть кое-какое представление о том, что означает убийство — это ужас, ненависть, рыдания родственников, вскрытие, кровь, зловоние. Для меня убийство — нечто такое, что допускать нельзя. Как и для любого нормального человека. Гитлеры и сталины считают убийство необходимостью, но и они не похваляются своей задубелостью, не говорят впрямую, что готовы убивать: появляются 'ликвидация', 'устранение' и прочие успокоительные эвфемизмы. Аморальность, демонстрируемая Оденом, возможна лишь при том условии, что в момент, когда спускается курок, такой аморалист находится в другом месте".

Намек достаточно прозрачен? Сталинизм заполняет пустоты, выжженные индивидуалистическим либерализмом, замыкающим человека в его личной шкуре. Те, кто ощущает себя частью чего-то бессмертного — народа, науки, искусства, церкви или даже семейного клана, — в подобных суррогатах вечности не нуждаются. "Для душевной потребности в патриотизме и воинских доблестях, сколько бы ни презирали их зайцы из левых, никакой замены еще не придумано", — так вот умел выражаться главный обличитель тоталитаризма!

Однако лично я склонен думать, что патриотизм и воинские доблести были только служебными средствами более глубинной потребности — потребности ощущать себя большим и сильным, прокладывать новые пути в Истории, а для этого нужно было идентифицироваться с могучим игроком — пока Советская Россия оставалась слабой, никакого "советского патриотизма" в рядах британской интеллигенции не наблюдалось: "История русской революции от смерти Ленина до голода на Украине абсолютно не затронула английское сознание. Все эти годы Россия означала только одно: Толстой, Достоевский и бывшие графы за рулем таксомоторов".

Знали бы левые интеллектуалы, что ненавистная им буржуазия тоже способствовала темпам советской индустриализации, торопила Сталина побыстрее купить то оружие, которым он намеревался с нею сразиться. Когда, встревоженный нарастающим голодом, в 1931 году отец народов попросил у своих западных партнеров дозволения убавить масштабы советского экспорта, ему было отказано в очень строгой форме.

Так, например, британский торговый советник передал, что невыполнение принятых обязательств приведет к отказу в дальнейших кредитах, а будущие экспортные поставки и даже советская собственность за границей вплоть до оказавшихся там судов могут быть конфискованы для покрытия долгов. В том же духе в начале 1932 года высказался немецкий канцлер Брюнинг: или платите — или более никаких кредитов.

В Большой Игре скидок не делают. Если даже впоследствии придется расплачиваться самим.

Меры строгости тоже подталкивали Сталина к сталинизму...

# Исайя Берлин
# *Шостакович в Оксфорде*

## Письмо к Роланду Бэрдон-Мюллеру

*Перевод с английского* Е. и С. Шабуцких

28 июня 1958
Дорогой Роланд!

Вот, наконец, благополучно завершился визит Пуленка[1] и Шостаковича. Боже правый, какая была суматоха! Сначала вышел скандал с Британским советом, который подготовился к торжественной встрече Ш. со всем возможным тщанием. Предполагалось, что в понедельник состоится музыкальный вечер, во вторник развлекать Ш. будем мы, а в среду ему, Макмиллану и Гейтскеллу[2] объявят о присуждении им степени доктора гонорис кауза[3].

Оказалось, однако, что советское посольство находится с Британским советом в состоянии необъявленной войны, и потому Ш. запретили ехать на вечер в его честь. Вечер все же состоялся, но без Ш. Страсти кипели вовсю, гости возмущались, негодовали, слали гневные телеграммы, пролили немало слез. Наконец, во вторник, Ш. материализовался перед моим домом, и весьма забавным образом.

Сначала ко мне в гостиную вошел подтянутый и очень напряженный молодой человек — сотрудник советского посольства. Он произнес: "Позвольте представиться. Моя фамилия Логинов[1]. Композитор Д. Д. Шостакович находится в машине на улице. Нам сказали, что вы ожидаете его в четыре часа. Сейчас три часа. Желаете, чтобы он подождал в машине или как?" Мы ответили, что ждали его к трем и что вполне готовы принять его прямо сейчас. К крыльцу торжественно подъехала машина, из нее выскочил еще один молодой человек, а следом появился и сам композитор, маленький, застенчивый, похожий на канадского фармацевта (из западных шта-

© Isaiah Berlin. Letters, 2009
© Е. и С. Шабуцкие. Перевод, 2011

1 Франсис Жан Марсель Пуленк (1899–1963) – французский композитор, пианист, музыкальный критик. (*Здесь и далее – прим. переводчиков.*)

2. Гарольд Макмиллан (1894–1986) – премьер-министр Великобритании (1957–1963). Хью Тодд Нейлор Гейтскелл (1906–1963) – британский политик, лейборист.

3. В июне 1958 года Шостаковичу в Оксфорде было присвоено звание почетного доктора музыки.

1. Юрий Логинов – третий секретарь посольства СССР в Лондоне.

тов, разумеется). Он страшно нервничал, глаз у него дергался почти постоянно. В жизни я не видел человека более забитого и испуганного. Ш. отрекомендовал молодых людей как "своих друзей, весьма дорогих друзей". Вскоре, впрочем, когда эта парочка удалилась, Ш. перестал их так называть, а говорил лишь "дипломаты". Всякий раз при их упоминании на лице его появлялась смутная тревога, точь-в-точь как бывает у Алины[1]. В последний день, утром, ожидая приезда "советских дипломатов", Ш. пребывал в панике и совершеннейшем отчаянии. Я повернулся к Алине, которая тоже изрядно намучилась за время визита композитора, и сказал по-английски (Ш. английского не понимает), что выражение лица у них абсолютно одинаковое. Ну да ладно. Перед нами стояла нелегкая задача — оставить Ш. ужинать у нас, а после поехать на музыкальный вечер в дом Тревора-Ропера[2]. Вечер устраивали в честь Ш. и Пуленка. Необходимо было избавиться от "советских дипломатов", поскольку под их ледяными взглядами мы все покрылись бы инеем, и вечер был бы испорчен. В конце концов, я заявил, что в университете есть набор нерушимых правил, в полном соответствии с которыми через полчаса явится представитель университетской администрации и отвезет их на ужин в Нью-колледж, после чего им разрешат посмотреть спектакль (в постановке Дэвида Прайс-Джонса[1]). Ш. же должен отправиться на другую встречу. "Дипломаты" приняли это известие спокойно. Они переглянулись, спрашивая друг у друга разрешения, и смиренно кивнули. Вскоре прибыл заблаговременно вызванный представитель университетской администрации (какой-то бедолага, которому выпала нелегкая доля присматривать за "дипломатами", покуда Ш. был с нами).

Он сразу повеселел. Надо сказать, что за все время пребывания у нас Ш. имел вид человека, который бóльшую часть жизни провел в мрачных застенках под надзором тюремщиков. Как только речь заходила о событиях хоть сколько-нибудь современных, все та же болезненная гримаса искажала его черты, на лице появлялось затравленное выражение, и он испуганно замолкал. На окружающих это производило впечатление самое тягостное. Все поневоле начинали жалеть его и восхищаться им еще больше. Вскоре появились остальные гости — Пуленк, Сесиль, Сэсилы, Джимми Смит[2], Тревор-Ропе-

1. Алина Элизабет Ивонн де Гинзбург (Берлин) — жена Исайи Берлина.
2. Хью Тревор-Ропер (1914—2003) — британский историк.

1. Дэвид Прайс-Джонс (р. 1936) — британский писатель и журналист, член Королевского литературного общества.
2. Джеймс Фредерик Артур "Джимми" Смит (1906—1980) — директор Британской Королевской оперы.

ры и пр. Пуленк, общаясь с Ш., был просто очарователен, и тот явно оттаял, поддавшись обаянию собеседника. Мы сели ужинать, а после отправились к Тревор-Роперам. Ш. немедленно устроился в углу и свернулся клубочком, точно ежик. Временами, когда я позволял себе слишком уж едкие замечания, он печально улыбался. Перед нами выступил молодой красавец-виолончелист с Цейлона. Он сыграл сонату Ш. для виолончели. Композитор слушал вполне спокойно, а потом сказал мне, что виолончелист играет хорошо, а пианист отвратительно (чистая правда). Ш. обратился к виолончелисту и указал ему на две ошибки.

Юноша покраснел и предъявил ноты. Ш. взглянул и убедился, что в нотах все так, как сыграл виолончелист. Некоторое время композитор силился понять, как такое вышло, и неожиданно выяснилось, что рукопись редактировал Пятигорский[1], который, разумеется, исправил все так, как ему нравилось. Вот тут Ш., можно сказать, рассердился по-настоящему. Он вынул карандаш и яростно зачеркнул выдумки Пятигорского, восстановив тем самым оригинальную версию. После чего взгляд его посветлел, и он вернулся в свой угол. Затем с песнями Пуленка выступала мисс Маргарет Ричи[1]. Выглядела она нелепо и смешно из-за английской, даже викторианской, манеры исполнения. Шостаковича слегка передернуло, но Пуленк, всегда безукоризненно вежливый и внимательный, поздравил Маргарет с удачным выступлением. А за ее спиной строил рожи. Чтобы никого не обижать, исполнили и часть пуленковской сонаты для виолончели. В наступившей тишине я сказал Ш., что все были бы рады, если бы он согласился сыграть для нас. Ш. молча поднялся и пошел к фортепиано. Он сыграл прелюдию и фугу, у него, как и у Баха, их 24. Сыграл так блестяще, с такой глубиной и страстью, да и сами произведения были столь восхитительны, столь серьезны, оригинальны и незабываемы, что опусы Пуленка показались сущей ерундой, не стоящей внимания. Пуленк тоже сыграл отрывок из "Ланей"[2] и еще что-то, но слушать его после Ш. было невозможно. Наконец-то стало совершенно ясно, как деградировал Запад. Во время игры с Ш. произошла удивительная перемена. На его лице не осталось ни страха, ни робости, а была лишь потрясающая целеустремленность и подлинное вдохнове-

1. Григорий Павлович Пятигорский (1903–1976) – американский виолончелист русского происхождения.

1. Маргарет Ричи (сценическое имя Мейбл Виллард Ричи; 1902–1969) – британская оперная певица, сопрано.
2. "Les Biches" – балет Пуленка, написанный в 1924 г. и позже переделанный в сюиту.

ние. Наверное, такие лица были у композиторов XIX века, когда они исполняли свои произведения. Теперь же, в XX веке, на Западе такого не увидишь.

Ш. доиграл, и к нему сразу же подошли те, кто желал быть ему представленным. Ведущему скрипачу Филадельфийского оркестра Ш. показал, как играть вторую и третью части его концерта. Рассказал Десмонду Шо-Тейлору[1] о своих творческих планах. Раздавал автографы, ел и пил. К Пуленку тоже подходили, но он, конечно, чувствовал себя заброшенным, все равно что Кокто в присутствии Пикассо. Все гости понимали, какой удивительный сегодня вечер, все были тронуты сопричастностью к великому, хотя Ш. не говорил по-английски совершенно. Волнение охватило всех (о чем многие из присутствовавших позже так или иначе писали и говорили), кроме, пожалуй, уж самых толстокожих, вроде редактора из "Санди таймс" мистера Ходсона, неизвестно зачем приглашенного Роперами. Боже, какой был вечер, какая встреча!

По возвращении Ш. говорил мало. Посетовал, что у нас нет фортепиано, мы побеседовали о его музыкальных пристрастиях, и он отправился спать, как мне показалось, почти счастливым. А тем временем его стражи посетили выпускной вечер и бал в одном из колледжей и прекрасно провели время, обмениваясь любезностями и колкостями со студентами и профессорами. Похоже, нашим "дипломатам" все понравилось.

Они оказались очень приятными людьми. Может, руки у них и были по локоть в крови венгров, но души остались невинными, как у дремучих русских мужиков. Разумеется, они без колебаний застрелили бы любого, будь у них на то приказ сверху, однако в обаянии им было отказать невозможно.

На следующее утро у Ш. снова начался нервный тик. Бедняга прошел через все ужасы, сопутствующие присвоению степени почетного доктора. При этом он страшно стеснялся нахлынувшей на него русскоговорящей толпы на торжественном обеде в колледже Олл-Соулз[1]. Ш. старался держаться поближе ко мне. Я был утвержден советским посольством как официальный представитель администрации Университета, и эта моя близость к властям его успокаивала. Ш. задавали чудовищные вопросы, вроде "Что случилось с вашими второй, третьей и четвертой симфониями?" (Эти прекрасные работы были запрещены режимом.) Ш. неловко объяс-

1. Десмонд Кристофер Шо-Тейлор (1907–1995) – британский музыкальный критик.

1. All Souls College – один из старейших научно-исследовательских колледжей в Оксфорде, основан в 1438 г.

нял, что симфонии не пользовались большим успехом. В некотором смысле то была правда, однако композитор очень страдал, произнося эти слова. Потом произошел совершенно абсурдный инцидент. Лорд Бевериджа[1], восьмидесяти четырех лет от роду, решил подарить Ш. цветы. Букетик был слишком велик для того, чтобы вставить его в петлицу, и слишком мал, для того чтобы держать его в руках. Цветы эти лорд Беверидж передал Ш. по просьбе малоизвестного композитора из Уэльса прямо посреди торжественного приема. Несчастный Ш. встал и начал запинаться. Выживший из ума Беверидж тоже запинался, их с трудом развели по разным углам. Разумеется, присутствовавшим тут белорусам очень хотелось побеседовать с Ш., и ему стоило невероятных усилий сбежать от них. Наконец, мы отвезли его домой, переодели в парадный костюм и отправили на ужин в Крайст-Черч[2], где ему, премьер-министру, Гейтскеллу и пр. должны были объявить о присвоении им почетной степени. Вернулся он ни жив ни мертв, но на следующее утро поднялся рано и подарил нам ноты трех своих произведений, снабдив их соответствующими надписями. И даже рассказал кое-что о своей жене и детях.

В десять утра за ним должны были приехать его стражники, однако они опоздали. Ш. ударился в панику и трижды заставлял меня звонить в гостиницу "Митра". Он заламывал руки и спрашивал, что же будет, если он не появится в посольстве вовремя. Как ему объяснить опоздание?! Может, стражники его покинули или произошла какая-нибудь ошибка, в которой теперь непременно обвинят его. В общем, волновался он ужасно. Стражники его все же явились, объяснив, что задержались, выбирая путеводители по графству Оксфорд в книжном магазине, и отбыли вместе с Ш. Назавтра я был приглашен в советское посольство на ужин, однако ехать отказался. Ш. и так уже достаточно времени провел в моем доме и узнал меня достаточно, чтобы понимать, насколько хорошо я осознаю его положение. Поэтому я предложил ему провести время с пользой: познакомиться с английскими композиторами и пр. и пр. С музыкантами и композиторами Ш. должен был встретиться в Лондоне и общаться через переводчика. Я посчитал, что ему будет легче это делать в отсутствие человека, понимающего подтекст его ответов. Итак, из деликатности, вполне, согласитесь, в данном случае уместной, я отказался, и мы расстались.

Визит Ш. заставил меня задуматься над тем, каково это — жить в искусственно созданной атмосфере XIX века.

1. Уильям Генри Беверидж (1879–1963) — директор Лондонской школы экономики.
2. Christ Church College — один из самых больших и престижных колледжей Оксфордского университета. Основан в 1525 г.

Именно так и поступает Ш. И еще о том, каким удивительным образом влияют цензура и тюремный режим на гениальный ум. Они его ограничивают, но они же делают его глубже.

Тут я должен прерваться, поскольку мне нужно идти на обед с Питером и его одноклассниками. Они уже собрались за столом и ждут меня. Скажу напоследок, что навсегда запомню выражение лица Ш. Ужасно видеть, как гений становится жертвой режима, как он раздавлен, как спокойно принимает свою судьбу, считая ее совершенно обычной, как напуган и боится до такой степени, что готов жить чужой, несвойственной ему жизнью, как протест, чувство собственного достоинства и всякое сопротивление извлекаются из его души, точно пчелиное жало. Как он уверен в том, что несчастье — это счастье, а пытка — повседневная жизнь.

Всегда Ваш.

С любовью,
*Исайя.*

Арлен Блюм

# *Псевдопереводы на русский как литературный и политический прием*



## 1

В старом добром "Энциклопедическом словаре" Брокгауза и Ефрона псевдоперевод характеризуется как "...вид подражания иностранному образцу, которое автор выдает за перевод". Такое определение не совсем точно, поскольку в большинстве случаев никакого "образца" и не было, а несуществующее в реальности произведение выдавалось за существующее. Иногда же полностью выдумывался и зарубежный автор — вместе с его вымышленной "биографией" и корпусом принадлежащих ему текстов.

В мировой литературной практике такие мистификации, приобретая изощренные формы, существуют издавна; в российской же словесности первые образцы встречаются начиная с XVIII века. Типологически псевдопереводы распадаются на ряд разновидностей. Во-первых, они входят в состав литературной игры, ближе всего стоящей к жанру пародий и стилизаций. Как известно, к ней охотно и часто прибегали создатели Козьмы Пруткова, любившие снабжать свои оригинальные произведения подзаголовками: *с латинского, с испанского, из Гейне* и т. п. В отличие от других разновидностей псевдоперевода, факт мистификации не только не скрывался, но и всячески подчеркивался: здесь мы сталкиваемся с тем, что, с легкой руки В. Б. Шкловского, а за ним "формалистов" 20-х годов прошлого века, получило название "обнажения приема". Во "всамделишность" таких текстов могли поверить совсем уж простодушные читатели, склонные безоглядно доверять каждому напечатанному слову; впрочем, и таких во все времена было немало (в нынешнее время они, видимо, перешли в стан телезрителей). Пушкин в незаконченной статье "Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений" отметил эту особенность массового читательского сознания: "Я заметил, что самое неосновательное суждение, глупое ругательство получает вес от волшебного влияния типографии. Нам все еще *печатный лист кажется святым* [курсив Пушкина. — *А. Б.*]. Мы всё думаем: как может это быть глу-

© Арлен Блюм, 2011

по или несправедливо? Ведь это напечатано!"[1].

Другая разновидность псевдопереводов использовалась уже в чисто спекулятивных, коммерческих целях — для большего "расходу" тиража книги. В российских условиях такие подделки появляются в начале XIX века — в пору увлечения готическими "романами ужасов" английской писательницы Анны Радклиф (1764–1823) и чувствительными романами француженки Фелисите Жанлис (1746–1830). Помимо многочисленных переводов с подлинных текстов, появляются тогда и доморощенные романы с подзаголовками вроде: сочинение славной госпожи Радклиф (или Жанлис). Издатели шли и на другие уловки. Так, например, автору этих строк в свое время удалось установить литературный источник рассказа И. А. Бунина "Грамматика любви". Им оказалась миниатюрная книжечка, изданная в Москве под таким же названием в 1831 году с указанием на титульном листе, что сочинена она *г. Мольером* (!). На самом же деле, как выяснилось, автором книги, вышедшей на языке оригинала под названием "Code de l'amour" (Paris, 1829), был драматург и прозаик Ипполит Жюль Демольер (Hippolit Jules Demolière). Скорее всего, мы столкнулись с лукавой проделкой русского книгоиздателя, который, отбросив первый слог фамилии автора, как якобы "дворянскую приставку" "де", выдал "Грамматику любви" за книгу великого француза, хорошо известного русской читающей и театральной публике.

В первое десятилетие XX века началось увлечение в России детективными рассказами А. Конан-Дойла о Шерлоке Холмсе, позднее — копеечными книжонками, выходившими анонимно в сериях "Нат Пинкертон, король сыщиков", "Ник Картер, величайший сыщик" и др. Частично они имели англоязычную версию, но большей частью создавались отечественными авторами[2].

Позднее, уже в 20-е годы, появились романы о "коммунистических Пинкертонах", а некоторые писатели-"попутчики" ради хоть какого-нибудь заработка стали активно выпускать романы, написанные в манере самых популярных тогдашних западных писателей: Эптона Синклера, Пьера Бенуа и других, выдавая их за перевод "с иностранного". Некоторые мистификации имели вовсе не коммерческий, а чисто игровой характер. Юрий Слёзкин (1885–1947), выступая под псевдонимом Жорж Деларм (то есть французской формой своих имени и фамилии) — издает якобы французские романы ("Дважды два — пять", 1925, и другие), снабжая их предисловиями вымышленного автора[3].

В начале 30-х годов в печати появился некий Джемс Аркрайт, поверивший в социализм американец и натурализовавшийся в Стране Советов;

публиковалась его фотография (как выяснилось, взятая из дореволюционной "Нивы"). Он печатал свои очерки и стихи в журналах того времени, в 1933-м появилась даже книжка "Тетрадь Аркрайта", изданная в Ленинграде. На самом деле, автора вместе с его творчеством и портретом придумал ленинградский писатель Геннадий Фиш и сочинил за него все опубликованные произведения[4].

Наконец, на исходе прошлого — начале уже нынешнего века, в пору расцвета весьма своеобразной "рыночной экономики" в сфере книжного бизнеса, стали появляться псевдопереводы (большей частью детективы, романы-фэнтэзи и женские романы), спекулирующие на массовом интересе читателей к зарубежной, преимущественно англоязычной литературе этих жанров. Фабрикацией изделий такого рода успешно занимаются литературные поденщики, скрывающие естественно свои имена. В моду вошли романы-продолжения книг известных западных авторов, о чем авторы эти и не подозревали. Судя по разысканиям сотрудников Российской национальной библиотеки, массовым тиражом была издана, например, целая серия эротических книг под названием "Роксана Гедеон и Г. де Растиньяк", якобы переведенных с французского; был придуман некий не существовавший в природе Б. Хилпатрик, "сочинявший" тексты под названием "Молчание ягнят" — то есть эксплуатируя название сверхпопулярного фильма.

В первой половине 90-х вышла целая серия книг от имени вымышленных зарубежных писателей (немца Якоба Ланга, француженки Жанны Бернар, русской эмигрантки Ирины Горской и т. д.), сопровождаемая их "биографиями". Указав свое имя в качестве переводчицы, Фаина Гримберг опубликовала также в "Дружбе народов" (1994, № 9) роман "Я целую тебя в губы" от имени болгарской писательницы Софии Григоровой-Алиевой. Введенные в заблуждение редакторы вынуждены были оправдываться, признав публикацию "фактом типичной литературной мистификации, ничем не порочащей роман, который, надеемся, будет прочитан с интересом" (Лит. газета, 8 марта 1995)[5].

В советские времена существовал еще один тип псевдоперевода, не имеющий, кажется, аналогов в мировой литературной практике. Речь идет о явлении, которое Евгений Витковский назвал "джамбулизацией всей страны", а Семен Липкин (надо сказать, сам принимавший в этом участие) — "переводом нового типа". Для демонстрации "небывалой дружбы народов" велено было в кратчайший срок создать литературу даже для "младописьменных" народностей, насчитывающих порой несколько сот человек, из которых грамотными были только единицы. На этой

ниве трудились (и неплохо кормились) десятки поэтов, создававших порой целые "народные эпосы". Процесс создания часто проходил так: вначале создавался "перевод" на русский язык — естественно идеологически выдержанный — о "батыре Сталине" и новой счастливой жизни, а уж потом кое-как изготавливался "оригинал" на языке такой народности, причем подбирался подходящий "автор" из среды ашугов, акынов и прочих сказителей, который и назначался национальным "классиком". Злые языки даже утверждали, что московские "переводчики", специализировавшиеся в этой области, заключили, наподобие "сыновей лейтенанта Шмидта", своего рода конвенцию, распределив между собой национальные литературы и наиболее значительных "авторов". Такие проделки кто-то язвительно назвал тогда "переводом с чечено-ингушского на сберкнижку".

## 2

Однако главным образом нас сейчас интересует использование псевдопереводов в целях обхода (и обмана) идеологических контролирующих инстанций. В государствах с жестко-полицейским укладом и, естественно, такой же правительственной цензурой указанный литературный прием использовался довольно часто. Россия, как и во многих других случаях, дала в этом отношении (по Чаадаеву) очередной "урок миру". Количество таких текстов в отечественной литературе начиная с XVIII века весьма значительно; остановимся лишь на некоторых, наиболее выразительных.

По-видимому, первым таким опытом стала комедия Якова Петровича Чаадаева (отца упомянутого знаменитого философа и публициста) под забавным названием "Дон Педро Прокодуранте, или Наказанной бездельник, комедия, сочинения Кальдерона де ла Барка. С гишпанского на российский язык переведена в Нижнем Новегороде", вышедшая в Москве в 1794 году[6]. Пьеса, как мы видим, приписана испанскому драматургу Кальдерону де ла Барка (1600—1671), чье имя было хорошо известно в России, начиная с петровских времен.

Вполне очевиден памфлетный характер комедии — под испанизированным именем заглавного героя, высокопоставленного мошенника, "директора королевских доходов" Прокодуранте, выведен управляющий Коллегией экономии Нижегородской губернии Петр Иванович Прокудин (прозрачна перекличка в звучании их имен и фамилий), известный злоупотреблениями и неумеренно роскошной жизнью. Испанский колорит воссоздается испанскими именами и остальных героев, а действие происходит в Барцелоне. Причины, по которым Я. П. Чаадаев прибег к такой мистификации, вполне объяс-

нимы и понятны: на рубеже 80–90-х годов Екатерина, напуганная революционными событиями во Франции, резко ужесточила цензурный режим, расправившись с крупнейшим издателем-просветителем Н. И. Новиковым и сурово осудив А. Н. Радищева за издание в 1790 году его знаменитой книги. Открытый выпад против реального чиновника губернской администрации, занимавшего тем более весьма высокий пост, вряд ли был бы пропущен цензурой; Я. П. Чаадаеву пришлось прибегнуть к маскировке под испаноязычный текст. Экземпляры пьесы сразу же стали большой редкостью, ибо, как свидетельствуют некоторые источники, Прокудин скупил через подставных лиц подавляющую часть тиража комедии, что превратило ее в библиографическую редкость, породившую ажиотаж в библиофильской среде[7].

Спустя примерно десятилетие, в 1805 году, появилось в русской печати любопытное сочинение под названием "Сочинитель и Ценсор *(перевод с манжурского)*, сопровождаемое "Письмом к издателю" "Журнала Российской словесности" Н. П. Брусилову:

На сих днях нечаянно попалась мне в руки старинная манжурская рукопись. Между многими мелкими в ней сочинениями нашел я одно весьма любопытное по своей надписи: "Сочинитель и Ценсор"... Немедленно перевел оное и сообщаю вам, милостивый государь мой, сей перевод с просьбою поместить его в вашем журнале.

Далее следовала небольшая сценка – разговор между цензором и сочинителем, принесшим для рассмотрения рукопись под названием "Истина". Под разными предлогами Ценсор запрещает печатать книгу, считая ее содержание "непозволительным" и требуя изъятий. Сочинитель спорит с Ценсором:

Сочинитель. Вы, отнимая душу у моей "Истины", лишая всех ее красот, хотите, чтобы я согласился в угождение вам обезобразить ее, сделать ее нелепою? Нет, г. Ценсор, ваше требование бесчеловечно; виноват ли я, что "Истина" моя вам не нравится и вы не понимаете ее?

Ценсор. Не всякая "Истина" должна быть напечатана...

Автор сценки – Иван Петрович Пнин (1773–1805), поэт, публицист, один из идеологов русского Просвещения, в последний год жизни – президент Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Пнин не дождался публикации этой сценки: он умер 29 сентября 1805 года, а номер журнала вышел, по-видимому, в декабре. Издатель "Журнала Российской словесности" Н. П. Брусилов снабдил посмертную публикацию примечанием, напоминающим краткий некролог: "Вот одно из последних сочинений любезного человека, которо-

го смерть похитила рано и не дала ему оправдать на деле ту любовь к Отечеству, которая пылала в его сердце. Счастлив тот, кто и за гробом может быть любим!"

Основной труд Пнина – "Опыт о просвещении относительно к России" (1804), изданный с таким эпиграфом: "Блаженны те государства и те страны, где гражданин, имея свободу мыслить, может безбоязненно сообщать истины, заключающие в себе благо общества". Антикрепостническая направленность этого труда привела к изъятию из книжных лавок нераспроданной части тиража и пресечению в 1805 году попытки Пнина переиздать его. Автор неслучайно выдает эту сценку за перевод *с манжурского.* Мы встречаемся с довольно распространенным приемом, применявшимся русскими литераторами, перемещавшими, в целях протаскивания текста сквозь цензурные теснины, место и время действия в другие, предпочтительно экзотические страны и эпохи. В упомянутой выше статье Пушкина, хотя и не без иронии, отмечена такая уловка журналистов:

> У нас, где личность ограждена цензурою, естественно нашли косвенный путь для личной сатиры, именно "обиняки". ...коль скоро газетчик прогневался на когонибудь, тотчас в листках его является известие из-за границы (и большею частию из-за китайской), в коем противник расписан самыми черными красками, в лице какого-нибудь вымышленного или безыменного писателя[8].

Вслед за Пушкиным Н. А. Некрасов в стихотворении "Газетная" (1865) от лица старичка – отставного цензора – сообщал о таком же "рецепте":

> Если скажешь: "В дворянских именьях
> Нищета ежегодно растет",
> "Речь идет
> о сардинских владеньях" –
> Поясню, и статейка пройдет!
> Точно так: если страстную Лизу
> Соблазнит русокудрый Иван,
> Переносится действие в Пизу –
> И спасен многотомный роман!
> Незаметные эти поправки
> Так изменят и мысли и слог,
> Что потом не подточишь булавки!
> Да, я авторов много берег!

Автор сценки "Сочинитель и Ценсор" иронизирует по поводу заключения Петербургского цензурного комитета, запретившего переиздание его труда под таким, в частности, предлогом: процитировав слова автора – "Насильство и невежество, составляя характер правления Турции, не имея ничего для себя священного, губят взаимно граждан, не разбирая жертв", – цензор Г. М. Яценков заметил: "Хочу верить, что эту мрачную картину автор списал с Турции, а не с России, как то иному легко показаться может". Выводы сводились к тому, что "...сочинение г-на Пнина всемерно удалять должно от напечатания", поскольку автор "...своими рассуждениями о рабстве и наших крестьянах, дерзкими выпадами против помещиков

<...> разгорячению умов и воспалению страстей темного класса людей способствовать может". Пнин попробовал было отстоять свой труд, послав в Главное правление училищ протест, но безуспешно. Между прочим, в нем есть такие слова: "...Сочинитель обязан истины им предусматриваемые представлять так, как он находит их. Он должен в сем случае последовать искусному живописцу, коего картина тем совершеннее, чем краски им употребляемые соответственнее предметам им изображаемым"[9].

Публикуемый автором *перевод с манжурского* предпринят был, по-видимому, как сатирический ответ цензорам, запретившим его книгу, а заодно явился скрытой критикой положений первого цензурного устава, вышедшего в 1804 году. Устав, пришедшийся на "дней Александровых прекрасное начало", считался весьма либеральным, а в цензоры назначались профессора университетов, что не помешало им запретить основной труд Пнина. Самое любопытное здесь то, что цензоры поддавшись на уловку Пнина, разрешили сцену к печати.

Для обличения тогдашних российских нравов и одиозных деятелей поэты первых десятилетий XIX века охотно прибегали к якобы античным образцам. Например, поэт-сатирик М. В. Милонов (1792–1821) создал вполне оригинальное политическое стихотворение "К Рубеллию. Сатира Персиева", выдав его за подражание стихотворению римского сатирика Персия Флакка (34–62), у которого сатиры под таким названием нет. Начало стихотворения говорит само за себя:

Царя коварный льстец,
вельможа напыщенный,
В сердечной глубине
таящий злобы яд,
Не доблестьми души –
пронырством вознесенный,
Ты мещешь на меня
с презрением твой взгляд!

Стихотворение Милонова прочитано было современниками как выпад против А. А. Аракчеева, всесильного фаворита Александра I; тем не менее, оно было беспрепятственно и сразу же опубликовано (журнал "Цветник", 1810, № 10). Еще большую сенсацию современников вызвало знаменитое послание "К временщику" К. Ф. Рылеева с подзаголовком "Подражание Персиевой сатире 'К Рубеллию'", опубликованное ровно через десять лет, в 1820 году, в октябрьском номере журнала "Невский зритель". Оно, как известно, имело тот же прицел. "Нельзя представить, – вспоминает Н. А. Бестужев, – изумления, ужаса, даже, можно сказать, оцепенения, каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном". В этом случае мы сталкиваемся как бы с двойной мистификацией: Рылеев отсылает к сатире Милонова, которая, в свою

очередь, является псевдопереводом.

Не раз использовал указанный прием А. С. Пушкин. Так, одно из самых ранних опубликованных стихотворений "Лицинию", первая редакция которого напечатана в 1815 году в "Российском Музеуме", имело подзаголовок *с латинского*, хотя стихотворение было оригинальным. Как замечают комментаторы, "...римский колорит придан стихотворению отчасти из цензурных соображений, отчасти в силу литературных традиций"[10].

И, конечно же, к разряду псевдопереводов-мистификаций относится стихотворение 1836 года "Из Пиндемонти. Не дорого ценю я громкие права..." Правда, ссылка на итальянского автора (первоначально стихотворение имело подзаголовок "Из Alfred Musset"), очевидно, не обманула цензуру. Оно было напечатано лишь двадцать лет спустя, да и то с купюрами и заменами, а полностью — еще через двадцать...

Бывали случаи, когда издатели журналов самовольно, без ведома автора "обыностранивали", если можно так сказать, присланные произведения, опять-таки с указанной выше благой целью. Показательна в этом отношении операция, произведенная издателем журнала "Славянин" А. Ф. Воейковым над текстом басни П. А. Вяземского "Цензор", опубликованной в журнале в 1830 году. В присланном виде она выглядела так:

Когда Красовского
отпряли парки годы,
Того Красовского,
который в жизни сам
Был паркою ума,
и мыслей, и свободы,
Побрел он на покой
к Нелепости во храм.
"Кто ты? — кричат ему
привратники святыни.
— Яви, чем заслужил
признательность богини?
Твой чин? Твой формуляр?
Занятья?
Мастерство?"
"Я при Голицыне был
цензор", — молвил он.
И вдруг пред ним чета
кладет земной поклон,
И двери растворились сами!

Убоявшись, видимо, цензурных репрессий, Воейков снабдил публикацию подписью "С франц<узского>. К. В-ий", (то есть Князь Вяземский). Кроме того, вместо "Красовского" — петербургского цензора, прославившегося своей непроходимой тупостью и ставшего жертвой многочисленных анекдотов, он поставил "Ларобине", вместо Голицына (одиозного министра просвещения в александровское время) — "Г. Е.", сопроводив примечанием: "Генерал-полицмейстер парижский, славный невежеством, но еще более ханжеством". О публикации басни Вяземский сообщал: "Это примечание и имя **Ларобине** рукоделие Воейкова. У меня было Красовский и князь Голицын. Впрочем, стихи были напечатаны совершенно без моего ведома и цензорства"[11].

Несмотря на такую мистификацию, за публикацию стихотворения "Цензор" Воейков все-таки оказался на гауптвахте: время было уже николаевское, серьезное...

В 60–70-е годы XIX века поэты, которые в советское литературоведение вошли под именем "революционных демократов", также охотно, в целях обмана цензоров, прибегали к мистификациям такого рода. Н. А. Некрасов стихотворение "Н. Г. Чернышевский" (Чернышевский был приговорен к "поселению в Сибирь навсегда" и находился в то время в вилюйской тюрьме, а его имя было запрещено к упоминанию) опубликовал в "Последних песнях" (1877) под названием "Пророк". Не желая, чтобы цензура связала стихотворение с российской действительностью, Некрасов снабдил его фиктивным подзаголовком, выбранным по соображениям цензурного характера, — "Из Ларры", выдав таким образом стихотворение за перевод сочинения Марьано Хосе де Ларры (1809–1837), испанского памфлетиста, поэта и драматурга[12].

Василий Степанович Курочкин (1831–1875) — поэт, переводчик, издатель и редактор самого популярного в 60–70-е годы сатирического журнала "Искра" (1859–1873) — в начале 60-х годов читал устно в кругу своих друзей сатирическое стихотворение "Над цензурою, друзья..." под видом "перевода из Беранже". Слегка измененный рефрен взят действительно из песни французского поэта "La censure":

Над цензурою, друзья,
Смейтесь, так же, как и я:
Ведь для мысли и для слова,
Откровенно говоря,
Нам не нужно никакого
Разрешения царя!

Все другие строфы никакого отношения к Беранже не имеют, например, такое примечательное двустишие:

Что напишем, то пошлем
Прямо в Лондон, к Искандеру.

Другими словами — все, что в России не может быть разрешено цензурой, можно послать за границу А. И. Герцену, выступавшему в эмиграции под псевдонимом "Искандер", основавшему в 1853-м свою знаменитую "Вольную русскую типографию в Лондоне".

Как удалось установить, именно из герценовского окружения вышла остроумная мистификация — псевдоперевод всем известного произведения. На обложке миниатюрной книжки указано: *Путевые чудесные приключения барона Мюнхгаузена. Переведено с английского языка. Лондон, 1860. Издание Трюбнера и К°*. Книга о Мюнхгаузене с конца XVIII века выходила в России беспрепятственно, английский издатель Николас Трюбнер на русском языке печатал исключительно герценовские издания, предназначенные для тайного провоза в Россию, а потому оставалось непонят-

ным, зачем ему нужно было издавать на русском языке книгу, не вызывавшую в "метрополии" цензурных претензий. Текст этой редчайшей книги объясняет все. На самом деле, перед нами остроумная уловка для обмана так называемого Комитета цензуры иностранной, ведавшего допуском в Россию зарубежных изданий. Автор книги (к сожалению, имени его установить не удалось), лишь слегка отталкиваясь от всем известного текста, создает вполне оригинальное произведение, направленное против тиранических порядков в России. Вот лишь некоторые отрывки из предисловия:

Тираны, попы, монахи, политики морочат нас адом, страшным судом, чертями и ангелами, как морочили нас няньки привидениями. Они знают, что чем мы глупей, тем больше будем верить на слово... Чтоб держать нас в темноте и обмане, они запрещают свободно мыслить, говорить и писать, уверяя, что свобода мысли и совести опасны для народа.

Особенно охотно автор использует российские мотивы в рассказах Мюнхгаузена, вольно перенося барона из XVIII века в XIX и обратно. Вот лишь некоторые эпизоды. Мюнхгаузен приезжает в Россию и первое, что ему бросается в глаза, — "дырявые крыши изб в деревнях, печальные песни горемыки-крестьянина. Да, подумал я, царская власть не хуже морового поветрия проходит по народу". В последней фразе мы видим чуть ли не прямое совпадение со словами А.. Герцена, который неизменно называл эпоху Николая I *моровой полосой*. Затем герой приезжает в Петербург, и вот его первое впечатление:

Не стану обременять вас описанием великолепного города, а повторю стихи русского поэта:

"Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес лазурно-бледный[13],
Скука, холод и гранит".

Мюнхгаузен, процитировав первую строфу стихотворения Пушкина (!) "Город пышный, город бедный...", адресатом которого была А. А. Оленина, добавляет: "В этой прекрасной строфе заключается вся физиономия казарменной столицы, и мне нечего больше прибавить к ней... Надо знать, что в ней [самодержавной России. — *А. Б.*] только один царь живет, думает и говорит, а все прочие только смотрят на него и передразнивают. Кто любит фарсы, тому советую съездить в Россию и познакомиться с Зимним дворцом". Досталось от Мюнхгаузена и второй тогдашней столице — Москве, в которой он повсюду видит "...глубокое раболепие, грубое чванство: везде колокольный и питейный дом, везде униженный слуга и заносчивый барин..." Все остальные рассказы Мюнхгаузена написаны в том же духе...

## 3

В условиях советской цензуры создание псевдопереводов, особенно в тех случаях, когда под ними чувствовалась политическая подоплека, было занятием весьма опасным и, в случае "разоблачения", грозило автору большими неприятностями. Тем не менее, писатели шли на такой риск... Приведем лишь некоторые примеры. Е. Г. Полонская, единственная "сестра" в составе литературной группы "Серапионовы братья" начала 20-х годов, выпустила в 1935 году сборник своих избранных стихотворений "Года". В нем помещены и ее переводы: "Из Брехта", "Из Киплинга" и т. д. В этот же раздел вошло стихотворение *из Е. Бертрам* под названием "Иосиф", навеянное библейской историей. На самом деле, это оригинальное стихотворение самой Полонской, решившей придумать некую *Е. Бертрам* (причем не понятно, на каком языке писавшую)[14]. Главлитовская цензура никогда бы не разрешила публиковать стихотворение такого рода под собственным именем "советского поэта", найдя в нем, разумеется, признаки "религиозного дурмана".

В некоторых случаях сочинялся псевдоперевод не одного какого-либо произведения, а придумывался фантомный зарубежный автор "целиком" — с биографией и "литературным наследием". Многие образцы такого рода представлены в небольшой антологии "Поэты, которых не было".

В частности, приведены в ней стихи вымышленного французского поэта Анри Лякоста, сочиненные на самом деле А. И. Гитовичем в 1943 году[15].

Узники ГУЛАГа Ю. Н. Вейнерт и Я. Е. Харон придумали французского поэта Гийома дю Вентре, от имени которого создавали "Злые песни". Сборник с таким названием вышел, хотя и через много лет, уже в годы "перестройки" (М., 1989), с пометой "Написано в ГУЛАГовском лагере 'Свободное', в краях нынешнего БАМа, в годы Великой Отечественной войны".

Благодаря публикации статьи известного поэта и литературоведа Льва Лосева стала широко известна мистификация, созданная его отцом Владимиром Александровичем Лифшицем (1913–1978), поэтом, фронтовым корреспондентом в годы Отечественной войны. Он выдумал английского поэта Джемсона Клиффорда, родившегося в один год с ним и якобы погибшего на фронте в 1944-м, "переводы" из которого стал печатать с 1964 года. По словам Лосева, "...горькие стихи поэта о войне и "мире", в котором жизнь и мысль человека сведены к нулю, подчинены всемогущей тоталитарной власти, могли тогда увидеть свет только под видом 'эзоповского перевода'"[16].

Добавим к этому мистификацию, помещенную в сборнике "Ладонь поэта. Стихи голландских потов" (М.: Прогресс, 1964). В него вошла "Баллада о львином сердце" некоего Ренье

Шеркенбурга в переводе А. Янова. На самом деле, это оригинальные стихи самого переводчика[17]. В балладе изображены ужасы, переживавшиеся в гитлеровском концлагере еврейским юношей: под занавес "оттепели" тема Холокоста становится постепенно табуированной, но "иностранцу" позволено больше, чем отечественному автору.

Приведенные в настоящей статье примеры псевдопереводов на "язык родных осин" вовсе не исчерпывают этот литературный феномен, да автор и не ставил перед собой такую задачу. Дальнейшие разыскания, несмотря на то что большинство "переводчиков" вовсе не склонно было афишировать свое авторство, несомненно, увеличат репертуар подобных текстов. Возникает один немаловажный вопрос: почему многим авторам удалось все-таки обойти цензуру и опубликовать свои произведения, часто не совпадающие с декретированными идеологическими установками? Объяснить это можно, во-первых, тем, что пространство свободы, отведенное для переводной литературы было (и до революции 1917 года, и после нее) расширено в сравнении с отечественной; во-вторых, критика зарубежных, как представлялось, порядков и нравов, считалась даже полезной; конечно, у читателей возникали, говоря языком цензоров, "неконтролируемые ассоциации", но придраться к тексту на этом основании было делом весьма сложным; и в-третьих, наконец, в цензоры попадали (в советское время — особенно) не самые образованные и умные чиновники.

И в самом деле, необразованный цензор — благо для российского автора. Еще Щедрин говорил о том, что "русская литература возникла по недосмотру начальства..."

## Примечания

1. А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. VII. — М., 1949. С. 200.
2. См. статью А. И. Рейтблата "Детективная литература и русский читатель", вошедшую в его сборник "От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы" (М.: НЛО, 2009, с. 294—306).
3. Подробнее см.: М. Маликова. Халтуроведение: Советский псевдопереводной роман периода НЭПа // Новое литературное обозрение, 2010, № 103, с.109—139. Автор сообщает о ряде "...иронически-приключенческих романов отечественных авторов, опубликованных в 1924—1928 гг. под подчеркнуто небрежно разоблаченными иностранными псевдонимами... Речь идет о романах Жоржа Деларма (Юрия Слёзкина) 'Кто смеется последним' (ГИЗ, 1925, то же под заглавием '2 × 2=5' — Л.: Новый век, 1925); Пьера Дюамеля (Сергея Заяицкого) 'Красавица с острова Люлю' (Л.: Круг, 1926); Ренэ Каду (Овадия Савича и Владимира Корвин-Пиотровского) 'Атлантида под водой' (Л.: Круг, 1927); Риса Уильки Ли (Бориса Липатова) 'Блёф, поддельный роман' (М.: Библиотека всемирной литерату-

ры, 1928), а также о 'Месс-Менд' Джима Доллара (Мариэтты Шагинян)", с которым псевдопереводные романы соотносятся.
4. См. об этой истории подробнее в кн.: Анатолий Горелов. Тропою совести. Очерки. — Л., 1987.
5. См. об этом в сборнике: Библиотекарь и читатель: проблемы общения. Вып. 2 / Сост. О. С. Либова. — СПб., 2000, с. 33—35. Массу примеров такого рода приводит также Сергей Чупринин в статье "Еще раз о картографии вымысла" (Знамя, 2006, № 11). Он пишет, в частности, "...заработала стратегия импортозамещения, и Николай Перумов дебютировал как Ник Уинлоу, Елена Хаецкая снискала первые успехи как alter ego Мэделайн Симонс и Дугласа Брайана, Александр Прозоров стал Нэтом Прикли, а Михаил Ахманов выступил в роли сразу и Майкла Мэнсона, и Дж. Лэрда, Яков Калико взял себе экзотическое имя Иторра Кайла, Сергей Корниенко вошел в библиографические сводки как Сэмюэль Гей, а Георгий Эгриселашвили до сих пор публикует свои романы (и получает литературные премии) под маской Джорджа Локхарда".
6. Литература, посвященная комедии, весьма обширна. См., в частности: А. Ф. Петрова. Забытая комедия XVIII века и ее автор (Я. П. Чаадаев. Дон Педро Прокодуранте) // Литературные связи и проблема взаимовлияния. — Горький, 1980, с. 91—98. К. Ю. Лаппо-Данилевский. Комедия "Дон Педро Прокодуранте" и ее автор // Основание национального театра и судьбы русской драматургии. — СПб., 2006, с. 119—137. "Ложным переводам" уделено внимание также в кн.: Ю. И. Масанов. В мире псевдонимов, анонимов и литературных подделок. — М.: Всесоюзная книжная палата, 1963, с. 99—106.
7. Об этом см. в неоднократно издававшихся с 60-х по 80-е годы "Рассказах о книгах" Н. П. Смирнова-Сокольского.
8. А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. VII. — М., 1949, с. 201.
9. Подробнее см.: И. П. Пнин. Сочинения / Подготовка к печати и комментарии В. Н. Орлова. — М., 1934, с. 165—168,
10. А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. I. — М., 1949, с. 472.
11. П. А. Вяземский. Стихотворения. — Л., 1958, с. 161.
12. В. С. Курочкин. Собрание стихотворений. — М., 1947, с. 107. Впервые — Каторга и ссылка, 1927, № 5, с.32.
13. У Пушкина в стихотворении "Город пышный, город бедный..." — "*зеленобледный*". См. подробнее об этой истории в кн.: А. В. Блюм. Каратель лжи, или Книжные приключения барона Мюнхгаузена. — М.: Книга; Серия "Судьбы книг", 1978, с. 36—45.
14. Затерянная муза. Елизавета Полонская / Вступит. слово и публикация Б. Фрезинского // Арион, 2007, № 1, с. 83.
15. См. в кн.: Александр Гитович. Избранное. — Л., 1978, с. 77—84.
16. Эта мистификация раскрыта самим поэтом только спустя 10 лет в сборнике "Лирика. Избранные стихи" (М., 1974) — см. подробнее: Л. Лосев. Упорная жизнь Джемсона Клиффорда: Возвращение одной мистификации // Звезда, 2001, № 1, с. 134—142. См. также указанный выше сборник "Поэты, которых не было", составленный И. О. Фоняковым (СПб.: изд-во Н. Куприянова; Знак, 2005).
17. Сообщено автору этих строк историком литературы Б. Я. Фрезинским.

Марина Ефимова

# *Путешествие в Ричистан – страну богачей*

Слово "ричистан" составлено из английского слова "rich" – богатый – и из персидского "стан" – страна. Название придумал ведущий иностранный корреспондент газеты "Уолл-стрит джорнал" Роберт Фрэнк, который считает (как и многие экономисты), что внутри Америки выросла новая страна – страна богатых. И он назвал эту страну (и свою книгу о ней) – "Ричистан"[1].

"Я брал интервью, – пишет Фрэнк, – у владельца магазина роскошных автомобилей в приморском городке, который облюбовали для летних резиденций богатейшие ньюйоркцы. Во время беседы в офис заглянул продавец и сказал, что есть покупатель на красный "феррари" ценой в 350 000 долларов. "Кто? – спросил я. – Один из ваших новоселов?" – "Нет, – сказал немного растерянно продавец, – это наш каменщик". В салоне стоял рабочего вида человек в комбинезоне, заляпанном цементом, и натруженными руками листал чековую книжку. "Вы действительно каменщик?" – спросил я. "Ну а кто же? – засмеялся покупатель. – Меня тут все знают". Я спросил его, как он добился такого успеха. И каменщик рассказал, что переехавшие сюда богачи возводят каменные стены и ограды, облицовывают мрамором патио, лестницы и ванные комнаты в таких количествах и с таким размахом, что попутно и его сделали миллионером".

Население Ричистана – больше 10 миллионов семейств (если начинать отсчет с тех, чье состояние превышает 1 миллион долларов). По данным 2004 года 1 % самых богатых ричистанцев зарабатывал в год 1,35 триллиона долларов. Это больше, чем годовой национальный доход Франции, или Италии, или Канады. При этом население Ричистана стремительно растет. Но дело не столько в количестве, сколько в автономности. В Ричистане – своя экономика, своя социальная структура (нижний Ричистан, средний и верхний), свой язык (во всяком случае, терминология), своя система образо-

© Марина Ефимова, 2011

1. Robert Frank. Richistan: A Journey Through the American Wealth Boom and the Lives of the New Rich. – Crown Publishing Group, 2007. – 277 p.

вания, своя небольшая авиация (и флот), своя индустрия развлечений и даже свой уровень инфляции — вдвое выше, чем в остальной Америке. Самый верхний уголок Ричистана Роберт Фрэнк назвал "Миллиардеровка". Ее население составляет сейчас примерно от четырехсот до тысячи семей, общее богатство — 1 триллион долларов (вдвое больше, чем в 1995 году).

За свою историю Америка знала две могучие волны индивидуальных обогащений: "Позолоченный век" — "Gilded Era" конца XIX века (время Карнеги и Рокфеллера) и "Roaring Twenties" ("Ревущие 20-е") — время радио- и киномагнатов. Но нынешняя волна — просто "девятый вал" по сравнению с двумя первыми. О ее специфике рассказывает Роберт Фрэнк в интервью, данном Радио "Свобода"[1]:

Богатства последних 20-ти лет, в отличие от так называемых старых денег, не унаследованы, а заработаны. Источники новых богатств различны на разных уровнях Ричистана: нижнем (с доходом от 1 до 10 миллионов), среднем (от 10 до 100 миллионов) и верхнем (от 100 и выше). Основой богатства нижнего Ричистана являются высокие зарплаты (корпоративных менеджеров, банкиров, юристов, врачей, дизайнеров, брокеров). Этих людей граждане среднего и верхнего Ричистана даже не считают богатыми. Они называют их affluent, то есть "обеспеченные". Состояния в десятки и сотни миллионов долларов заработаны теми, кто основал собственные компании. Достигнув относительного успеха, владельцы продают эти молодые компании огромным корпорациям или через биржу.

Нынешние нувориши — профессионалы и бизнесмены. Конечно, и в 20-е годы, и во времена "Позолоченного века" такие люди тоже были (Рокфеллер и Карнеги тому примерами), но их никогда не было так много. Сейчас число богачей побило все рекорды.

— Как обычно происходят нынешние обогащения? Какими способами, в каких сферах экономики и за какое время?

— Когда-то образование солидного капитала занимало 30—40 лет. Джон Рокфеллер собрал свой первый миллион, когда ему было 52 года. Иногда на это уходили жизни двух-трех поколений семьи. Сейчас на это уходит 2—3 года, а то и меньше. Молодой человек, создавший в Интернете программу facebook, заработал 6 миллиардов долларов, когда ему не было 20-ти лет. Есть ричистанцы, разбогатевшие на единственной финансовой транзакции — на продаже своей компании другому владельцу. В целом, главная сфера обогащения — финансовая система. Другая, довольно неожиданная, — сфера производства предметов розничной торговли. Этот тип обогащения стал возможным благодаря огромному количеству свободных денег в сегодняшнем

1. Интервью, данное Марине Ефимовой в октябре 2010 г.

мире, которые везде ищут возможности вложений.

Эд Базинет стал мультимиллионером, выпустив в продажу керамические игрушечные домики, в которых светятся окошки. Сайдел Миллер выпустил серию шампуней "Matrix Essential", которую перепродал за 1 млрд большой парфюмерной компании. Брэдли Хьюс создал сеть охраняемых складов для индивидуальных потребителей, которая сейчас покрыла всю страну. А Ауреліо Баретто заработал десятки миллионов на собачьей конуре, которой он придал форму индейского иглу.

В течение последнего века, – пишет Роберт Фрэнк, – основные капиталы в Америке были унаследованными. Обладатели этих "старых" денег своих богатств не афишировали и ими не рисковали. Они вели скромный образ жизни, и у них не было безумных трат – в отличие от сегодняшних нуворишей. У этих – частные сверхзвуковые самолеты стали явлением обычным (а слово "ординарное", "обычное" – самое страшное оскорбление в Ричистане). Поэтому ричистанцы хотят, чтобы в их самолетах помещались двуспальные кровати. Но и это уже становится обычным, и тогда граждане Верхнего Ричистана покупают "джамбо-джетс" – самолеты, у которых в хвосте помещается джакузи... Ричистанцы живут в особняках (площадью в 3 тысячи кв. метров), в которых работает штат из 100–150 слуг (правда, в демократической Америке они называются не слугами, а менеджерами домашнего хозяйства). Яхты ричистанцев достигают 200 метров в длину, и за таким судном идет еще "shadow yacht" – "теневая яхта", и на ней – вертолет, автомобили, батискаф. При этом сейчас, когда средний класс Америки беднеет, доходы самых богатых стабильно растут и достигают пределов, до которых Америка еще не доходила.

Казалось, институт камердинеров умер на рубеже XX века... но относительно недавно в Америке появились спецшколы менеджеров домашнего хозяйства. Обучение – 2 месяца, стоимость этого обучения – 12 тысяч долларов, но зато начальная зарплата – 80–100 тысяч долларов в год. И каждый выпускник – нарасхват. Правила поведения домашних менеджеров строжайшие: называть своих боссов только официально – мистер и мисс такие-то, при их появлении немедленно вставать, всегда быть готовым к любым поручениям, ничему не удивляться и не задавать праздных вопросов. Одного любопытного уволили, когда он спросил своего босса-ричистанца, зачем ему ручные часы, по которым нельзя определить время, потому что все цифры там нарочито перепутаны. (Оказалось, что это редкостная игрушка – называется, кажется, Muller Watch, стоимостью 20 тысяч долларов). Школу камердинеров студенты прозвали "boot camp", потому что там муштра – как на военной

базе. Вот пример из книги Фрэнка "Ричистан":

Процедура называется сервировочный балет и заключается в том, что за обедом шестеро слуг подают блюда двенадцати гостям абсолютно синхронно. Это требует многочасовой практики. Поставь одно блюдо перед гостем слева, сделай два шага вправо, переложи второе блюдо из левой руки в правую и поставь его перед гостем справа. При этом нужно наклониться вперед настолько, чтобы правильно поставить тарелку, но не настолько, чтобы оказаться в некомфортабельной близости от гостя. Потом все делают шаг назад и по взгляду ведущего друг за другом покидают столовую в направлении по часовой стрелке.

Нынешний камердинер должен уметь все, что умели старые, плюс компьютерные операции: почта, покупки, информация, составления программ путешествий. Кстати, о путешествиях... Компания "Mint Lifestyle" создана для исполнения фантазий. Членская плата — 20 тысяч в год. Но зато фирма организует вам (за 300 тысяч долларов) сафари в Южной Африке с последующей встречей с Нельсоном Манделой; или места в первом ряду контрольного пункта Управления космическими полетами во время запуска шатла.

Нелепо богатые люди были всегда, и Америка всегда берегла богатых: во-первых, они двигают экономику; во-вторых, по пути обогащают других, а каждый американец в душе надеялся и сам когда-нибудь стать богачом. Изменилось ли что-нибудь сейчас? Как нынешний Ричистан влияет на американскую экономику?

Процесс такой, — рассказал в интервью Роберт Фрэнк. — Благодаря своему количеству самые богатые американцы становятся обладателями все большей части национального дохода, соответственно, они платят все больше налогов, и их покупательная способность всё выше. Традиционно основу американской экономики составлял средний класс, а сейчас Ричистан отвоевывает у него экономику. 40 % всей покупательной активности в стране осуществляется пятью процентами самых богатых людей; 1 % богатейших американцев платит 30 % налогов. При таких пропорциях Ричистан получил огромное влияние, силу и власть — в том числе и политическую. У них мощное лобби в Конгрессе, и теперь уже очень трудно провести законы, которые их не устраивают. Другая важная проблема: при доминировании среднего класса экономика была стабильна. "Старые деньги" не нарушали стабильности: они не шли на риск и редко терпели убытки. Нынешние богачи и получают, и теряют огромные деньги, или тратят их за границей. Экономика, зависящая от Ричистана, сама становится нестабильной.

— Это мы всё рассматривали минусы Ричистана. Но есть же, очевидно, и плюсы?

— Рост филантропии. Сейчас филантропия — непременная

часть бюджета ричистанца. И не только Гэйтса или Баффета, но и многих безвестных богачей. Например, антрепренер Филипп Бёрбер помогает Эфиопии. Он поехал туда, расспросил жителей и построил то, в чем они нуждались: колодцы и школы. Ричистанцы контролируют свои благотворительные деньги — так же как делают это в бизнесе, поэтому их филантропия действенна. Сейчас, когда правительство Америки меньше финансирует образование, искусство, а главное — здравоохранение, ричистанцы создают фонды, поддерживающие больницы, музеи, учебные программы.

— Но может ли быть здоровой экономика, которая зависит от прихотливой щедрости богачей?

— Все люди предпочитают жить в государстве, где им гарантировано удовлетворение базовых нужд, оплаченных их собственными налогами. Однако в Америке не раз случалось, что в тяжелые времена подмогу оказывали богатые. Но, конечно, экономика не должна зависеть от благотворительности. Необходимо поставить на ноги средний класс. Нужно, чтобы большинство населения восстановило свою покупательную способность.

Тут надо сказать, что не только беднеющий и тающий средний класс Америки беспокоится сейчас за финансовую безопасность своего будущего. Вот что рассказал Роберт Фрэнк в интервью журналистам "National Public Radio"[1]:

Миллионеры очень боятся нищей старости. В Америке для них есть много групп психологической помощи. Я был на занятиях одной такой группы — для людей с годовым доходом не менее 10 млн долларов. Они встречаются раз в месяц в Нью-Йорке. И все они жаловались на страх перед бедностью. Я сидел и думал: "Да в своем ли вы уме?" Но их страх был искренним. Я потом спрашивал у каждого: "Сколько вам нужно денег, чтобы ощутить финансовую безопасность?" И каждый удваивал ту сумму, обладателем которой он был.

Лауреат Нобелевской премии по психологии Дэниэл Каneман давно утверждает, что очень богатые люди в большинстве своем одержимы работой по сохранению своего богатства и практически не отдыхают. Интересные сведения всплыли в октябрьской статье Райана Донмойра о безработных миллионерах[1]:

По данным налогового Управления IRS в 2008 году в Америке 2840 семей с доходом больше 1 миллиона долларов в год, подали заявления на пособия по безработице и получили эти пособия на общую сумму 18,6 миллионов долларов. Среди них было 806 человек с доходом в 2 млн и 17 — с доходом свыше 10 млн. Поскольку пособия по безработице берутся из налоговых денег, которые платят фирмы, то потерявший рабо-

1. Интернет, NPR archives.

1. Ryan J Donmoyer. Bloomberg news online (rdonmoyer@bloomberg.net), 2010, Oct 1.

ту миллионер имеет на это пособие такое же право, как любой рабочий с конвейера.

– Какова динамика Ричистана? Куда он движется?

– Реальное движение Ричистана в последние 5 лет, – считает Роберт Фрэнк, – глобализация. Ричистанцы думают уже не в масштабах своей страны, а в масштабах мира. И это, в общем, хорошо, но надо иметь в виду, что каждый из них уже не патриот своей страны, а патриот Ричистана. Они отдыхают на одних и тех же курортах Средиземноморья, строят рядом особняки, отдают детей в одни и те же частные школы. Они вместе мигрируют по свету, тратят деньги, где хотят, и вкладывают их, где хотят: в Китае, Бразилии, России, Сингапуре. Они потеряли верность своим странам, а при этом надо быть готовым к тому, что они будут править миром – по крайней мере, в течение ближайших 10–15 лет.

Предсказания авторов статей и книг на тему Ричистана – очень разные. Одни пишут, что миром будет править Китай, потому что ричистанцы туда вкладывают свои миллиарды. Другие напоминают, что миллиарды китайских денег вложены в американские бизнесы и потому работают на Америку. Одни считают, что филантропия калечит экономику, другие лелеют мечту Эндрю Карнеги: "У нас будет идеальное государство, в котором богатство немногих станет могучей силой для подъема всех".

Это не новый процесс в Америке – перехода власти (в том числе политической) в руки богатых людей, которые тратят миллионы на свои избирательные кампании. В этом смысле нынешние ричистанцы – не худший вариант: большинство из них вышло из среднего класса и хотя бы имеет представление о жизни средних и нижних слоев общества. Другое дело – дети ричистанцев, которые унаследуют родительские богатства. Иногда родители спохватываются, что их дети растут в Ричистане, а не в реальном мире и не имеют представления о жизни остальных сотен миллионов его жителей. Одна ричистанская семья с помощью фирмы "Mint Life-style" за большие деньги прожила неделю в индийской деревне, другая – в марокканской деревне (правда, с последующей встречей с членами королевской семьи).

Вот символическая история Ричистана: четырнадцатилетняя дочка богача попросила ко дню своего рождения подарок – полет на обыкновенном коммерческом самолете. "Зачем?! – воскликнул ее отец. – У нас есть свой самолет". И девочка ответила: "Я никогда в жизни не была внутри аэропорта. И я хочу лететь в самолете, где вместе со мной летят другие люди".

# *Новые книги Нового Света*

с Мариной Ефимовой

Совместно с радио "Свобода"

Robert Gottlieb *The Life of Sarah Bernhardt.* — Yale University Press, 2010. — 233 p.

Актриса Сара Бернар (урожденная Генриетта Розин Бернар) блистала на сценах европейских и американских театров 120—130 лет тому назад — в конце XIX века. Сейчас мало кто представляет себе ее манеру игры, мало кто помнит ее роли, историю ее жизни, даже ее внешность, но все знают имя — Сара Бернар, "божественная Сара Бернар". Такую славу вряд ли можно отнести только на счет ее актерского гения. Немалую роль в создании легенды сыграл характер этой женщины: ее душевная смелость, ее эксцентричность и красочный эпатаж общества, ее способность влюблять в себя людей и самой легко загораться любовью. Впрочем, все эти свойства имеют прямое отношение к ее главному великому дару — дару лицедейства. В книге "Жизнь Сары Бернар" биограф Роберт Готтлиб приводит отзывы современников актрисы. Александр Дюма-сын — ее поклонник, автор самой знаменитой ее драматической роли (Маргариты Готье) — называл ее отъявленной лгуньей и фантазеркой. Генри Джеймс считал ее "гением саморекламы". А романистка Сидони Коллет писала:

> В Саре жила неукротимая, нескончаемая жажда чаровать... и снова чаровать, и во что бы то ни стало чаровать... чаровать даже в преддверии смерти.

Но никто не сказал о Саре Бернар лучше самой Сары Бернар. В письме к одному из своих возлюбленных — актеру Жану Моне-Сулли она писала:

> Мне никогда не будет достаточно одного тебя, потому что я не создана для счастья. Мое сердце постоянно требует возбуждения — такого возбуждения, которого никто один не может дать... Я — человек с дефектом.

Сара Бернар была не только великой актрисой, но и одаренным литератором, однако ее "Мемуарам" опасно верить, потому что, как заметил кто-то из ее современников, "Сара никогда не позволит фактам испортить хорошую историю".

Из фактов известно, что она родилась 22 октября 1844 года. Ее мать была голландской

еврейкой, ставшей парижской куртизанкой самого высокого пошиба. Дочь, прижитая от случайного возлюбленного (возможно, морского офицера из Гавра), никак не вписывалась в бурную материнскую жизнь, поэтому росла в пансионе, а потом в монастыре. Девочка уже готовила себя в монахини, когда ее судьбу решил один из постоянных любовников матери, граф де Морни, сводный брат Наполеона III. Наблюдательный аристократ сказал матери: "Девочке прямой путь в актрисы" – и устроил тринадцатилетнюю воспитанницу монахинь в театральную школу "Консерватория". Окончив школу (где она не блистала), Сара, опять же по протекции графа, была принята на испытательный срок в театр "Комеди Франсез".

Не прошло и года, как ее контракт был аннулирован, потому что Сара дала пощечину ведущей актрисе театра – за то, что та нагрубила Сариной младшей сестре. Правда, слухи о таланте молоденькой задиры уже тихо ползли: от нескольких преподавателей "Консерватории", от актеров "Комеди Франсез", от зрителей, и Саре на сезон удалось устроиться в один из маленьких театров. Там ей досталась, по ее словам, "роль глупой русской принцессы", которая еще больше испортила ее и без того подмоченную репутацию.

Сара Бернар решила искать счастья за границей и в конце 1863 года уехала из Франции. В Бельгии ее надолго задержал бурный роман с молодым аристократом по имени Шарль-Жозеф Генри Джордж Лэморел де Линь, от которого она в 1864 году родила сына Мориса. После рождения мальчика принц де Линь хотел жениться на Саре, но его семья была, естественно, категорически против, и тогда Сара из благородства ответила отказом на его предложение. История была бы вполне убедительной, если бы так не походила на сюжет "Дамы с камелиями". Поэтому не исключено, что все было не так романтично. Факты говорят только о том, что принц де Линь вскоре женился на польской княжне Марии Яблоновской.

В 1866 году Сара вернулась в Париж и подписала контракт с театром "Одеон". Там-то и родилась "божественная" Сара Бернар. В "Одеоне" актриса нащупала наконец свой персональный, неподражаемый стиль. Ее первым успехом была роль Анны Дембри в пьесе Дюма-отца "Кин, или Гений и беспутство". А в 1869 году она сразила Париж ролью мальчика-менестреля Занетто в пьесе "Прохожий" драматурга Коппи. Через год Сару Бернар уже зазывали к себе вся Европа и Америка.

Ее возврат в "Комеди Франсез" был триумфальным. Роли Жанны де Арк, "дамы с камелиями", королевы (в пьесе Гюго "Рюи Блаз") и даже одна мужская роль – Гамлета – сделали Сару Бернар самой знаменитой жен-

щиной в мире. Принц Уэллльский и Виктор Гюго были ее возлюбленными; художники Гюстав Доре и Жорж Кларин были ее близкими друзьями; Альфонс Муха бесконечно изображал ее на своих картинах, а фотограф Надар делал ее портреты; ею восхищался Станиславский, считавший ее "примером артистического совершенства". Сара Бернар дважды гастролировала в России, и из русских знаменитостей два человека ее не приняли: Тургенев, который писал, что она "фальшива, холодна и склонна к аффектации", и Чехов, тоже не видевший в ней искренности. А Бернард Шоу издевался над ее эгоцентризмом.

Эгоцентризм, бесспорно, имел место (как и эксцентричность). Еще со времен театра "Одеон" актриса начала возить с собой на гастроли гроб, в котором иногда спала. Она уверяла, что в гробу к ней приходит понимание ее трагических персонажей. У нее в квартире был маленький зоопарк, и она носила шляпу с чучелом совы.

Как это часто случалось с актрисами, Сара Бернар была победительна на сцене и беспомощна в интимных отношениях. Возможно, поэтому ее любовные связи бывали недолгими. Однажды, правда, в 1882 году, она вышла замуж — за актера и плейбоя Жака Дамала, но даже и замужество Сары Бернар было из ряда вон выходящим. Судите сами: писатель Брэм Стокер, автор романа "Дракула", позже говорил, что образ своего героя он во многом списал именно с актера Дамала.

Но если в личной жизни Сара Бернар, по ее словам, была "человеком с дефектом", то в театре она была совершенством, героем, подвижницей. В 1905 году, играя в драме Сарду "Тоска", она спрыгнула с парапета и повредила колено. Через несколько лет у нее началась гангрена, и в 1915 году правую ногу актрисе ампутировали. После этого она с огромным успехом играла еще восемь лет, почти не двигаясь по сцене, — только голосом и жестами, только своим могучим обаянием.

Она умерла 26 марта 1923 года в возрасте семидесяти восьми лет, не потеряв ни капли лицедейского дара и сарказма. Она умирала тяжело, но один раз, полулежа в кресле, попросила подвезти ее к окну и долго смотрела на журналистов, ожидавших внизу известий о ее смерти. "Ждите, ждите, — сказала актриса со смешком. — Вы мучили меня всю мою жизнь, а теперь я вас помучаю".

Laura Kipnis *How to Become a Scandal. Adventures in Bad Behavior.* — Metropolitan Books/Henry Holt & Company, 2010. — 209 p.

"Как устроить скандал. Приключения нарушителей приличий". Автор этой книги — профессор Чикагского уни-

верситета Лора Кипнис — достигла редкого результата: она сумела проанализировать природу недавних сексуальных скандалов в Америке, использовав научный подход, но не лишив эти истории их драматизма и загадочности. Более того, она убеждает читателя удержаться от издевок или презрения и примерить эти истории на себя.

Но сперва — немного о специфике нашего времени:

В наши дни понятие "частная жизнь" практически исчезло для любого человека, находящегося на виду. Если утром один журналист обнаруживает информацию о внебрачных связях Тайгера Вудса (первого афроамериканца, ставшего чемпионом по гольфу), то к ланчу о них уже знает весь мир. В таких условиях от знаменитостей можно было бы ожидать особой осторожности — даже несмотря на общую моральную эрозию общества. Однако за последние двадцать лет волна грандиозных сексуальных скандалов буквально затопила Америку. И в каждом инциденте с суперзвездами (в политике, в спорте, в бизнесе или в культуре) выявляется одно и то же сочетание: наивность этих суперзвезд и непрочность их статуса. И каждый раз мы удивляемся: "Ну, как они могли это сделать, прекрасно зная, что в нынешних условиях им ничего не сходит с рук?!" Иногда даже кажется, что сами грешники, сами нарушители моральных устоев так же нуждаются в обнародовании своих грехов, как общество нуждается в скандалах.

Лора Кипнис не занимается анализом причин, по которым люди грешат: почему они вступают в сексуальные отношения с опасными партнерами (что, в общем, не требует ответа)... или почему люди тайно записывают на пленку телефонные исповеди друзей (как Линда Трипп в случае с Моникой Левински)... или почему немолодые мужчины посылают похотливые письма четырнадцатилетним девочкам, вкладывая в них презервативы (как уважаемый нью-йоркский судья Сол Уочтлер). Автор книги сосредотачивается на другом: она пытается понять, как рассуждали эти люди, убеждая себя, что их поступки останутся во тьме их личной жизни; что этими поступками они не наносят чудовищный вред самим себе и тем, кто им дорог; что их грех никогда не выйдет на свет... что никто не пойдет по следу писем с презервативами. Ну как умный и опытный судья мог совершить такую чудовищную ошибку в оценке ситуации?.. Или как человек, достигший поста президента великой страны, мог беспечно поставить под удар не только свою личную судьбу, но и авторитет самого этого поста?..

Лиза Новак (астронавт, капитан, национальная героиня, мать двоих детей), надев парик и изменив внешность, попыталась запугать новую подругу своего возлюбленного, подкараулив ту в аэропорту и прыснув ей в лицо перечным раствором. После жа-

лобы пострадавшей полиция нашла в машине Новак молоток, складной нож, игрушечный пистолет и другие улики, говорящие о возможности попытки похищения и даже, не исключено, убийства. Новак была арестована и позже отстранена от полетов в космос и понижена в звании. В полиции она объясняла, что просто хотела обратить на себя внимание соперницы. Она просила (и всерьез надеялась), что полиция не сообщит о случившемся в Управление по космическим полетам. Эта просьба, как и все прочие рассуждения вроде бы разумной и толковой женщины-пилота, могла казаться осмысленной и даже убедительной только ей, только в наглухо изолированном от реальности, герметически закупоренном мире ее воображения.

Кипнис разбирает, по ее терминологии, "психодинамику" и другого скандала — разразившегося, когда губернатор штата Нью-Йорк, женатый и семейный человек Элиот Спитцер, был пойман на неоднократном посещении нелегальных городских борделей. До губернаторского поста Спитцер был прокурором штата, на обеих должностях наступил на много мозолей и не мог не понимать, что у него есть влиятельные враги. К тому же он абсолютно точно знал, что, откройся его грешки, их будут обсуждать во всеуслышание, с его карьерой будет покончено, его брак (которым он, как потом выяснилось, чрезвычайно дорожил) окажется под угрозой, и его отношения с детьми будут надолго, если не навсегда, испорчены.

И от всего этого он, как страус, прятал голову в песок. Кипнис пишет:

Если бы присуждали Нобелевскую премию за умение не смотреть правде в глаза, Спитцеру бы уже звонили из Стокгольма.

Но надо сказать, эти слова — редкое проявление сарказма в книге "Как устроить скандал". По большей части автор относится с искренним сочувствием к людям, ставшим центром сексуального скандала. Кипнис чаще иронизирует над теми, кто считает себя гарантированным от такого внезапного, безумного, унизительного саморазрушения. И она иллюстрирует на крайних примерах потенциальную вероятность для каждого из нас попасть в подобную ситуацию.

Никакой самоанализ не спасает нас от возможности самообмана. Каждый из нас имеет свою индивидуальную "слепую зону". Иногда — это маленькая экзистенциальная шутка человеческой природы, иногда — эмоциональная бомба замедленного действия, которая годами может безобидно тикать в нашем сознании, а потом вдруг произвести опустошительный взрыв. Скандал создается на нашем аппетите к жизни, и чем ненасытнее этот аппетит, тем вероятнее возможность скандала. Беспокойство, томление ферментируется в душе (или в утробе) каждого общественного существа. Поэтому любой из нас может пасть добычей

саморазрушительной страсти, которая (в чем бы она ни выражалась), по сути, является поиском окольных путей к свободе.

Особенное сочувственное изумление вызывают саморазрушительные порывы к свободе в людях, которые перед этим долго карабкались на вершины: социальной лестницы, власти, престижа, популярности, профессионального авторитета, а потом одним отчаянным движением все это разрушали. Таким людям везде приходится дорогой ценой платить за свободу, а уж тем более в Америке, где самая старая, самая популярная поговорка гласит: "There is no such thing as a free lunch" — "Бесплатных ланчей не бывает".

Jonathan Franzen *Freedom.* — Farrar, Straus and Giroux, 2010

В рецензии на новый роман Джонатана Франзена "Свобода" известный критик, редактор "Книжного обозрения" газеты "Нью-Йорк таймс" Сэм Таненхауз прямо назвал эту книгу "шедевром американской художественной литературы". Такое заявление — большая редкость в заключениях американских критиков, чей обычный тон — бесстрастная объективность.

Название романа — "Свобода" — не носит социального характера, речь идет о свободе персональной:

Когда мы страстно пытаемся обрести личную свободу, мы непременно приходим в столкновение с другими людьми, которые делают ту же попытку. И почти всегда их свобода ограничивает нашу. Поэтому нет ничего странного в том, что люди, стремящиеся к безграничной свободе, обречены или на одиночество, или (когда их надежда скисает) на мизантропию и озлобление. А мечта о свободе скисает часто, потому что, как правило, для ее исполнения мало следовать своему принципу — его еще должны принять другие люди. Только они могут утвердить вашу мечту, дать ей законную силу.

Постоянное столкновение воль и сил в осуществлении личной свободы с наибольшей пронзительностью и наглядностью проявляется в семейных отношениях, в которых орбиты человеческих жизней проходят в самой тесной близости. Но там же эта борьба идет и с наиболее разнообразными вариантами, и с неожиданными изменениями в перевесе сил.

Семейные романы — основной жанр английской литературы прошлого. "Но в наши дни, — пишет рецензент Таненхауз, — это практически жанр одного Джонатана Франзена".

Герои романа "Свобода" — супруги Уолтер и Патти Берглундс (богатые американские суперлибералы) — поначалу кажутся карикатурными:

Патти — солнечный переносчик светской пыльцы, приветли-

вая пчелка, жужжащая у дверей соседских домов с бумажной тарелкой печенья, или с поздравительной открыткой, или с букетиком ландышей в вазочке из магазина Армии спасения, про которую Патти говорит, что ее не надо возвращать. Уолтер — адвокат, часто защищает бесплатно бедных клиентов и ездит на работу на велосипеде, чтобы не загрязнять окружающую среду. По словам завистливых соседей (стоящих на ступень ниже золотой пары), "с Берглундсами всегда было что-то не в порядке. Они — либералы того сорта, который стыдится своего богатства. У них не хватает смелости принять свои привилегии.

В этих недобрых словах — зерно правды. Образцово-показательные Берглундсы прямиком идут к катастрофе, но не из-за личных своих качеств, а из-за святой веры в тенденцию, которой постепенно поддается вся образованная Америка:

Тысячи американских пар превращают свой дом в цитадель принципов, а жизнь — в череду благородных ритуалов, в которых все (вплоть до деталей детского обихода) превращается в социальные проблемы: "Не загрязняют ли окружающую среду одноразовые подгузники? Не сомнительна ли политическая честность организации бойскаутов? Чем чревато выбрасывание в помойку электробатареек?" Изнурительная осада проблем каждого дня героически завершается отдыхом под звуки какой-нибудь "знаковой" песни и наградой, выданной самим себе в виде бокала зинфанделя.

Доводя эту тенденцию до крайности, Уолтер (муж героини) к концу романа в паре с техасским богачом выселяет с вершины холма в Западной Виргинии двести бедных семей (чьи предки жили там веками) — чтобы устроить заповедник певчих птиц, поголовье которых заметно уменьшается. Рецензент Таненхауз подмечает:

Фрэнзен уловил безумный парадокс американского либерализма — тот факт, что ежедневной жизнью тысяч либералов руководят некие теоретические установления, которые кажутся важными и само собой разумеющимися в их кругу, но делают их беспомощными при первом серьезном конфликте со всеми остальными людьми, которые понятия не имеют об этих установлениях. И в этих конфликтах герои романа теряют карикатурную легкость и приобретают тяжесть (и опасность) реальных людей.

Любовь и секс, естественно, занимают большое место в романе о свободе. Фрэнзен считает секс "одним из главных компонентов личной свободы", однако, не в пример большинству современных писателей, он поразительно естественен в описаниях любовных сцен, полон искреннего любопытства к психологическим тайнам женской чувственной избирательности, а,

главное, в основе его отношения к сексу лежит чувство — совсем, как в старой доброй литературе. Интересно, что в любовной линии Патти и Ричарда Катца (друга ее мужа) немалую роль играет роман "Война и мир", который в это время читает Патти, — ту главу, в которой Анатоль Курагин соблазняет Наташу Ростову. Эта сцена служит Патти мудрым предостережением, которому она, естественно... не следует.

Даже величайшая литература не в силах спасти нас от самих себя, потому что ничто не может пересилить порыва к свободе.

Однако обретающие свободу герои Фрэнзена попадают из одной ловушки в другую: из ловушки несвободы в ловушку смятения чувств и путаницы убеждений (опять же как в доброй старой литературе). Недаром рецензент пишет, что оба романа Фрэнзена ("Поправки" 2001 года и "Свобода" 2010-го) "поднялись из руин великой литературы, как обновленный жанр, который может стать романом будущего, если он скинет с себя удавку постмодернизма". И рецензент приводит описание этой "удавки" в цитате из критика Джеймса Вуда:

Романы постмодернизма — это захватывающие книги, чьи авторы знают немыслимое множество вещей: лучший рецепт приготовления рыбы по-индонезийски; особенности звучания тромбона; рынок лекарств в Детройте; историю карикатуры... но ничего не знают о предмете под названием "человеческое существо".

В романах Фрэнзена тоже нет недостатка в информации, но она течет, по образному выражению рецензента Таненхауза, "по артериям сюжетного повествования" — как у Диккенса, Джеймса, Толстого, Манна. Фрэнзен занят внутренней жизнью героев, хотя при этом щедро описывает её пересечения с миром внешним.

Очень любопытен отзыв о романе "Свобода" критика журнала "Нью-Йорк" Сэма Андерсона:

На первый взгляд, это эпопея в духе соцреализма, трагедия семейного микрокосмоса, пожираемого анакондой современности. Книга, наверное, была бы невыносима, если бы не то обстоятельство, что ее автор — гений. Он обладает умением, характерным только для классиков, — создавать реальную жизнь, заставлять нас верить, что все воплощения его идей — это живые люди из плоти и крови, похожие на нас и наших соседей, люди, которых мы можем любить, жалеть, ненавидеть и встретить в супермаркете. Они бьют нас по тем же больным местам, по которым бьют друзья, дети, родители и любовники.

Остается добавить, что разница между чтением Фрэнзена и пересказом его романов похожа на разницу между яр-

ким сном и попыткой его пересказа за обеденным столом. Так что — читайте.

C. J. Chivers *The Gun.* — Simon & Schuster, 2010. — 481 p.

Книга С. Дж. Чиверса "Ружье" посвящена автоматическому ружью АК-47 — то есть автомату Калашникова.

Американцы, чья армия вооружена суперсовременным оружием, не перестают изумляться феномену этого старого, но не устаревшего автомата. 63-летний АК-47, вставший в строй в 1947 году, до сих пор находится на вооружении многих армий, партизанских групп и, к несчастью, террористических банд. По примерным подсчетам, сейчас по всему миру в обращении находится 100 миллионов автоматов Калашникова. Американский автомат М-16 — дотягивает всего до 10 миллионов. (Правда, причина может быть и в том, что американские автоматы не продавали так дешево, как мог позволить себе Советский Союз.)

Поначалу западные эксперты отвергли советский АК-47 как слишком простой и топорно сделанный. Чиверс пишет:

> Западные автоматы изготавливались с помощью точных инструментов, конвейерные линии выдерживали размеры с минимумом погрешностей и плотно пригоняли детали. Не то АК-47. Каждый, кто его разбирал, знает, что если его детали не держатся на трении, то зазоры между ними так велики, что они дребезжат. На испытаниях АК-47 не производил сильного впечатления: его точность попаданий и дальность действия уступали западным конструкциям.

И тем не менее у автомата Калашникова было одно преимущество, сделавшее его самым востребованным оружием в мире: он был безотказен в бою. Вот объяснение Чиверса:

> Именно потому, что детали АК-47 пригнаны неплотно, его трудно вывести из строя. Ему не может помешать ни грязь, ни некачественная смазка, ни нагар, который появляется в дуле во время длительного боя. Он так надежен, что не выходит из строя, даже побывав в воде или в песке.

Второе его важное (и смертоносное) преимущество — простота в употреблении. Его легко осваивают люди технически безграмотные, нетренированные и просто бестолковые. К тому же он весит четыре килограмма, поэтому из него с энтузиазмом палят солдаты-подростки (и даже дети), которых вербуют преступные военные группировки. Между тем радиус поражения автомата равен длине двух-трех футбольных полей.

Автор книги "Ружье" рассказывает об истории создания АК-47, пытаясь отделить правду от советского пропагандистского мифа.

Аббревиатура АК-47 означает: "Автомат Калашникова, изготовления 1947 года". Старшему сержанту Михаилу Тимофеевичу Калашникову было тогда 28 лет, и у него не было высшего технического образования. Поэтому он чрезвычайно подходил для советского мифа о пролетарском герое. Но были и неподходящие для мифа детали биографии конструктора: высылка "кулацкой" семьи Калашниковых в Западную Сибирь и арест старшего брата, проведшего годы в ГУЛАГе. Отец выдержал Сибирь недолго, да и из восемнадцати его детей остались в живых только восемь.

С началом Отечественной войны Михаил Калашников был призван в армию, командовал танком Т-34, был ранен и отправлен в госпиталь. Тамто у выздоравливающего сержанта и появились идеи нового автоматического ружья. Его первые конструкции армия отвергла, но он был принят на работу в военное конструкторское бюро, где к 47 году его группа и создала новый автомат АК-47.

Многие подробности процесса создания автомата АК-47 в стенах закрытого КБ остаются неизвестными. Известно, однако, что у Калашникова было несколько помощников. В основном, это были советские конструкторы (чьи имена были засекречены), но один помощник никогда даже не упоминался советской пропагандой. Это был пленный немецкий инженер, известный конструктор оружия Хьюго Шмайссер, создавший в начале Второй мировой войны автомат STG — печально знаменитый "Штурмгевéр" (или попросту "шмайсер"). Внешне автоматы Шмайссера и Калашникова очень похожи друг на друга.

И тем не менее автомат Калашникова был явным шагом вперед по сравнению с автоматами Второй мировой войны. Американское полуавтоматическое ружье М-1 генерал Паттон называл "лучшим боевым оружием, которое когда-либо было изобретено", но его магазин вмещал только восемь патронов, а автомат Калашникова выпускал за несколько секунд обойму из тридцати патронов.

Что касается помощи Калашникову, то стоит помнить, что Шмайссера привезли в Ижевск в 1946 году, когда АК-47 уже проходил испытания. Судя по некоторым сведениям, помощь немецкого инженера заключалась в советах относительно холодной штамповки деталей — советах, впрочем, очень важных для результата. А результат сказался уже во Вьетнаме, где "калашников" отчасти обеспечил преимущество коммунистическому Вьет-Конгу, потому что тогдашний американский автомат М-16 часто заклинивало в самом разгаре боя.

Восточная Европа и "третий мир" начали вооружаться автоматом Калашникова. Китай, Северная Корея, Египет наладили (с помощью Советского Союза) собственный выпуск автомата и его модифика-

ций. АК-47 стал эмблемой воюющих этнических групп и террористических банд всех мастей. Его изображение — на флаге Мозамбика, на флагах многих террористических группировок и даже, похоже, на флаге Хезболлы.

Однажды я видела по русскому телевидению интервью с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, в котором он сказал с горькой печалью: "Я никогда не думал, что этот автомат убьет столько народу".

Калашников (с помощниками или без них) создавал оружие для защиты родины, но на его глазах оно стало орудием и символом бессчетных и часто преступных убийств.

Tilar J. Mazzeo *The Secret of Chanel No. 5. The Intimate History of the World's Most Famous Perfume.* — Harper/Harper Collins Publishers. Illustrated, 2011. — 281 p.

Дебют духов "Шанель номер 5" состоялся в 1921 году на званом обеде в доме известной парижанки, законодательницы мод, владелицы парфюмерного бизнеса и светской львицы Коко Шанель. Никто из гостей не был предупрежден заранее, просто хозяйка дома попрыскала новыми духами в гостиной. Потом она писала:

Все женщины, без единого исключения, входя в гостиную, начинали принюхиваться и оглядываться в поисках источника аромата. Мы наблюдали за ними, но делали вид, что ничего не замечаем.

Книга Маззео "Секрет Шанели номер 5" — не столько история создания знаменитых духов, сколько история создания их аромата. Конечно, такая история не может ограничиться строгими фактами: она включает догадки, намеки, записки парфюмера... Наверное поэтому, автор иногда в тексте называет свою книгу "неавторизованной биографией запаха".

К 1921 году биография самой Коко Шанель уже была литературным сюжетом. Одна из главных достопримечательностей парижского светского общества, возлюбленная многих знаменитостей (включая одного из русских великих князей), Коко Шанель начала свою жизнь в сиротском приюте:

В Абазин, сиротский дом при монастыре, девочку Габриэль (будущую Коко Шанель) привез отец — после того как ее мать умерла от туберкулеза. Аскетическая атмосфера приюта во многом сформировала эстетику Коко. Например, она навсегда запомнила (и даже полюбила) два приютских запаха: стиранного и высушенного на солнце постельного белья, и запах детского тела, вымытого простым, сваренным в монастыре мылом.

Если верить Тилар Маззео, оба эти запаха стали одними из многих составляющих аромата "Шанели номер 5".

Много позже, когда уже взрослая Коко вращалась в кругу парижских дам полусвета, она особенно выделяла великолепную Эмильен де Аленкон, которая (единственная из всех парижских куртизанок) пахла, как леди. А это, в общем, значит — пахнуть безупречной чистотой и свежестью. Маззео пишет:

По убеждению Коко, секрет аромата духов в том, что он должен быть опьяняющим, богатым, сексапильным, и в то же время в нем должен явственно чувствоваться запах чистоты.

Именно эти свои пожелания Коко Шанель высказала парфюмеру Эрнесту Бо — создателю будущего шедевра. И тут начинается русская часть истории "Шанели номер 5".

Эрнест Бо родился и вырос в России, под Петербургом, и стал парфюмером, унаследовав профессию отца. До революции Бо работал на фирму Альфонса Ралле — поставщика русского императорского двора, а после революции и Гражданской войны он иммигрировал во Францию. Однажды в Каннах Бо был представлен Коко Шанель. Познакомил их покровитель и возлюбленный Коко — ссыльный кузен императора Николая Второго, великий князь Дмитрий Павлович (один из участников заговора против Распутина).

Бо приготовил несколько вариантов духов, из которых Шанель выбрала вариант номер 5. Чем именно этот вариант прельстил Шанель, а с ней и весь мир? Судя по всему, богатым, но неожиданным сочетанием тончайших ароматов:

Ароматами одной тысячи цветов жасмина, одной дюжины майских роз, свежим запахом монастырского мыла, терпкостью отчаяния Коко по утерянной любви, тлетворной ностальгией Эрнеста Бо по императорской России и ледяным дуновением арктического ветра с Белого моря. Результат: алхимическая магия и беспрецедентные цифры продажи духов, чья слава только увеличилась с годами. Сейчас одна унция "Шанели номер 5" стоит 260 долларов.

"Я дождалась, наконец, тех духов, о которых мечтала, — говорила Коко Шанель, — духов с ароматом женщины".

В 1924 году Шанель продала бóльшую часть своего парфюмерного бизнеса братьям Пьеру и Полю Вертгеймерам (о чем потом горько жалела), а в 1940 году братьям пришлось бежать из Парижа, бросив свою парфюмерную фирму. С началом Второй мировой войны история "Шанели номер 5" становится драматической и детективной:

Когда гитлеровская армия оккупировала Францию, евреям Вертгеймерам пришлось бежать из Парижа так стремительно, что они не успели вывезти сырье. С помощью американского парфюмера Лаудера братья обосновались в городке Хобокен под Нью-Йорком, и в конце 1940 года один

смельчак из их сотрудников рискнул вернуться в Париж, пробраться на склад и контрабандой вывезти из страны достаточное количество жасминового и розового экстракта, чтобы начать в Америке массовое производство "Шанели номер 5".

А тем временем Коко Шанель пыталась вернуть себе право на изготовление этих духов. Она обратилась к правительству в Виши за разрешением на владение фирмой Вертгеймеров, брошенной ими в Париже. Но получила отказ.

Коко уехала в Швейцарию и там основала конкурирующую фирму, выпускавшую духи "Мадмуазель Шанель". Она публично критиковала качество "шанели" американского производства: "Это чудовищно, – возмущалась она, – делать французские духи... в Хобокене!"

Но публике было мало дела до того, кто и где производит волшебные духи – лишь бы они продавались в Париже. В начале войны перед парфюмерными магазинами за "Шанелью номер 5" стояли в очередях немецкие солдаты, а в конце войны – американские. "Я не могу привезти много подарков из Европы, – писала домой американская медсестричка, – но один везу: 'Шанель номер 5'. Это духи такие – настоящие, французские". Именно во время войны началась всемирная одержимость "Шанелью номер 5". Кто-то из журналистов писал:

Волнующее воспоминание о женском изяществе, дух предвоенного декаданса, ностальгический аромат мирного времени. И все это – в одном флаконе вместимостью в 30 кубических сантиметров.

Уже давно знаменитые парфюмеры приготавливают духи по индивидуальным заказам – с единственным, неповторимым ароматом. Флакон таких духов стоит тысячи, а то и десятки тысяч долларов. Но ни один из этих ароматов еще не стал таким легендарным, как аромат "Шанели номер 5".

# *Среди книг*

с Таисией Паниотовой



*Авангард в культуре XX века (1900–1930 гг.):* Теория. История. Поэтика: в 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. – М.: ИМЛИ РАН, 2010

С известной долей условности 1910 год можно считать датой рождения художественного авангарда. Столетию этого феномена и посвящена рецензируемая книга, изданная при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. В ее написании приняли участие ведущие специалисты Отдела литератур Европы и Америки новейшего времени ИМЛИ РАН, представляющие разные научные дисциплины.

Хотя издание "Авангарда" напрямую связано с юбилейной датой, его значение этим обстоятельством не исчерпывается. "Условности календаря" – лишь повод вновь вернуться к осмыслению сути авангарда, его исторической роли, провести своего рода "независимую экспертизу", свободную от идеологических ярлыков и устоявшихся штампов, типичных для работ советского периода. "Переоценка ценностей" позволяет понять, что исторический авангард не ограничился великим революционным экспериментом начала века, а оставался основным ценностным ориентиром культуры на протяжении всего XX столетия. И эффективность взаимодействия авангарда с культурой – как показано в книге – состояла не столько в шоке, испытанном современниками при его появлении, "сколько в длительном влиянии, многочисленных благотворных следах", оставленных на поле мирового искусства XX–XXI вв.

К выполнению миссии своеобразной "реабилитации" авангарда авторы коллективной монографии отнеслись со всей серьезностью, о чем свидетельствует введение в научный оборот широкого круга современных зарубежных и отечественных источников; стремление использовать принципиально новые исследовательские подходы, а также объем и репрезентативность издания. Книга представляет собой стильно оформленный двухтомник, насчитывающий свыше 1300 страниц высококачественного научного текста.

Нельзя сказать, что искусство авангарда было обойдено вниманием ученых. Помимо хорошо известных работ 80–90-х гг. Б. Гройса, И. С. Куликовой, В. С. Турчина[1] и других, нельзя

1. Б. Гройс. Русский авангард по обе стороны черного квадрата // Вопросы философии, 1990. № 11; И. С. Куликова. Философия и искусство модернизма. Критический анализ. – М., 1980; В. С. Турчин. По лабиринтам авангарда. – М.: МГУ, 1993.

не отметить и современные издания, среди которых "Модернизм и постмодернизм" Д. Затонского (2000), "Модернизм. Искусство первой половины XX века. Новая история искусства" М. Ю. Германа (2004), коллективная монография "Германия. XX век. Модернизм. Авангард. Постмодернизм" (2008), а также ряд переводных трудов зарубежных авторов.

Что же касается рецензируемой монографии, то ее новаторство состоит прежде всего в междисциплинарности. Потребность в междисциплинарных программах и комплексных подходах в гуманитарном познании возникла давно, но особенно они необходимы при исследовании таких сложных и многосоставных явлений, как авангард. Предпринятый авторами опыт комплексной реконструкции феномена авангарда первой трети XX века, раскрытия многообразных форм его бытования в различных видах и жанрах литературы и искусства более чем актуален в ситуации нарастающей фрагментизации познания и практики, когда представители различных искусств говорят на специализированных языках, не слыша общего "хора". Обусловленная этим разобщенность, существовавшая между искусствоведами, филологами, культурологами всегда мешала типологически осмыслить феномен авангарда. В рассматриваемом труде, по сути, впервые сделана попытка — по нашему убеждению, весьма успешная — дать многомерное видение авангардного искусства.

Второй элемент новаторства составляет целостная реконструкция социокультурного контекста. Авангард позиционируется как объемный феномен, вмещающий основные смыслы эпохи, отмеченной кризисом рационалистической парадигмы, расфокусированностью "прогрессистской оптики", повлиявшей на все сферы культуры. При таком подходе причудливые фантазии авангардистов перестают казаться собранием эксцентричных артефактов, а превращаются в коды определенных процессов, подобрать ключи к которым помогает читателю книга. Теперь они могут быть восприняты как рецепции новой структуры реальности, в которой "одновременно сосуществуют хаотическое смешение всего и вся и строгая геометрия, банальность и элитарность, грубый материализм и экзальтированный спиритуализм".

Междисциплинарная направленность не помешала авторам (в большинстве своем филологам) восполнить лакуны российского авангардоведения, сделав упор на изучение литературных манифестаций авангардизма, что придает труду дополнительную ценность, поскольку традиционно внимание исследователей концентрировалось на изобразительном искусстве.

Еще Гегель обращал внимание на то, что в самом предмете различных искусств заключено единство общего и инди-

БиблиофИЛ

видуального, универсального и специфического. В этом смысле одно из главных достоинств книги состоит в том, что авторы дают достаточно полное представление об истории авангардизма (доказательно ограничивая его рамками первой трети XX в.), о различных течениях и школах, о творчестве наиболее репрезентативных фигур, наконец, о национальных вариантах авангардизма. В этом отношении чрезвычайно верной и внутренне обусловленной представляется классическая трехчастная композиция труда: первая часть, логически очень удачно выстроенная, — теоретические аспекты; вторая, собственно феноменологическая, — крупнейшие движения, течения и школы; третья — национальные варианты.

Основному блоку авторских текстов композиционно предшествует теоретический раздел, написанный Т. В. Балашовой, Ю. Н. Гириным, А. Ф. Кофманом, М. Ф. Надьярных и А. П. Саруханян. Здесь анализируется место авангарда в культурном пространстве XX века, определяются его границы, характеризуется содержание, понятийный аппарат и системообразующие концепты. Авангард рассматривается во взаимодействии с родственными явлениями модерна, модернизма, декаданса, в соотношении с классической традицией и в проекции на культуру современную.

В следующем разделе, названном "Движения, течения, школы", достаточно подробно изучены и описаны в качестве манифестаций авангардистской культуры такие течения, как экспрессионизм (Н. В. Пестова), футуризм (Е. Ю. Сапрыкина), дадаизм (В. Д. Седельник), сюрреализм (Е. Д. Гальцова), конструктивизм (Е. В. Сидорина). И хотя пропорции в подаче фактического и теоретического материала в конкретных главах заметно отличаются в ту или другую сторону, можно утверждать, что в целом авторам удается сохранить необходимое равновесие благодаря сосредоточенности не столько на хорошо известных фактах, сколько на изучении поэтики.

Второй том целиком посвящен национальным вариантам авангардизма. Авторы вошедших в него статей (Е. А. Бобринская, Т. В. Горячева, В. Н. Терехина, Е. Д. Гальцова, О. Ю. Панова, А. Б. Можаева и другие) исходили не только из факта многообразия культурных форм авангарда, но и из понимания невозможности их сведения к некоей универсальной модели, исключающей национальное своеобразие. Здесь акцентируется внимание на неповторимом характере, эстетическом обаянии национальных и региональных форм авангарда, начиная с России и завершая странами западного полушария. Особый интерес представляет освещение таких экзотических манифестаций авангардизма, как "белый" и афроамериканский авангард

(США), креасьонизм (Чили, Испания), негризм (Куба), ультраизм (Испания), интерсексионизм и сенсасионизм (Португалия) и другие.

Авторский коллектив создал труд, который не страдает самодостаточным академизмом, напротив, порой он даже вызывающе полемичен, в силу чего неминуемо превращается "в открытое дискуссионное поле". "Принципиально поисковый, эвристический характер" книги располагает читателя к диалогу, в котором хочется принять участие, а иногда и не согласиться с авторами. Например, по вопросу различения модернизма и авангардизма. Авторы признают, что "самой большой проблемой авангардоведения является <...> выработка адекватной методологии, инструментария, понятийного аппарата", что констатация неопределенности терминов "авангардизм" и "модернизм" стала общим местом в большинстве публикаций по теме. И с этими утверждениями невозможно не согласиться. Но, к сожалению, по прочтении книги неопределенность не исчезает. Положение не спасают и поистине титанические усилия Ю. Н. Гирина укрепить теоретико-методологические основания проекта в главах "Проблема авангарда: содержание, границы, понятийный аппарат" и "Системообразующие концепты культуры авангарда". В конечном счете изначальная нечеткость в определении понятий приводит к фактическому их отождествлению, модернизм растворяется в авангардизме, что отразилось и в названиях некоторых глав (например, "Авангардизм/модернизм в Англии").

Следующее обстоятельство, на которое невольно обращаешь внимание, связано с масштабом освещения в книге авангардистских движений, течений и школ. Неужели авангардизм исчерпан теми манифестациями, которые анализируются в книге, или все-таки к нему следует отнести фовизм, кубизм, абстракционизм и ряд других направлений? Ведь авангард как художественный феномен интересен именно своей полнотой. С другой стороны: почему авангардная культура Италии с ее футуризмом расположилась в феноменологическом разделе, а не во втором томе, посвященном национальным вариантам авангарда, где-нибудь по соседству с русским футуризмом?

Кстати, о национальных вариантах авангарда. В книге они представлены достаточно широко, но также избирательно. Заметно недостает германского материала (чего не искупает даже блестящая глава о немецкоязычном экспрессионизме). Может быть, редакторы посчитали возможным не включать в монографию главу по немецкому авангарду, дабы не "множить сущности"? Но такую позицию стоило бы специально оговорить в предисловии. С другой стороны, в масштабно и объемно представленном (хотя и неровно прописанном) русском блоке все же недостает той сис-

тематичности, которая выгодно отличает многие "западные" главы, да и весь труд в целом.

Наконец, как специалист, много лет занимающийся проблемами утопии и утопического сознания, не могу не высказать своих соображений относительно содержащегося в книге понимания утопизма авангарда. Идея эта, несомненно, правильная и исключительно продуктивная. Не случайно эстетическим утопиям русского авангарда в книге посвящена отдельная глава, в высшей степени информативная и глубокая. Сбой происходит, когда ее автор вступает на тропу философского теоретизирования. И тогда оказывается, что идентифицировать футуристическую теорию и практику как утопию позволяет наличие в ней "утопических мотивов", набор которых "достаточно постоянен и включает, помимо сакраментальной проблемы социального устройства, взаимоотношения полов и национальностей, технические совершенства, физический и нравственный облик человека будущего, язык общения и место и роль искусства в обществе будущего". Трудно согласиться с тем, что данные "мотивы" специфичны именно для утопии: они давно и прочно "прописались" в социальной философии, антропологии, политологии и других науках, которые проблематично заподозрить в утопизме. Авангард же, на наш взгляд, роднят с утопией "мотивы" иного рода: помимо претензий на изменение мира средствами искусства, это альтернативное видение перспектив развития, обращенность в будущее, легитимация новизны.



Хотелось бы также заметить, что употребляемое автором понятие "мифоутопическое сознание", мягко говоря, спорно. Разумеется, у утопии и мифа имеются сходные признаки, так как утопия наследует некоторые архетипические структуры и рождается в процессе рационализации мифа. Но рассматриваемые формы мысли давно дифференцировались, и дивергентных характеристик – если рассуждать не на обыденном уровне – у них гораздо больше, чем черт сходства.

Однако, несмотря на отдельные недочеты (которых могло быть значительно больше в столь масштабном исследовании и при столь многочисленном авторском коллективе), следует констатировать, что книга состоялась. Структура монографии вполне логична, а содержание глав и разделов концептуально взаимосвязано. Рецензируемый труд в целом отличают новизна, информативность и доказательность выдвигаемых положений. Книга представляет собой действительно серьезную, интересную, глубокую научную работу на актуальную тему и будет необходима не только специалистам, но и широкому кругу читателей, интересующихся проблемами современной культуры, литературы и искусства.

# По материалам зарубежной прессы

LUCIA ALVAREZ DE TOLEDO *The Story of Che Guevara.* — London: Quercus Publishing, 2010. — 464 p.

В конце 60-х Че Гевара стал символом сопротивления и оппозиции войне во Вьетнаме, в настоящее время его имя известно во всем мире, люди разных стран носят изображение Че на своих футболках, однако немногие за пределами Латинской Америки имеют четкое представление о жизни и деятельности этого человека.

Люсия Альварес де Толедо, журналистка и переводчик, занимавшаяся, как отмечает газета "Гардиан", в том числе "переводами книг 'Путешествие с Че Геварой' Альберто Гранадо и 'Молодой Че', написанной отцом революционера Эрнесто Гевара Линчем", перечитала литературу о жизни Гевары, общалась с его семьей и журналистами, которым довелось взять у него интервью, таким образом, писательницу можно считать ведущим специалистом в вопросах биографии Че Гевары. "Люсия Альварес де Толедо, — пишет 'Айриш экземинер', — родилась в той же среде, что и Че Гевара. Она использует свой собственный опыт, чтобы изобразить мир, в котором вырос команданте".

Писательница в своей "Истории Че Гевары" не дает оригинальных трактовок действиям героя, не пытается изменить представление читателя об этой личности, ее "основной вклад заключается в том, — утверждает 'Файненшл таймс', — что она подробно представляет обстоятельства жизни революционера, фон его деятельности, а также уделяет большое внимание его происхождению, отмечая, например, что его знаменитый берет — это дань баскским корням".

COLM TOIBIN *The Empty Family.* — London: Penguin, 2010. — 244 p.

"Пустая семья" — так называется сборник рассказов ирландского писателя Кольма Тойбина, лауреата множества литературных премий. Это история пакистанского иммигранта, пытающегося найти свое место и обрести постоянство тихой жизни в странном городишке. Это история ирландки, которая должна против своей воли вернуться в Дублин и обнаружить, что город не готов принять ее после долгого отсутствия. Это истории многих других людей: пытающихся сбежать от прошлого и стремящихся вернуться назад, теряющих и обретающих семью.

По мнению "Айриш индепендент", рассказы, вошедшие

в книгу, "всегда в высшей степени увлекательны и часто представляются весьма дерзкими". Многие обозреватели отмечают, что проза Тойбина стала еще тоньше и изящнее, в частности "Дейли телеграф" описывает сборник рассказов "Пустая семья" как "изысканную коллекцию историй, в которой есть даже что-то томительное". "Айриш таймс" предлагает читать рассказы Тойбина "медленно и смакуя тишину между словами".

"Паблишерз уикли" назвал автобиографию Шойинки "концентрированным, но интригующим разговором между писателем и его эпохой". "Воле Шойинка не боится высказывать свое мнение, – пишет 'Гардиан', – он судит обо всем на основании собственного опыта. Шойинка однажды сказал: 'Справедливость – первое условие человечности', – и по этому же принципу строится диалог писателя с его творчеством, с аудиторией и политикой".



WOLE SOYINKA *You Must Set Forth at Dawn: A Memoir.* – NY: Random House, 2007. – 528 p.

Книга нигерийского драматурга, обладателя Нобелевской премии Воле Шойинки "Ты должен идти на рассвет" рассказывает о жизни писателя в Нигерии, о его семье и друзьях, о его нововведениях в театре, бросивших вызов традиции и цензуре, о тяжелом режиме Сани Абача, подавлявшего всякое инакомыслие и оппозицию. Повествование о политических событиях и рассуждения о демократии, свободе, человеческой жизни перемежаются с трогательными и порой забавными историями о близких Шойинки, пересказами разных анекдотических ситуаций, вроде той, как писатель транспортировал контрабандой в Америку замороженную тушу дикой кошки, чтобы его студенты могли попробовать настоящее африканское барбекю.

ANDREÏ MAKINE *Le Livre des brèves amours éternelles.* – Paris: Seuil, 2011. – 194 p.

"За продвижением Андрея Макина интересно наблюдать", – пишет журнал "Ле Пуан", и это верно и в смысле творческого развития, и в смысле геополитических передвижений, поскольку этого выходца из советской России "Фигаро" называет "французским писателем" и аудитория Франции уже считает его своим соплеменником. Андрей Макин родился в Красноярске, в 1957 году попросил политического убежища во Франции, там стал преподавать и писать романы на французском языке. За свой третий роман "Французское завещание" он получил престижную Гонкуровскую премию и премию Медичи, в том же году писателю было предоставлено гражданство Франции.

"Книга о коротких и вечных историях" повествует о борьбе, о страданиях и мечтах. Это роман и о любви, и о судьбе, и о политике, о том, как эти стороны жизни переплетаются, создавая удивительные и порой тяжелые обстоятельства существования. "Фигаро" описывает эту книгу как рассказ о "женщинах, от простого созерцания до соблазнения, на фоне коммунистического режима".

"Макин принадлежит к числу тех редких авторов, кто способен писать на чужом языке так же хорошо, как и на родном, — пишет 'Ле Пуан', — несмотря на некоторые неодобрительные отзывы критиков, французская аудитория уже приняла его и он занял свое место во французской литературе".

YASMINA KHADRA *What the Day Owes the Night.* — London: William Heinemann, 2010. — 400 p.

Ясмина Хадра — это псевдоним алжирского писателя и обладателя нескольких литературных премий Мохаммеда Мулессеула. В своих книгах Хадра пытается исследовать корни религиозного фанатизма и терроризма. Будучи уверенным, что на Западе не понимают сути этой беды, рассуждают поверхностно, он стремится объяснить, что именно движет фанатиками, и внести свой вклад в борьбу с терроризмом. Этому вопросу посвящены книги Хадра "Сирены Багдада", "Ласточки Кабула", "Теракт"[1], которые были переведены на многие языки.

Последний роман Хадра "Чем день обязан ночи" — "это книга, заключающая в себе чувство огромной силы, — пишет 'Цайт', — самая честолюбивая работа писателя, настоящий прорыв: это книга об умиротворении, это путешествие в царство детства, но в первую очередь это роман о любви, чье действие разыгрывается на сцене современной истории Алжира. Это то, что называется сагой, не меньше".

Британская газета "Индепендент" определяет новый роман Хадра как "книгу о семье, любви и войне". Автор изображает природу, общество, отдельные человеческие характеры, чтобы создать ощущение настоящей жизни. Он исследует сложные вопросы морали, чувства и разума. Шотландская газета "Скотсмен" так отзывается о романе: "Это книга, в которой вы можете потерять себя при чтении, но, прочитав, обретете себя".

MICHAEL KÖHLMEIER *Madalyn.* — Roetgen: Carl Hanser Verlag GmbH & Co, 2010. — 172 p.

Михаэль Кёльмайер — известный австрийский писатель и музыкант, автор рассказов и романов и обладатель четырех

1. Перевод этого романа напечатан в "ИЛ", 2008, № 8.

немецких и австрийских литературных премий.

Произведения Кёльмайера строятся на сложных переплетениях человеческих отношений.

Его новый роман рассказывает историю первой любви девочки Мадалин, историю ее переживаний, наивного чувства и вполне взрослых сомнений, зачарованности чувством и разочарования. Кёльмайер создает атмосферу реальной, близкой и понятной каждому жизни: обычные повседневные дела, привычный антураж, и чувства персонажей также ясны читателю и вызывают в нем отклик, потому что когда-то и ему довелось испытать то же самое.

"Михаэлю Кёльмайеру удалось создать маленький изящный роман, — пишет 'Цайт', — его героиня напоминает Асю, или Зинаиду, или других влюбленных и смущенных юных созданий Тургенева и Чехова, очарование душевной силы чистого молодого сердца пробуждает в читателе жажду большого и прекрасного чувства".

*Подготовила*
Евгения Лакеева

Laura Hillenbrand *Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption.* — New York: Random House, 2010. — 496 p.

В мае 1943 года в Тихом океане разбивается бомбардировщик ВВС США, выживших только двое — пилот Рассел Филипс и лейтенант Луи Замперини, история жизни которого положена в основу книги Л. Хилленбранд "Несломленный: История из времен II мировой войны". В юности он считался трудным подростком, склонным к воровству и бродяжничеству, но именно тогда обрел страсть всей своей жизни, которая принесла ему славу, — бег. В 1936 году он участвовал в Олимпийских играх, и, хотя ему так и не удалось выиграть медаль, уже тогда было ясно, что впереди у него большое будущее. Он с нетерпением ждал соревнований 1940 года, но его надеждам не суждено было сбыться — началась война. После крушения бомбардировщика выживших подобрали японцы, и лейтенанту пришлось пройти через побои, голод, эпидемию дизентерии, прежде чем в 1945 году пленных наконец освободили. Вернувшись домой, он понял, что из-за полученных травм больше никогда не сможет участвовать в забегах, но и этот, последний, самый страшный удар, не сломил его дух. Повествование насыщено деталями, начиная от подробных описаний устройства американских бомбардировщиков и заканчивая рассказами о японской культуре. Как отмечает газета "Нью-Йорк таймс", это биография, написанная настолько захватывающе, настолько эмоционально и достоверно, что не уступит литературному вымыслу.

ABRAHAM VERGHESE *Cutting for Stone.* — New York: Knopf, 2009. — 560 p.

Сиамские близнецы Шива и Мэрион Стоун, герои книги Абрахама Вердкеса "Резать по живому", разделенные при рождении, появились на свет в эфиопском госпитале. Их мать, сиделка госпиталя, где они родились, скончалась из-за осложнений, и малышей отдали на воспитание местным врачам. Что касается отца близнецов, Томаса Стоуна, также некогда работавшего в этой больнице, то он давно исчез и его местонахождение никому неизвестно, однако образ отца, несмотря на его фактическое отсутствие, преследует братьев на протяжении всей книги. Политические столкновения и перевороты сотрясают страну и в конечном счете в 1979 году Мэрион оставляет брата и бежит сначала в Найроби, а затем в Нью-Йорк, где становится хирургом. Шива также находит себя в медицине, но, несмотря на единство, физическое — при рождении, духовное — в детстве, братья все больше отдаляются друг от друга по ходу развития сюжета. И только в самом конце книги им предстоит снова найти друг друга, благодаря загадочному агентству их давно исчезнувшего отца. Как пишет газета "Нью-Йорк таймс", роман чем-то напоминает греческую драму — многие реальные события происходят за кадром, и в то же самое время параллельные сюжетные линии перекрещиваются и переплетаются, образуя в итоге сложную психологическую драму. К примеру, история Томаса Стоуна рассказывается уже в самом конце книги, однако она не выглядит как нечто чужеродное, как своего рода финальное разоблачение, вовсе нет. Отцовская история гармонично встраивается в уже известное читателю, и это справедливо для всех сюжетных линий, от основных до второстепенных. В качестве главного недостатка книги газета называет чрезмерную любовь автора к своим персонажам, что выливается в крайнюю скрупулезность в отношении каждой детали, каждой черточки их характера, однако, если задуматься, это не такой уж серьезный проступок.

JOHN GRISHAM *The Confession.* — New York: Doubleday, 2010. — 432 p.

Время и место действия — Техас, конец прошлого века. Убийца — Трэвис Бойетт, жертва обстоятельств — Донте Драмм, невинно осужденный за преступление Бойетта. В романе "Признание" Джона Гришэма, признанного мастера судебного триллера, главная криминальная интрига раскрыта заранее. Бойетт, счастливо ускользнувший из рук правосудия, обрушившегося на ни в чем не повинного человека, продолжает жить своей жизнью, в то время как Драмм, некогда известный молодой футболист, проводит девять

лет за решеткой в ожидании смертной казни. И когда до нее остается четыре дня, Бойетт, больной раком, во многом переменившийся за эти годы и — самое главное — отчетливо сознающий, что его собственная смерть так же неизбежна, как и смертная казнь Драмма, понимает, что единственно правильным поступком в этой ситуации будет раскрыть правду.

Как отмечает газета "Индепендент", в своем романе Гришэм затрагивает одну из самых актуальных проблем современного американского правосудия — проблему преступной поспешности, с какой зачастую выносятся приговоры. Однако, по мнению иностранных критиков, несмотря на актуальность, захватывающий сюжет и психологизм, в некоторых персонажах угадываются излюбленные автором типажи, которых несомненно узна́ют знакомые с его творчеством читатели.

Paul Harding *Tinkers.* — New York: Bellevue Literary Press, 2009. — 192 p.

Роман Хардинга называли "маленькой книгой", получившей "большую премию", а точнее — Пулитцеровскую премию в области художественной литературы; и, если бы начинающее, малоизвестное издательство не приняло рукопись Хардинга, эта трогательная, печальная и в то же время жизнеутверждающая история так и не увидела бы свет.

Главный герой книги "Лудильщики" — Джордж Вашингтон Кросби, некогда искусный и прилежный часовщик, а теперь — старик, умирающий в своей гостиной. Всего несколько дней отделяют его от кончины. Стены комнаты сжимаются, растрескиваются оконные рамы, осыпается штукатурка, словно весь мир рушится перед глазами Джорджа. Выцветшие фотографии, газетные вырезки, старый пиджак — за каждой мелочью, попадающейся ему на глаза, скрываются истории. Пытаясь осмыслить непростые отношения с отцом, герой постепенно приходит к осознанию той глубинной, неразрывной, извечной нити, которая протягивается от одного поколения к другому. Воспоминания главного героя представляют собой своего рода мозаику, складывая которую он всякий раз получает различные образы самого себя. Как пишет "Нью-Йоркер", это тот самый случай, когда автор, описывая привычные предметы, будь то снег, апельсины или старые часы, заставляет читателя буквально почувствовать запах или ощутить холод.

Michael Cunningham *By Nightfall.* — London: Farrar, Straus and Giroux, 2010. — 256 p.

Подчеркнутая интертекстуальность произведений Каннингема, получившего в 1999 году Пулитцеровскую премию за экранизированный впоследст-

вии роман "Часы", прослеживается и в новой книге автора "Дело к ночи", хотя, по мнению критиков, последний роман писателя не столь амбициозен и его преимущество не столько в масштабности замысла, сколько в атмосфере повествования. Питер Харрис, преуспевающий 44-летний артдилер, переживает своего рода "кризис среднего возраста", когда возможности кажутся упущенными, а остаток жизни не предвещает больше ни значительных взлетов, ни падений. Несмотря на достаток, прекрасный дом, любящую супругу, Питер продолжает сожалеть о потерянной жизни, утраченном мире, хотя и не может толком объяснить себе, что это за жизнь, что за мир, понимая лишь, что они утрачены безвозвратно. Не имея ни сил, ни возможности что-либо изменить, герой проводит время в бесконечной рефлексии, пытаясь разобраться, как ему жить дальше. Каннингем словно помещает читателя в своего персонажа, раскрывая его характер не через события, не через сюжет, а исключительно через его восприятие статичной действительности, ставшей обыденной реальностью для героя. Собственно говоря, именно этот ход и подвергся наибольшей критике, так как сюжет в данной книге далеко не самое главное. Как пишет газета "Нью-Йорк таймс", к героям романа можно не проникнуться симпатией, потому что автор обнажает их темные стороны, постыдные секреты, но не понять, не почувствовать трагическое, неудержимое течение жизни так, как чувствуют ее они, невозможно.

*Подготовила*
Ника Бажанова

**Александар Хемон**
Alersandar Hemon
[р. 1964]. Американский писатель боснийского происхождения. Лауреат многих американских премий, финалист *Национальной книжной премии* [2008] и премии *Национального объединения литературных критиков* [2003, 2008].

Автор сборников рассказов *Вопрос Бруно* [*The Question of Bruno*, 2000] и *Любовь и препятствия* [*Love and Obstacles*, 2009], романа *Человек ниоткуда* [*Nowhere Man*, 2002].
Текст публикуется по изданию [*The Lazarus Project*. New York: Riverhead Books, 2009].

**Дитер Веллерсхоф**
Dieter Wellershoff
[р. 1925]. Немецкий писатель, эссеист, теоретик литературы, автор радиопьес.
Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе премии имени Фридриха Гёльдерлина [2001], Нижнерейнской литературной премии города Крефельда [2002], боннской премии имени Эрнста Роберта Курциуса за эссеистику [2005], премии Культурного фонда сберегательных касс Рейнланда за достижения в области культуры [2007].

Автор литературоведческих книг *Готфрид Бенн. Фенотип этого часа* [*Gottfried Benn, Phänotyp dieser Stunde*, 1958], *Литература и принцип удовольствия* [*Literatur und Lustprinzip*, 1973], *Правда литературы* [*Die Wahrheit der Literatur*, 1980], *Восприятие и фантазия* [*Wahrnehmung und Phantasie*, 1987], *Двойник, Alter ego и теневое Я. Сочинительство и чтение как миметический лечебный курс* [*Double, Alter ego und Schatten-Ich. Schreiben und Lesen als mimetische Kur*, 1991], *Упорядоченный хаос. Литературоведческие эссе* [*Das geordnete Chaos. Essays zur Literatur*, 1992], *Мерцание змеиной кожи. Экзистенциальные и формальные аспекты литературного текста* [*Das Schimmern der Schlangenhaut. Existentielle und formale Aspekte des literarischen Textes*, 1996], романов *Желание любви* [*Der Liebeswunsch*, 2002], *Небо – никакое не место* [*Der Himmel ist kein Ort*, 2009], сборника рассказов *Нормальная жизнь* [*Das normale Leben*, 2005] и др. В *ИЛ* опубликован его роман *Победителю достается все* [1986, № 6–8].
Глава из романа *Чрезвычайное положение. Война глазами очевидца* публикуется по изданию *Der Ernstfall. Innenansichten des Krieges* [Köln: Kiepenheuer und Witsch Verlag, 1995].

**Миленко Ергович**
Miljenko Jergović
[р. 1966]. Хорватский поэт, прозаик, эссеист.

Автор поэтических сборников *Обсерватория Варшава* [*Opservatorija Varšava*, 1988], *Небесная команда* [*Himmel comando*, 1992], *По обледеневшему мосту* [*Preko zaledenog mosta*, 1996] и др., прозаических сборников *Сараевские "Мальборо"* [*Sarajevski Marlboro*, 1994], *Мама Леоне* [*Mama Leone*, 1999] и др., романов *Бьюик Ривьера* [*Buick Rivera*, 2002], *Дворы в орехах* [*Dvori od oraha*, 2003], *Иншалла, Ма-*

*донна, иншалла* [*Insallah Madona, insallah*, 2004], *Glorija in excelsis* [2005] и др. В *ИЛ* опубликованы его рассказы [2000, № 5], [2006, № 10], [2010, № 7].
Текст публикуется по изданию *Otac* [Beograd: edicija Ledolomac, izdavac Rende, 2010].

**Чарльз Бернстин**
**Charles Bernstein**
[р. 1950]. Американский поэт, критик, издатель, профессор кафедры английской литературы и сравнительного литературоведения Пеннсильванского университета. Лауреат премии фонда Гугенхайм [1985], нью-йоркского Фонда искусств [1990, 1995], премии имени Роя Харви Пирса [1999] и др.

Автор более 20 книг стихов, в том числе *Главные интересы* [*Controlling Interests*, 1980], *Островки/Раздражения* [*Islets/Irritations*, 1983, 1992], *Софист* [*The Sophist*, 1987, 2004], *Тяжелое ремесло* [*Rough Trades*, 1991), *Темный Город* [*Dark City*, 1994), *Республики реальности: стихи 1975–1995* [*Republics of Reality: 1975–1995*, 2000), *Со струнными* [*With Strings*, 2001), *Весь виски в раю* [*All the Whiskey in Heaven*, 2010], трех книг эссе, в том числе *По моему: стихи и речи* [*My Way: Speeches and Poems*, 1999), и нескольких оперных либретто, включая оперу *Сумеречное время* [*Shadowtime*, 2005], посвященную Вальтеру Беньямину.
Стихотворение *War Stories* публикуется по изданию *Мямля* [*Girly Man*. University of Chicago Press, 2006].

**Александр Михайлович Стесин**
[р. 1978]. Русский поэт, исполнитель собственных песен, переводчик современной американской поэзии на русский язык. С 1990 г. живет в США.

Автор книг стихов *Мягкий дым тополей* [1998, на русском, английском и французском языках], *Точка отсчета* [Нью-Йорк: Слово/Word, 2002; на русском, английском и французском языках], *Часы приема* [М.: Русский Гулливер, 2010] и др.

**Марио Варгас Льоса**
**Mario Vargas Llosa**
[р. 1936]. Перуанский прозаик и драматург, публицист, политический деятель. Лауреат премий Ромуло Гальегоса [1967], Астурийского [1986], Сервантеса [1994], Иерусалимской премии [1995], премии Чино дель Дука [2008], Нобелевской премии по литературе [2100] и др.

Автор романов *Город и Псы* [*La ciudad y los perros*, 1963; рус. перев. 1965], *Зелёный дом* [*La casa verde*, 1966; рус. перев. 1971], *Тётушка Хулия и писака* [*La tía Julia y el escribidor*, 1977; рус. перев. 1979], *Война конца света* [*La guerra del fin del mundo*, 1981; рус. перев. 1987], *Кто убил Паломино Молеро?* [*Quién mató a Palomino Molero?* 1986; рус. перев. 1989], *Нечестивец, или Праздник Козла* [*La Fiesta del Chivo*, 2000, рус. перев. 2011], *Похождения скверной девчонки* [*Travesuras de la niña mala*, 2006; рус. перев. 2007], *Сон кельта* [*El sueño del celta*, 2010] и др.
Статья опубликована на сайте InLiberty.ru [http://www.inliberty.ru/library/study/2839/].

**Александр Мелихов**
[р. 1947]. Прозаик, литературный критик, публицист, кандидат физико-математических наук. Лауреат *Набоковской премии* СП Санкт-Петербурга [1993], а также премий петербургского ПЕН-клуба [1995], имени Гоголя [2003], правительства Санкт-Петербурга [2006].

Автор романов *Исповедь еврея* [1993], *Горбатые атланты* [1995], *Любовь к отеческим гробам* [2001], *Чума* [2003], *В долине блаженных* [2006] и др., многих сборников рассказов и нескольких сот журнально-газетных публикаций.

**Исайя Берлин**
Isaiah Berlin
[1909–1997]. Английский философ, историк идей, один из основателей современной либеральной философии, переводчик русской литературы и философии. Возведен в рыцарское звание [1957], награжден британским орденом *За заслуги* [1971].

Автор многих работ, среди которых *Еж и лиса* [*The Hedgehog and the Fox*, 1953], *Две концепции свободы* [*Two Concepts of Liberty*, 1958], *Против течения: очерки по истории идей* [*Against the Current: Essays in the History of Ideas*, 1979], *Чувство реальности: исследование идей и их истории* [*The Sense of Reality: Studies in Ideas and Their History*, 1996], *Личные впечатления* [*Personal Impressions*, 1980). На русском языке вышли сборники его работ *История свободы* [М., Россия, 2001], а также двухтомник *Философия свободы. Европа* – т. 1, *История свободы. Россия* – т. 2 [НЛО, 2001].
Текст публикуется по изданию *Shostakovich at Oxford* [The New York Review of Books, July 16, 2009].

**Арлен Викторович Блюм**
[р. 1933]. Доктор филологических наук, профессор. Лауреат премии журнала *Звезда* [1998] и премии *Северная Пальмира* [2001].

Автор работ по истории русской литературы и цензуры, в том числе книг *За кулисами "Министерства Правды". Тайная история советской цензуры. 1917–1929* [СПб., 1994], *Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929–1953* [СПб., 2000], *Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки. 1953–1991* [СПб., 2005].

**Марина Михайловна Ефимова**
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач в программах *Время и мир* и *Американский час* на радио *Свобода*.

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Автор рубрики *Новые книги Нового Света* в *ИЛ*.

**Таисия Сергеевна Паниотова**
Латиноамериканист, специалист по утопии и утопическому сознанию, доктор философских наук, профессор Южного федерального университета.

Автор книги *Утопия в пространстве диалога культур* [Ростов-на-Дону, 2004], соавтор коллективных монографий *Карибская мысль: XIX–XX века* [Прага, 2007], *Утопия на марше* [Кито, 2009], *Писатель и интеллектуал меж двух миров* [Мадрид, 2010] и др.

**Евгения Андреевна Лакеева**
Студентка Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза.

Автор заметок в рубрике *По материалам зарубежной прессы.*

**Ника Юрьевна Бажанова**
Студентка Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза.

Автор заметок в рубрике *По материалам зарубежной прессы.*

## Переводчики номера

**Юлия Борисовна Степаненко**
Переводчик с английского, историк. С 1994 г. живет в США.

В *ИЛ* в ее переводе опубликованы главы из книги Б. Уайт *Мама делает выбор, или Какие опасности подстерегают вас на Юге* [2007, № 7], новелла Т. Корагессана Бойла *Клык и коготь* [2008, № 8] и роман К. Маккарти *Дорога* [2008, № 12].

**Наталия Геннадиевна Васильева**
Переводчик с венгерского и немецкого языков. Лауреат премии *Инолиттл* [2009].

В ее переводе с венгерского публиковались новеллы М. Бабича, Й. Е. Тершанского, с немецкого — новеллы Э. Кестнера, А. Мушга, *Сказка о Рейне и мельнике Бегколёсе* К. Брентано и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы рассказов Р. Леттау, Х. Блуменберга, К. И. Тиса [1994, № 9], Г. Фрайтага [2002, № 7], эссе Г. Гессе [2004, № 10], пьесы Х. М. Энценсбергера *Долой Гёте! Объяснение в любви* [2009, № 8], стихов Х. М. Энценсбергера [2010, № 9] и обзорные статьи, представляющие мюнхенский литературный журнал *Акценты* и австрийский журнал *Манускрипты*.

**Елена Львовна Солодовникова**
Публицист, переводчик с хорватского и английского языков.

Автор путеводителей по Хорватии и Черногории. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы новеллы М. Ерговича [2006, № 10, 2010, № 7].

**Ян Эмильевич Пробштейн**
[р. 1953]. Поэт, переводчик поэзии, литературовед, издатель. Кандидат филологических наук, доктор литературоведения [Ph. D.], профессор английской, американской литературы.

Автор 8 поэтических книг, около 20 переводных, всего более 100 публикаций на нескольких языках. Переводил с английского стихотворения Г. Лонгфелло, Т. Стернза Элиота, Т. Траэрна/Трэхерна, У. Блейка, П. Биши Шелли, Д. Мэнли Хопкинса, Д. Китса, К. Сэндберга, Д. Уолкотта, У. Х. Одена, Д. Эшбери, У. Батлера Йейтса, Э. Дикинсон, Э. Паунда, Д. Райта и др.; с итальянского — Д. Унгаретти, У. Саба; с испанского — Х. Э. Пачеко, А. Бельо, Х. Л. Борхеса; с польского — Ч. Милоша; на английский — стихотворения О. Мандельштама, Р. Мандельштама, А. Фета и др.
Составитель, редактор, автор предисловия, комментариев и один из ведущих переводчиков книги *Стихотворения и избранные Cantos* Эзры Паунда (2003, т. 1), признанной литературными критиками газеты "НГ Ex libris" лучшей книгой года в номинации *Зарубежная поэзия*.

**Екатерина Шабуцкая**
Переводчик с английского.

В ее переводе публиковались романы К. Харви *Город, который забыл, как дышать* [в соавторстве с С. Шабуцким; 2006] и *Брад* [в соавторстве с С. Шабуцким; 2006], роман К. Бойла *Отход на север* [в соавторстве с С. Шабуцким; 2007], рассказы из сборника *Демонология* Р. Муди [в соавторстве с С. Шабуцким; 2008].

**Сергей Шабуцкий**
[р. 1976]. Поэт, журналист, переводчик с английского.

В его переводе публиковались романы К. Харви *Город, который забыл, как дышать* [в соавторстве с Е. Шабуцкой; 2006] и *Брад* [в соавторстве с Е. Шабуцкой; 2006], роман К. Бойла *Отход на север* [в соавторстве с Е. Шабуцкой; 2007], рассказы из сборника *Демонология* Р. Муди [в соавторстве с Е. Шабуцкой; 2008].

В оформлении обложки использованы фрагмент картины немецкого художника Вильгельма Генрика Отто Дикса [1891–1969]
*Семь смертных грехов* [1933].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.05.2011
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 32.
Тираж 7000 экз.
Отпечатано ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

## До конца 2011 года в *ИЛ* будут напечатаны:

Роман известного итальянского прозаика ТИЦИАНО СКАРПЫ **"Фундаментальные вещи"** посвящен проблеме семьи, взаимоотношений между поколениями: повествование ведется от лица молодого отца, который пишет дневник для своего сына, только что родившегося, – чтобы тот прочел его в четырнадцать лет и узнал о некоторых "фундаментальных вещах" (любви, власти, деньгах), о том, что понял о них сам отец в результате своего непростого жизненного опыта.

Роман **"Спокойствие"** АТТИЛЫ БАРТИША, по отзыву критики, – "мучительная, бесконечно жестокая и неизмеримо глубокая книга", исследует действительность социалистической и постсоциалистической Венгрии, преломленную в очень непростых личных отношениях одной семьи.

Парижский преподаватель и философ ВЕНСАН ДЕЛЕКРУА живописует в своем романе **"Башмак на крыше"** нравы современных французов, мастерски чередуя сатирический и лирический, местами даже элегический, регистры повествования.

Мини-роман ПЕТРА ЧЕРСКОГО **"Отец уходит"** посвящен событию, ставшему личным горем едва ли не каждого поляка. Атмосфера, сложившаяся в Кракове в предшествовавшие кончине Папы Иоанна Павла II дни, описана с документальной точностью и художественной выразительностью; параллельно автор затрагивает очень важную для сегодняшней Польши тему – отношение молодых людей к религии.

Испанский писатель ФРАНСИСКО УМБРАЛЬ переносит своего читателя в Мадрид начала XX века. Роман **"Авиньонские барышни"** написан в форме воспоминаний: герой рассказывает о своем детстве, описывая жизнь большой богатой семьи на фоне бурных социально-политических событий.

---

[ 7 ] 2011

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА ВЕНСАНА ДЕЛЕКРУА "БАШМАК НА КРЫШЕ" / УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН И ШЕЙМАС ХИНИ В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА: "ТРИ ОЛИМПИЙСКИЕ ПОБЕДНЫЕ ПЕСНИ" ПИНДАРА / ЧЕСЛАВ МИЛОШ В РУБРИКЕ "ЮБИЛЕЙ" / МИЛАН ФЮШТ В РУБРИКЕ "НИЧЕГО СМЕШНОГО"